

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1968

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Г. В. Церетели (Тбилиси). О языковом родстве и языковых союзах . . .	3
<i>ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ</i>	
Н. Э. Гаджиева (Москва). О методах сравнительно-исторического анализа синтаксиса	19
К. Е. Майтиская (Москва). К типологии генетической связи личных и указательных местоимений в языках разных систем	31
А. Г. Мартиросов (Тбилиси). К генезису личных и указательных местоимений в картвельских языках	41
М. И. Стеблин-Каменский (Ленинград). Возможно ли планирование языкового развития?	47
Р. В. Пазухин (Ленинград). О месте языка в семиологической классификации	57
<i>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</i>	
С. М. Толстая (Москва). Фонологическое расстояние и сочетаемость согласных в славянских языках	66
М. Молдова (София). Опыт фонетической (консонантической) классификации тюркских языков и диалектов огузской группы	82
<i>ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ</i>	
Э. М. Уленбек (Лейден). Еще раз о трансформационной грамматике . . .	94
<i>КОНСУЛЬТАЦИИ</i>	
Е. С. Кубрякова (Москва). О понятиях синхронии и диахронии	112
<i>ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ</i>	
Р. Р. Мдиваки (Москва). Замечание к модели общего исчисления дистрибуции фонем	124
<i>КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ</i>	
<i>ОБЗОРЫ</i>	
М. М. Маковский (Москва). «География слов» и лексические связи германских языков и диалектов	126
<i>РЕЦЕНЗИИ</i>	
Э. А. Макаев (Москва). <i>W. Krause</i> (mit Beiträgen von H. Jankuhn). Die Runenschriften im älteren Futhark	136
Э. А. Макаев (Москва). <i>Г. В. Джаули</i> . Очерки по истории дописьменного периода армянского языка	142
И. И. Резвин (Москва). <i>M. H. Folsom</i> . The syntax of substantive and non-finite satellites to the finite verb in German	149
<i>НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ</i>	
Хроникальные заметки	155
П. С. Кузнецов	158

РЕ Д К О Л Л Е Г И И:

О. С. Арманова, В. В. Виноградов (главный редактор),

В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), *Н. С. Кузнецов*, *Э. А. Макаев, М. В. Иванов, В. Э. Панфилов, И. Н. Резвин, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебрянников, Н. И. Толстой* (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

Г. В. ЦЕРТЕЛИ

О ЯЗЫКОВОМ РОДСТВЕ И ЯЗЫКОВЫХ СОЮЗАХ*

I. Вопросы взаимоотношений языков привлекают внимание лингвистов начиная с эпохи зарождения сравнительного языкознания, поэтому полное освещение всего комплекса относящихся сюда проблем в рамках одной статьи представляется вряд ли возможным. В данном случае мы предполагаем коснуться лишь отдельных аспектов этой проблемы и изложить некоторые предварительные выводы, которые следовало бы учитывать при сравнительно-историческом изучении языков определенных типов, относящихся к различным языковым группам.

Прошло более двухсот лет с тех пор, как великие ученые и мыслители XVIII в. впервые сформулировали положение о родственных связях языков. Так, например, еще М. В. Ломоносов разработал положение о родстве и общности происхождения славянских и ряда других индоевропейских языков¹. В 1786 г. У. Джоунз представил основанному им вместе с Ч. Уилкинсом в 1784 г. в Калькутте «Asiatick society»² адрес, в котором имеется следующий тезис: «Санскритский язык, какова бы ни была его древность, является обладателем удивительной структуры; он более совершенен, чем греческий, более богат, чем латинский, и более утончен, чем оба они; вместе с тем обнаруживает с ними обоими более сильное сходство (affinity) как в глагольных корнях, так и в грамматических формах, чем если бы это было случайным; в самом деле, такое сильное, что ни один филолог не мог бы исследовать все эти три (языка) без того, чтобы не верить, что они происходят из одного источника, который, быть может, больше не существует; имеется такое же основание, может быть, не столь очевидное, предполагать, что готский [под готским разумелись тогда германские языки. — Р. Ц.] и кельтский оба, хотя и смешаны с сильно отличным идиомом, имеют вместе с санскритом то же самое происхождение; и древнеперсидский можно было бы добавить к той же семье»³.

Эти слова У. Джоунза рассматриваются некоторыми лингвистами как первое ясное изложение основных принципов сравнительного языкознания. В выводах, полученных У. Джоунзом и несколько позднее основателем финно-угорского сравнительного языкознания С. Дьярматом (1751—1830) и особенно А. Х. Востоковым (1781—1864), Р. Раском (1787—1832), Я. Гриммом (1785—1863), Ф. Боппом (1791—1867) и другими, признавался тот факт, что некоторые языки обнаруживают слишком далеко идущее сходство между собою, чтобы это можно было бы объяснить случайностью или просто влиянием.

* Доклад, прочитанный 19 октября 1967 г. на сессии Отделения литературы и языка АН СССР в Москве, посвященной 50-летию Октябрьской революции.

¹ См. об этом: П. С. Ку а н е ц о в, О трудах М. В. Ломоносова в области исторического и сравнительного языкознания, «Уч. зап. [МГУ]», 150 — Русский язык, 1952; А. В. Д е с н и ц к и я, Вопросы изучения родства индоевропейских языков, М. — Л., 1955, стр. 33.

² Впоследствии, с 1839 г. это Общество именуется «Asiatic Society of Bengal».

³ «Asiatic researches», I, Calcutta, 1786, стр. 442—443.

Основатели сравнительного языкознания объясняли это сходство в области лексики и грамматической структуры ряда языков тем, что в древнейшие времена, от которых письменные источники не сохранились, эти языки представляли собою один единый язык, а существующие между ними различия являются результатом последующих изменений. При таком подходе сравнительное изучение сходных между собой языков было призвано объяснить не сходства между ними, а расхождения ⁴.

Последующие исследования показали, однако, что существующие между родственными языками различия очень часто не поддавались истолкованию даже при учете многочисленных факторов, играющих большую роль в процессе развития языков. В связи с этим возникли теории о смешении языков, о взаимных контактах и т. д. В таком случае сходства стали объяснять уже не общностью происхождения, а сближением различных систем. И. А. Бодуэн де Куртене был, по-видимому, первым, кто выдвинул тезис о «породнении» языков. Так, он еще в начале нашего века писал: «...рядом с родством языков мы должны приять тоже их с в о й с т в о („породнение“), как результат взаимного влияния, равно как и общих условий существования и хронологической последовательности сменяющих друг друга поколений» ⁵.

Развитием этой идеи явилась теория о языковых союзах, выдвинутая Н. С. Трубецким в 1928 г. ⁶. Позднее, поставив под сомнение постулат о происхождении индоевропейских языков из общего источника, он предложил новые критерии для установления индоевропейского характера того или иного языка ⁷. На поставленный им вопрос: «по каким признакам лингвисты определяют, что данный язык является индоевропейским?» — Н. С. Трубецкой дает следующий ответ: «Разумеется, для этого необходимо наличие в данном языке некоторого количества „материальных совпадений“, т. е. корней, основообразовательных суффиксов и окончаний, совпадающих как по своей функции (по значению), так и по своей звуковой стороне (разумеется, при учете закономерных звуковых соответствий) с такими же элементами других индоевропейских языков. Однако невозможно сказать, как велико должно быть число таких совпадений, чтобы данный язык мог быть признан индоевропейским. Невозможно также сказать, какие именно словарные и грамматические элементы непременно должны быть налицо в каждом индоевропейском языке» ⁸.

Перечисляя трудности, которые возникают при установлении закономерных соотношений между фонемами или словами двух индоевропейских языков, Н. С. Трубецкой заключает: «Принимая во внимание все эти обстоятельства, придется признать, что при решении вопроса о принадлежности данного языка к индоевропейскому языковому семейству „материальных совпадений“ не следует приписывать слишком значительной роли. Разумеется, „материальные совпадения“ должны быть налицо, и их полное отсутствие является доказательством того, что данный язык к индоевропейскому семейству не принадлежит. Но число этих совпадений довольно безразлично, и среди них нет ни одного, наличие которого было

⁴ Ср.: С. Н. F. H o s k e t t, Sound change, «Language», 41, 2, 1965, стр. 185.

⁵ И. Бодуэн де Куртене, Языкознание, «Энциклопедический словарь», изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, LXXXI, СПб., 1904, стр. 525. Ср.: Т. С. Шараденидзе, Классификация языков и их принципы, Тбилиси, 1958, стр. 449—450 (на груз. яз.); В. Я. В. Иванов, И. А. Бодуэн де Куртене и типология славянских языков, «И. А. Бодуэн де Куртене (К 30-летию со дня смерти)», М., 1960, стр. 43.

⁶ «Acts du I-er Congrès international de linguistes à la Haye, du 10—15 Avril 1928», Leiden, 1928, стр. 18.

⁷ Н. С. Трубецкой, Мысли об индоевропейской проблеме (1937), ВЯ, 1958, 1.

⁸ Там же, стр. 69.

бы обязательно для того, чтобы засвидетельствовать индоевропейский характер данного языка»⁹.

Поэтому для доказательства принадлежности данного языка к индоевропейскому семейству, кроме неопределенного числа «материальных совпадений», по мнению Трубецкого, необходимо наличие теперь уже хорошо известных в науке шести структурных признаков, которые характерны для индоевропейских языков (отсутствие гармонии гласных; «число согласных, допускаемых в начале слова, не беднее числа согласных, допускаемых внутри слова», и т. д.)¹⁰. В советской лингвистической литературе уже указывалось, что выделенные Н. С. Трубецким структурные признаки не существуют при определении того общего, что составляет специфические особенности индоевропейской языковой структуры¹¹, а Э. Бенвенисту нетрудно было подыскать пример среди американских индейских языков (язык такелма, штат Орегон), в котором также установлены выделенные Н. С. Трубецким структурные признаки, но который, тем не менее, не является индоевропейским языком¹².

В отношении семитских языков недавно также был поставлен вопрос о том, насколько существенны в этом плане традиционно выделяемые структурные особенности этих языков. Касаясь критериев, которые могут или должны служить основанием для решения вопроса о принадлежности того или иного языка к семитской группе языков, исследователь семитских языков Эфиопии Э. Уллендорф в своем докладе на XXIV Международном конгрессе востоковедов в Мюнхене указал, что традиционно распространенное мнение о специфических взаимоотношениях согласных и вокалических фонем в семитских языках, а также утверждение, будто в семитском значении ложится исключительно на согласные, не совсем точно¹³.

Параллели этим чертам семитских языков, как утверждает Э. Уллендорф, встречаются в других языковых группах, хотя, может быть, в меньшей степени. Внутренние изменения гласных, указывающие скорее на чисто грамматические, чем лексические различия, встречаются и в индоевропейских языках, например в английском (ср. *sing, sang, sung, song* или *speak, spoke — give, gave*) и т. д. Существуют даже типы «внутреннего множественного» числа, например, *goose — geese* или *mouse — mice*, где модификации гласных вызывают изменения в грамматической категории¹⁴.

В связи со специфическим взаимоотношением между согласным и гласным, которым характеризуются семитские языки, еще Г. Бергстрессер указывал, что «здесь явно различимо древнее состояние, при котором взаимоотношение между консонантом и вокалом существенно не отличалось от обычного для других языков положения, при котором „корень“ тоже был представлен в неделимом единстве согласного и гласного»¹⁵.

Другая черта семитской идентичности, которая тесно связана с взаимоотношением гласного и согласного, — трехсогласность, как указывает Уллендорф, тоже, по-видимому, встречается в индоевропейских, а возможно — и в других языках¹⁶. Кроме того, хотя трехсогласные корни

⁹ Там же, стр. 70.

¹⁰ Там же, стр. 70—72.

¹¹ Т. С. Шарадзе и др., указ. соч., стр. 452 и сл.; А. В. Десницкая, указ. соч., стр. 275 и сл.

¹² Э. Бенвенист, Классификация языков, «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 47—48.

¹³ E. Ullendorff, What is a Semitic language?, «Orientalia», Nova series, 27, 1, 1958.

¹⁴ Там же, стр. 69.

¹⁵ G. Bergsträsser, Einführung in die semitischen Sprachen, München, 1928, стр. 6.

¹⁶ E. Ullendorff, указ. соч., стр. 70 и сл.

и доминируют в большей части семитских языков, но существуют значительные исключения, которые препятствуют попыткам установления единых моделей. Не только в кушитских языках преобладают двусогласные корни; заметные двусогласные области вычленены и в таких языках, как аккадский, амхарский, современный южноаравийский и др. Более того, по некоторым предположениям, геминация была использована для создания трехсогласных корней из первоначально двусогласных¹⁷.

То же самое касается и фонологической системы, в частности специфических семитских согласных 'аун'а и ħ. Первый из них, указывает Э. Уллендорф, встречается в кушитских и в некоторых кавказских языках, а второй — в берберском и, возможно, представляет собою часть древней индоевропейской звуковой системы¹⁸. Так называемые эмфатические согласные первоначально, по-видимому, произносились как глоттализированные эйективные. Они очень распространены в кушитских (можно добавить: и в кавказских) языках, так что и это не является специфической семитской чертой¹⁹.

В области синтаксиса паратакс считался ведущим типом для семитских языков, но подчиненные конструкции являются правилом для амхарского и многих современных эфиопских языков²⁰.

Из сказанного вытекает, что те черты, которые традиционно считались характерными для семитских языков, по мнению Э. Уллендорфа, не являются специфическими для них, а встречаются в разных языковых системах мира. Иначе говоря, в отношении семитских языков проблема ставится таким же образом, как и в отношении индоевропейских. И это несмотря на то, что с самого начала изучения семитских языков считалось, что не существует какой-либо другой языковой группы с такими строго определенными структурными моделями, пронизывающими весь языковой строй, — начиная с фонемного состава и кончая строением морфем, как в данном случае. Известная схематичность в строении корневых морфем (совместимость и несовместимость согласных фонем)²¹ в их отношении к аффиксальным морфемам, т. е. ко всей морфологической струк-

¹⁷ Там же, стр. 71.

¹⁸ Имеются в виду индоевропейские ларингалы; ср.: A. C u n y, *Invitation à l'étude comparative des langues indo-européennes et des langues chamito-sémitiques*, Bordeaux, 1946, стр. 133 и сл.

¹⁹ E. U l l e n d o r f f, указ. соч., стр. 72.

²⁰ Там же.

²¹ Относительно несовместимости согласных фонем в корневой морфеме в семитских языках см.: Н. В. Ю д а н о в, *Грамматика литературного арабского языка*, Л., 1923, стр. 21; Е. М. Г р а н д е, *Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении*, М., 1963, стр. 64 и сл.; В. L a n d s b e r g e r, *Die Gestalt der semitischen Wurzel*, «Atti del XIX Congresso internazionale degli orientalisti», 1935, стр. 450—452; F. G e e r s, *The treatment of emphatics in Akkadian*, «Journal of Near Eastern studies», IV, 2, 1945; G. S. C o l i n, *Incompatibilités consonantiques dans les racines de l'arabe classique*, «Comptes rendus du Groupe d'études chamito-sémitiques, Ecole pratique des Hautes Etudes» (далее — GLECS), 3, Paris, 1937, стр. 61—62; W. v o n S o d e n, *Grundriss der akkadischen Grammatik*, Roma, 1952, § 51, примеч.; J. S a n t i n e a u, *Esquisse d'une phonologie de l'arabe classique*, BSLP, 43, 1, 1946; J. H. G r e e n b e r g, *The patterning of root morphemes in Semitic*, «Words», 6/2, 1950; K. P e t r á č e k, *Der doppelte phonologische Charakter des Ghain im klassischen Arabisch*, AO, XXI, 2—3, 1953; е г о ж е, *Die Struktur der semitischen Wurzelmorpheme und der Übergang 'Ain > Ğain und 'Ain > r im Arabischen*, там же, XXIII, 3, 1955; е г о ж е, *Die innere Flexion in den semitischen Sprachen*, там же, 28/4, 1960 (там же литература); К. К о с к и н е в, *Kompatibilität in den dreikonsonantigen hebräischen Wurzeln*, ZDMG, 114, 1964; К. P e t r á č e k, *Die Inkompatibilität in der semitischen Wurzel in Sicht der Informationstheorie*, RO, XXVII, 2, 1964 (в последней работе очень важны выводы относительно характера несовместимости в семитической корневой морфеме на основании теории информации).

туре в целом, а также своеобразия в фонологической системе и в строении фразы настолько ярко выражены в семитских языках, что специфический характер структуры этих языков давно признан в науке как установленный факт²².

В настоящее время вряд ли можно ~~оспаривать~~ положение о том, что наличия специфических признаков, характерных для той или иной группы языков, недостаточно для установления их генетических связей даже в тех случаях, когда эти структурно-типологические признаки явно выражены, как это имеет место, вопреки мнению Уллендорфа, в семитском.

В самом деле, трудно согласиться с утверждением, будто фонологическая система семитских языков повторяется в каком-либо другом языке. Дело не только в наличии тех или иных звуков, которые встречаются в других языках; главное — их поведение в различных окружениях и фонологическая функция, которую они выполняют в системе. Кроме того, фактически было бы не совсем точно утверждать, что эмфаз согласных не является спецификой семитских языков и что эмфатические согласные происходят от глоттализированных эфетивных, которые встречаются и в других языках²³. Прежде всего, еще не доказано, что эмфатические согласные происходят от глоттализированных. Наличие вместо эмфатических согласных в семитских языках Абиссинии и, возможно, в восточных новоярамейских диалектах глоттализированных согласных еще не говорит о том, что здесь мы имеем случай сохранения в маргинальных диалектах более древней системы консонантизма²⁴, а не результат контактов этих семитских диалектов с языками различных лингвистических ареалов. Но не это главное. Если даже допустить, что эмфатические согласные происходят от глоттализированных, возникает вопрос: для какого уровня языкового развития можно предположить существование такой системы консонантизма — для более отдаленной эпохи или для той ступени развития языка, которая непосредственно предшествовала исторически засвидетельствованным семитским языкам? Если это постулируется для более древ-

²² Не случайно выдающийся исследователь семитских языков Х. Бауер свою известную статью «Zur Entstehung des semitischen Sprachtypus» («Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete», XXVIII, 1, Strassburg, 1913, стр. 81) начал словами: «Известно, что семитские языки обнаруживают ряд особенностей, которые в этом виде ни в каких других языках не встречаются».

²³ См. об этом: Г. В. Ц е р е т е л и, О теории сонантов и аблаута в картвельских языках, в кн.: Т. В. Г а м к р е л и д з е, Г. И. М а ч а в а р и а н и, Система сонантов и аблаут в картвельских языках, Тбилиси, 1965 (на груз. яз.), стр. 047, примеч. 2.

²⁴ См. об этом: Г. В. Ц е р е т е л и, указ. соч., стр. 047, примеч. 2; G. V. T z e r e t e l i, The problem of the identification of Semitic languages, Moscow, 1967, стр. 6; Н. В. Ю ш м а н о в, Сингармонизм урмийского диалекта, сб. «Памяти академика Н. Я. Марра (1864—1934)», М. — Л., 1938, стр. 297, 301; W. L e s l a u, Semitic languages, London, 1961 (Reprinted from the «Encyclopaedia Britannica»), стр. 3; S. M o s c a t i, A. S p i t a l e r, E. U l l e n d o r f, W. v o n S o d e n, An introduction to the comparative grammar of the Semitic languages. Phonology and morphology, Wiesbaden, 1964, стр. 24.

По нашему мнению, факт соответствия прасемитскому \aleph арабского \aleph , эфип. \aleph , аккад. \aleph , угарит. \aleph , др.-евр. \aleph , сирийск. \aleph , ст.-арам. \aleph более свидетельствует о фарингализованном характере этого прасемитского эмфатического согласного, нежели соответствие $\aleph >$ в некоторых современных арабских диалектах — о глоттализированном характере \aleph . Правда, переход $\aleph >$ засвидетельствован в арабских диалектах (в кайрском диалекте) еще в XIII в., как это видно из путевника валенсийского путешественника (688 г. х./1289 г. н. э.) Абу Мухаммеда ал-'Абдари (см. о нем: И. Ю. К р а ч к о в с к и й, Арабская географическая литература, «Набр. соч.», IV, М. — Л., 1957, стр. 366 и сл.); Salihaddin al-Munajjid, Al-Mašriq fi nazar al-Mağariba wal-Andalusiyin fi l-quṣūb al-wuṣṭā, Beirut, 1963, стр. 70—82; Н. G r o t z f e l d, Ein Zeugnis aus dem Jahr 688/1289 für die Aussprache des \aleph als \aleph im Kairinischen, ZDMG, 117, 1, 1967). Возможно, что такое же свидетельство сохранилось и в диване Ибн 'Увайна (549/1154—630/1233) (см. об этом: Н. G r o t z f e l d, указ. соч., стр. 88).

него уровня, который предшествовал протосемитскому, можно ли вообще для той эпохи говорить о характерных чертах семитских языков?

Этот вопрос имеет большое значение в методологическом отношении. При выяснении вопросов генезиса тех или иных языковых явлений в лингвистической литературе часто прибегают к выражению «в древнейшую эпоху», относя к этой эпохе хронологически несоотносимые факты, явления различных хронологических уровней, пренебрегая, таким образом, вопросами относительной хронологии, т. е. по существу основными принципами современного диахронического языкознания.

С тех же самых позиций наиболее характерная черта семитских языков, внутренняя флексия, нередко сопоставляется с индоевропейским аблаутом. Но апофония для индоевропейского представляет собой явление морфологической избыточности, в то время как в семитском она по существу имеет морфологический характер²⁵. Кроме того, в семитском изменении гласных имеем обычно не апофоническое чередование гласных, а различное распределение прерывных аффиксов между консонантными фонемами корня²⁶. Свообразием семитского языка является именно большое или преобладающее количество прерывных словоизменяющих морфем.

На более древней ступени развития, предшествующей прасемитскому, характерной чертой могла быть совершенно иная фонологическая система²⁷ с отсутствием вокалических фонем, которые развились позднее из вокалических элементов, представлявших собою дополнительные черты силлабических консонантных фонемных единиц. В таком случае можно было бы объяснить, почему именно на согласные фонемы легла задача быть носителями значения слова: лишь впоследствии, с возникновением вокалических фонем эти последние начинают выступать как модифицирующие факторы и как прерывные аффиксы, распределяемые вместе с другими аффиксальными элементами между фонемами корневых морфем строго определенных типов, постулируемых уже для прасемитского языкового состояния. Поэтому, когда речь идет о характерных признаках семитских языков, дело не столько в трехгласности или двусогласности корня, а в наличии определенных моделей корневых морфем и их поведении относительно деривативных и словоизменяющих морфологических элементов. С образованием этих структурных моделей корней (будь они двусогласные или трехгласные), с возникновением законов их поведения в различных синтагматических и парадигматических классах только и начинается становление семитского языка. Все, что этому предшествовало, не относится к семитскому типу языков.

В специальной литературе, помимо вышеперечисленных лингвистических признаков, характерных для семитских языков, неоднократно указывалось, например, еще на наличие и префиксальных и суффиксальных образований в зависимости от различных парадигматиче-

²⁵ См. об этом: J. Kuryłowicz, *L'apophonie en indo-européen*, Wrocław, 1956; е го ж е, *L'apophonie en sémitique*, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1961, стр. 13.

²⁶ См. об этом: Г. Гилсон, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, стр. 116—117; К. Ретрабек, *Die innere Flexion in den semitischen Sprachen*, AO, 28/4, 1960, стр. 576 [см. рец. А. Лекиашвили в «Трудах (Тбилисского гос. ун-та)», 118. Серия востоковедения — VI, 1967]; И. А. Мельчун, *О «внутренней флексии» в индоевропейских и семитских языках*, ВЛ, 1963, 4; В. П. Старишин, *Структура семитского слова. Прерывистые морфемы*, М., 1963, стр. 18 и сл.; Г. В. Цертели, *указ. соч.*, стр. 038, примеч. 2.

²⁷ См. об этом: А. Сипу, *Recherches sur le vocalisme, le consonantisme et la formation des racines en «nostratique», ancêtre de l'indo-européen et du chamito-sémitique*, Paris, 1943, стр. 3 и сл.; А. М. Газов-Гинзберг, *Семитский корень в общелингвистической теории моновокализма, «Семитские языки»*, 2 (ч. 1), М., 1965.

ских классов²⁸. Таких признаков можно насчитывать разное количество; в зависимости от их числа характеристика семитских языков будет в большей или меньшей степени точной, однако в настоящее время нас интересует не это, и даже не столько установление минимального количества таких признаков для того, чтобы идентифицировать семитский язык, во сама постановка вопроса. Можно ли говорить о характерных признаках семитских языков вообще? Что такое семитские языки? Это чисто условное название, подразумевающее группу языков Азии и Африки, которые, как предполагается, являются родственными между собой, т. е. происходят от одного общего языка. Иначе говоря, это диалектическое понятие, указывающее на происхождение. Но генетическое родство необязательно предполагает типологическое сходство. Поэтому можно говорить не о характерных признаках семитских языков, а лишь о характерных признаках общесемитского и о степени сходства с ним в этом отношении отдельных семитских языков. Поэтому, может быть, было бы правильнее ставить вопрос не «What is a Semitic language?» (как озаглавил свою статью Э. Уллендорф), а иначе — «каким был „the Semitic language“?»

Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо после исследования структур отдельных семитских языков в синхронном плане восстановить структурные модели общесемитского языка путем сравнительной и внутренней реконструкции. Иначе говорить о характерных чертах семитских языков мы пока не можем: ведь если согласиться с тем, что языки различного происхождения путем длительных контактов и взаимовлияния могут сблизиться настолько, что образуют сходные структурно-типологические модели в строении корня и вообще во всей фонологической и морфологической системе, то отсюда вытекает, что генетически родственные языки вследствие различных условий развития могут принадлежать к различным структурно-типологическим группам. И действительно, в семитских языках имеется множество примеров для доказательства этого положения. Так, в амхарском и сокотри, как это уже отметил Уллендорф, наблюдается почти полное исчезновение семитской фонологической системы, разрушение семитского синтаксиса и значительные отклонения в морфологической системе. То же самое имеем в современных восточных новобарамейских диалектах. Система глагола²⁹ здесь так далеко отошла от того типа, который обычно называется семитским, что в этом отношении эти диалекты вряд ли можно отнести к семитской группе языков.

Даже в пределах одного и того же языка, на протяжении его развития, наблюдаются большие различия в структурно-типологическом отношении. Так, в классическом арабском языке в начале слога обычно может стоять только один согласный. Слог не может начинаться гласным или двумя согласными (при выпадении краткого гласного первого слога двусогласное начало, как известно, облегчается либо концом предыдущего слога во фразе, либо протетическими гласными с предшествующим гортанным взрывом)³⁰. Структура слога³¹ в современных арабских диалектах

²⁸ S. Moscati, A. Spitaler, E. Ullendorff, W. von Soden, указ. с. 7, стр. 131.

²⁹ См.: К. Г. Церетели, Материалы по арамейской диалектологии. I — Урмийский диалект, 1, Тбилиси, 1965 (см. рецензию: S. Segert, AO, 35/4, 1967, стр. 492—493); К. Г. Церетели, Современный ассирийский язык, М., 1964.

³⁰ Н. В. Юшманов, Строй арабского языка, стр. 11—12; е го же, Грамматика литературного арабского языка, стр. 16; W. Wright, A grammar of the Arabic language, Cambridge, 1933, стр. 26.

³¹ О структуре слога в арабском языке см.: W. Fischer, Silbenstruktur und Vokalismus im Arabischen, ZDMG, 117, 1.

лектах, как известно, существенно отличается от классического образа, и такие формы, как *šēḡer, šrāb*³² или *lsān, flāka, ʕlāb, ptoḡtūbu*³³ и т. д. — обычное явление. Известно также, что синтетическому строю классического арабского языка противопоставляется аналитизм его диалектов³⁴.

Точно так же структура английских числительных, вроде *twenty-four* идентична не нем. *vier-und-zwanzig* (которому в английском соответствует тоже сохранившееся *four-and-twenty*), а франц. *vingt-quatre*. Но для генетических связей этого английского числительного важна не ее сходная с французской структура, а тот факт, что англ. *twenty* (др.-англ. *twēntig, twēntig*) находится в закономерных отношениях с др.-сакс. *twēntig*, др.-фриз. *twintich*, голл. *twintig*, с др.-в.-нем. *zweinzug*, ср.-в.-нем. *zweinzec, zwēnzic*, нем. *zwanzig*³⁵, а числительное *four* (ср.-англ. *feower, fower, foure*, др.-англ. *fēower*) — с др.-сакс. *fiuwar, fiwar*, др.-фриз. *fiūwer, fiōr*, голл. *vier*, др.-в.-нем. *fior*, ср.-в.-нем. *fior*, нем. *vier*³⁶ и т. д.

Выше указывалось на значительные отклонения современных новоарамейских диалектов от первоначальной семитской структурно-типологической модели. Поэтому если бы не было в этих диалектах в большом количестве лексических элементов с закономерными соответствиями к ним в других семитских языках, например: *dimā* «кровь» (аккад. *dami*, др.-евр. *dām*, араб. *dam*); *libā* «сердце» (аккад. *libbu*, др.-евр. *lēb*, араб. *lebbā*, эфиоп. *lebb*, араб. *lubb*), *bēta* «дом» (аккад. *bītu*, др.-евр. *báyit*, араб. *baytā*, эфиоп. *bēt*, араб. *bayt*), *birča* «колени» (аккад. *birku*, др.-евр. *bērek*, араб. *burka*, эфиоп. *berk*, араб. *rubb-at* — ср. глагол *baraka* «становиться на колени»), *imā, ma* «сто» (аккад. *me'atu*, др.-евр. *mē'ā*, араб. *mā*, эфиоп. *me'ēt*, араб. *mi'at*), *bāḡi* «плачет» (аккад. *ibkī*, др.-евр. *bāka, yibkē*, араб. *bkā, nekkē*, эфиоп. *bakāya, yébkī*, араб. *bakā, yabkī*), вряд ли можно было бы идентифицировать новоарамейский как язык семитский, а определенные сходства в структуре, которые все же обнаруживаются между этим и другими семитскими языками, пришлось бы объяснять как результат контактов, сродства, изоморфизма и т. д.

Становится ясным, что на основании структурно-типологических признаков вряд ли представляется возможной идентификация языков. Именно закономерная соотносительность между элементами сравниваемых языков на всех уровнях лингвистической иерархии остается основным критерием для установления принадлежности языка к той или другой группе языков, несмотря на все трудности, которые возникают при этом.

Закономерные соотношения между родственными языками, в частности, регулярность фонетических соответствий не ограничиваются, как это правильно указал Э. Бенвенист, одним определенным типом языков или какой-либо определенной областью³⁷; они относятся к диахроническим универсалиям, которые можно выразить формулой «(x)x EL ⊃». т. е. «для всех x, если x есть язык, то тогда...» (для него характерно за-

³² P. H. M a r c a i s, Le parler arabe de Djidjelli, Paris, б. г. («Publications de l'Institut d'études orientales d'Alger», XVI), стр. 72, 80 и сл.

³³ J. S a y t i e a u, Les parlers arabes du Hōrān, Paris, 1946, стр. 159 и сл.

³⁴ См.: Г. Ш. Шарбагов, Проблема соотношения арабского литературного языка и современных арабских диалектов, «Семитские языки», 2 (ч. 1), стр. 59, 60.

³⁵ E. K l e i n, Comprehensive etymological dictionary of the English language, II, Amsterdam — London — New York, 1967, стр. 1967.

³⁶ E. K l e i n, указ. соч., I, 1966, стр. 616.

³⁷ Э. Бенвенист, Классификация языков, стр. 47; ср. также: L. B l o o m f i e l d, Language, стр. 359—360; Г. Цертели, указ. соч., стр. 034—035.

кономерное отношение к родственному языку)³⁸. Поэтому нет основания считать, что некоторые группы языков требуют каких-то других принципов сравнения, чем, скажем, индоевропейские и семитские³⁹.

Но при всем этом нельзя, конечно, отрицать, что при сравнительном изучении родственных языков не всегда удается установить не только соответствия, но и вообще какие-либо связи между отдельными их ветвями. Очень часто они обладают значительным числом словарных и грамматических элементов, не имеющих точных соответствий в других родственных языках. Это характерно не только для индоевропейских языков, как указывал Н. С. Трубецкой, но и для семитских, кавказских и др. На этом основании Н. С. Трубецкой пришел к выводу, что предположение, будто индоевропейская семья языков сложилась благодаря конвергентному развитию первоначально неродственных друг другу языков (предков позднейших ветвей индоевропейского семейства), отнюдь не менее правдоподобно, чем обратное предположение о происхождении индоевропейских языков от единого индоевропейского праязыка путем чисто дивергентной эволюции.

Исходя из этого, многие исследователи за последние десятилетия стали противопоставлять традиционной генетической теории структурно-типологическую характеристику и понятие языкового союза.

В последнее время специально затронул эти вопросы В. Пизани⁴⁰. Касаясь вопросов языковых контактов, он указывал, что контактирующие языки в одних случаях, несмотря на глубокие изменения, вызванные взаимным влиянием, остаются по существу разными языками, как это произошло с балканским языковым союзом или с западноевропейскими языками — итальянским, французским, английским, немецким, испанским и др., воздействовавшим друг на друга непосредственно и через посредство латыни, но крайней мере начиная с эпохи Карла Великого. В других случаях контактирующие языки образуют в конце концов единый язык, как, например, английский, возникший из языкового союза, состоявшего из местного англо-саксонского и привнесенного норманнами французского и народной латыни. В последнем случае В. Пизани проводит различие между английским, где обе основные языковые составляющие представлены примерно в одинаковой степени, и народной латынью, различные диалекты которой, лежащие в основе современных романских диалектов, обнаруживают сильное влияние долатинских языков.

Переноса эти критерии на предысторию индоевропейских языков, В. Пизани утверждает, что различные языковые семьи не являются независимыми и монолитными группами, возникшими благодаря расщеплению столь же монолитного индоевропейского праязыка, а представляют собой результат распространения из одного или более центров отдельных явлений, которые по политическим или каким-либо иным причинам, охватив определенную территорию, в различной степени проникли в индоевропейские и отчасти неиндоевропейские языки, на которых говорило население данной области. «Таким образом, отдельные диалекты, возникшие в результате подобной эволюции, обладая суммой общих изоглосс, могут в то же время, наряду с последующими инновациями, сохранять целый ряд особенностей, иногда весьма очевидных, которые восходят к ранним языковым фазам, предшествовавшим периоду относительного языкового

³⁸ См.: J. H. Greenberg, Ch. Osgood, J. Jenkins, Memorandum concerning language universals, «Universals of languages», ed. by J. H. Greenberg, Cambridge, Mass., 1963, стр. 258.

³⁹ См. об этом: Г. Церетели, указ. соч., стр. 634.

⁴⁰ В. Пизани, К индоевропейской проблеме, ВЯ, 1966, 4.

единства»⁴¹. Индоевропейское единство представляется В. Пизани в виде «результата... языкового союза, образовавшегося путем наложения языков завоевателей, говоривших на „протосанскритских“ наречиях, на различные местные языки, связанные, с одной стороны, с „средиземноморской“ группой, а с другой — с чем-то подобным „угро-финскому“ и распространенные в Центральной и Восточной Европе, а также в Анатолии и т. п. Таким образом возникли диалекты, разные, но объединенные многочисленными изоглоссами...»⁴².

Идеи, высказанные В. Пизани и другими исследователями, относительно индоевропейских языков и вообще о языковом родстве, вызвали решительное возражение сторонников генетической гипотезы, которые считают, что эта точка зрения лишает всякого основания сравнительный метод, на котором строится индоевропейское языковедение: она... «вступает в противоречие с самой основой, самой сутью сравнительно-исторического метода»⁴³.

II. Таким образом, в современной лингвистической науке явно выражены две различные точки зрения о развитии языков и об их взаимоотношениях и в связи с этим — различные подходы к изучению проблем диахронической лингвистики. С одной стороны — традиционная генетическая точка зрения, исходящая из постулата об общности происхождения родственных между собой языков. В связи с этим, задачей сравнительно-исторического языковедения признается реконструкция ранних языковых состояний с целью установления структурных особенностей языка-основы, результатом прямолинейного развития которого являются исторически засвидетельствованные языки. С другой стороны — стремление заменить понятие праязыка понятием языкового союза и в связи с этим попытки с применением данных сравнительной типологии, с учетом проблем ареальной лингвистики, теорий субстратов и т. д. рассматривать родственные языки как результат конвергенции языков различных систем.

Представляется, что обе эти точки зрения не непримиримы: генетическая гипотеза и теория о конвергентном развитии языков не исключают взаимно друг друга, а, наоборот, дополняют и позволяют более полно и всесторонне представить себе сложные процессы развития языков, ибо признание возможным установления родства путем конвергентного развития (в одних случаях) не дает основания отрицать для других случаев вероятность прямолинейного развития общего языка-основы, в результате расщепления которого получаем независимые монопольные группы.

Можно представить себе существование двух различных языков X и Y (см. рис. 1), ничего общего между собой не имеющих, за исключением отдельных изоморфных явлений (порядка универсалий). Каждый из них может распадаться в процессе дивергенции на разные группы, например, $X > A, B$ и $Y > C, D$. Эти последние, в свою очередь, распадаются, с одной стороны, — на E, F, G, H и далее — на E_1 и E_2 ; F_1 и F_2 ; H_1 и H_2 и т. д. С другой стороны, группа языка Y дробится на K, L ; M, N и затем — соответственно на K_1 и K_2 ; L_1 и L_2 ; M_1 и M_2 ; N_1 и N_2 .

В процессе развития, на одной из стадий, ответвление языка $K_1 - R$ может подвергнуться сильному влиянию языка H_2 . Таким образом, язык R , являясь результатом прямолинейного развития $Y > C > K > K_1$,

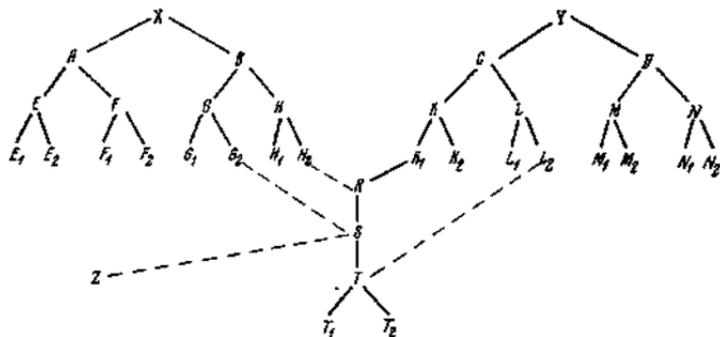
⁴¹ В. Пизани, указ. соч., стр. 4

⁴² Там же.

⁴³ В. К. Журавлев, «Современные проблемы реконструкции праязыка», «Проблемы языковедения», М., 1967, стр. 259. Ср. также: J. W. M a r c h a n d, Was there ever a uniform Proto-Indo-European?, «Orbis», IV, 2, 1955, стр. 431; ср. также мнение В. И. Георгиева, приводимое В. Пизани (указ. соч., стр. 5).

одновременно подвергается наслоению инвентаря H_2 , восходящего через H_1 , H и B к языку X .

В результате этот язык (R) частично или в большей своей части будет обнаруживать, с одной стороны, регулярные соответствия с языками группы Y , а с другой стороны — находиться в определенной закономерной связи⁴⁴ с языками группы X . Но на этом уровне развития языка, несмотря на двусторонние связи, еще нельзя говорить о двустороннем родстве языка R . Позднейшие наслоения, заимствованные из языка H_2 , легко могут быть отделены от первоначального инвентаря, восходящего к Y и находящегося в определенных регулярных отношениях с языками этой группы.



На такой ступени развития мы застаем находящиеся под сильным арабским влиянием некоторые тюркские и иранские языки, в которых количество арабских элементов достигает значительных размеров: длительное и непосредственное арабское воздействие сказалось также на морфологии и фонологии, например, некоторых таджикских и туркменских говоров.

Но уже последующие ответвления языка R во втором (S) и особенно в третьем (T) и последующих (T_1, T_2) поколениях будут обнаруживать тоже определенные регулярные отношения с языками группы X , если, конечно, заимствованный язык R материал удержался в нем и не исчез в процессе развития. Но эти соответствия будут носить несколько диффузный и вместе с тем спорадический характер сравнительно с той частью языка, которая восходит к группе Y . Картина может еще больше осложниться, если промежуточные ступени развития между $R - S - T$ и T_1, T_2 подвергнутся такому же влиянию со стороны третьей группы языков, напр. Z , или со стороны G_2 , или родственного языка своей же группы, напр. L_2 .

Полученные таким образом изоморфизм и характерные для обоих языков изоглоссы и образуют родство по побочной линии между языками T_1, T_2 и языками группы X .

Таким образом у языков, восходящих по прямой линии к определенной группе, одновременно путем конвергентного развития устанавливаются

⁴⁴ О закономерных отношениях при массовых заимствованиях см.: Н. С. Трубейской, указ. соч., стр. 56; ср. также U. Weinreich, *Languages in contact*, New York, 1953, стр. 14 и сл.; Е. М. Верещагин, *Психолингвистическая проблематика теории языковых контактов*, ВЯ, 1967, 6; см. также: Т. В. Цивьян, *Исследования Э. Голомба по балканистике*, «Структурная типология языков», М., 1966; М. К. Андрианов, *Очерки по ирано-грузинским языковым взаимоотношениям*, Тбилиси, 1966 (на груз. яз.). Ср.: Н. М. Hoenigswald, *Language change and linguistic reconstruction*, Chicago, 1960; W. P. Lehmann, *Historical linguistics*, New York, 1962.

ся в одной части такие же или почти такие же закономерные отношения с другой группой (или группами) языков, как и с родственной группой. Эти языки таким путем становятся по отношению друг к другу в разносторонние генетические связи, называемые нами аллогенетическими⁴⁵ (франц. *allogénétique*, англ. *allogenic*).

Естественно, что инвентарь таких языков, обнаруживающих аллогенетические отношения с двумя разными языковыми группами, в одной своей части может восходить к одному источнику, а в другой — к иному.

Иногда даже одни и те же элементы языка могут одновременно восходить к разным источникам. Так, например, упомянутые выше английские числительные (вроде *twenty-four* и т. д.) одновременно находятся в аллогенетических связях как с германскими числительными (слова *twenty* и *four*), так и с романскими (структура числительного).

Если верна гипотеза о том, что переход герм. $\bar{u} > \bar{y}$ ($u > y$) в приречных говорах на северо-западной и юго-западной периферии западногерманской языковой территории, в Нидерландах, Эльзасе и южной Швейцарии или передвижение лат. $u > y$ в галло-романском (французском) и в соседнем с ним пьемонтском диалекте итальянского языка представляет собой результат явлений субстратного происхождения⁴⁶, то мы имели бы случай двусторонних связей с разными источниками одного и того же элемента ($\bar{u} < u$, $\bar{y} < u$) фонологической системы данного языка⁴⁷.

Вместе с тем при изучении каждой из обеих составляющих данного языка сравнительно с соответствующим языком очень часто остается материал, не сводимый к какому-либо предполагаемому источнику. Остаток, не поддающийся толкованию на основании двух компонентов, приходится объяснять или как инновацию, результат самостоятельного развития, или как третью составляющую, восходящую к неизвестному источнику.

При этом следует отметить, что языковые союзы, возникающие в результате контактов и взаимного влияния в пределах определенных лингвистических ареалов, не всегда могут привести к аллогенетическим отношениям. Об аллогенетических отношениях можно говорить лишь в том случае, когда на определенной стадии развития между языками T_1 и T_2 и языками группы X устанавливается в одной части языковых составляющих регулярная соотносительность на различных уровнях лингвистической иерархии и одновременно с этим в другой части имеются такие же закономерные отношения с другой группой языков (Y). Без этих условий, даже при наличии определенного сходства, возникшего в результате контактов, можно говорить лишь о чисто союзных отношениях, образующих языковые союзы с различной степенью близости. Языковые союзы могут привести к аллогенетическим отношениям, но могут и существовать или распадаться без того, чтобы образовать языки с двусторонними или разносторонними родственными связями.

Так, например, вряд ли можно говорить об аллогенетических отношениях таких языков, образующих, по мнению Р. Якобсона, евразийский

⁴⁵ Ввиду того что родственные языки и диалекты в результате взаимных контактов тоже образуют языковые союзы, внутри одной и той же группы также могут установиться аллогенетические отношения: с одной стороны, родственные связи по прямой линии и, с другой, — в т о р ч и о е родство, получаемое путем конвергентного развития родственных языков (ван, например, английский, современные арамейские диалекты, балканские языки и др.).

⁴⁶ См.: В. М. Жирмунский и Я. Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков, М.—Л., 1964, стр. 191.

⁴⁷ То же самое можно было сказать относительно германского передвижения согласных, если бы оказалась верной гипотеза о субстратном происхождении этого явления. Ср., однако: Э. А. Макаев, Система согласных и гласных фонем в германских языках, в кн.: «Сравнительная грамматика германских языков», II, М., 1962, стр. 31 и сл.

языковой союз, как языки народов, населяющих Восточно-Европейскую равнину от Белого моря до Кавказских гор, Западно-Сибирскую и Туранскую низменности⁴⁸.

Наконец, возникает вопрос: к какой группе языков можем мы отнести язык, находящийся в аллогенетических отношениях с двумя различными группами: к группе У или группе Х?

По нашему мнению, в каждом отдельном случае этот вопрос должен решаться по-разному. В этом отношении очень важно выяснить, в какой степени структура языка, включая лексические элементы, оказалась измененной в результате контактов. Для определения характера этих изменений квантитативный подход мог бы играть большую роль. В зависимости от полученных результатов исследования можно было бы тот или иной язык отнести к той или иной группе. Но, быть может, было бы вернее этим языкам, занимающим особое, промежуточное положение между различными группами языков, давать специальные наименования, как, например, индоевропейско-кавказский или кавказско-индоевропейский, семито-хамитский (но, конечно, не в обычном смысле этого термина) или хамито-семитский, а в генеалогической классификации языков для них предусмотреть особое место.

Изложенная здесь точка зрения дает основание представить взаимоотношение языков в следующем виде: 1) чисто генетические связи языков внутри группы Х или У и прямолинейное развитие в пределах данной группы; 2) аллогенетические отношения языков, восходящих, с одной стороны, по прямой линии к языкам одной группы (У) и обнаруживающих в то же самое время в определенной своей части также закономерные отношения в результате сродства с языками другой группы (Х); 3) чисто союзные отношения, образующие различной степени и разного характера союзы языков, которые не имеют, однако, параллельно с этим генетических связей с какими-либо известными языками или в инвентаре которых не обнаруживается регулярной соотносительности с другими группами языков.

Признание концепции об аллогенезе языков дает возможность объяснить, почему одни и те же языки, обнаруживая в одной своей части закономерное сходство, в другой части расходятся в такой степени, что вероятность общего происхождения почти исключается.

Так, давно известен такой характер армянского языка, обнаруживающего в определенном отношении явно индоевропейский характер, но тем не менее не свободного от целого ряда черт языков кавказского и переднеазиатского лингвистического ареала⁴⁹.

Этим же можно объяснить то обстоятельство, что хеттский язык, сохранивший такие архаические черты, как рефлексы индоевропейских ларингалов⁵⁰, в целом оказался дальше от протоиндоевропейского состояния,

⁴⁸ R. Jakobson, К характеристике евразийского языкового союза, в его кн.: «Selected writings», s-Gravenhage, 1962, стр. 144 и сл.

⁴⁹ См. об этом, например: A. Meillet, *Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique*, 2. éd., Vienna, 1936; H. Pedersen, *Armenier*, «Ebert's Reallexikon der Vorgeschichte», 1, 1924; G. R. Solta, *Die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen*, Wien, 1960; его же, *Die armenische Sprache*, «Handbuch der Orientalistik», I. Abteilung, 7 — *Armenisch und kaukasische Sprachen*, Leiden — Köln, 1963; см. также: G. Deeters, *Armenisch und Südkaukasisch*, «Caucasica», 3—1926, 4—1927; H. Vogt, *Arménien et Caucasiq du Sud*, NTS, IX, 1938; Эд. В. Ага-ян, *История армянского языкования*, I, Ереван, 1958 (на арм. яз.).

⁵⁰ См.: Н. Нендриксен, *Untersuchungen über die Bedeutung des Hethitischen für die Laryngalthorie*, «Det Kgl. Danske Videnskaberne Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser», XXVIII, 2, København, 1941; J. Kuryłowicz, *Etudes indo-européennes*, I, Kraków, 1935; его же, *L'apophonie en indo-européen*; L. Zgusta, *La théorie laryngale*, AO, XIX, 3, 1951; В. Я. Б. Иванова, Проблема ларингалов в свете дав-

чем известные ранее индоевропейские языки⁵¹. То же самое касается других анатолийских языков индоевропейского происхождения.

Этим же объясняем мы и то обстоятельство, что хурритский и урартский языки, в области склонения имеют чрезвычайно близкие между собой⁵², в области глагола обнаруживают такие расхождения, что в этой части общность происхождения становится весьма сомнительной.

В таком же свете представляются нам взаимоотношения семитских и так называемых хамитских языков. В настоящее время считается общепринятой классификация, предложенная М. Коэном, по которой семито-хамитская (в обычном понимании слова) группа языков состоит из четырех или пяти самостоятельных ветвей: семитской, египетской, ливийско-берберской и кушитской, а также хауса и родственных с ним языков⁵³. Специальные исследования М. Коэна⁵⁴ показали, однако, что регулярные соответствия, устанавливаемые для семитских и так называемых хамитских языков, настолько мизерны, что говорить о родстве в обычном смысле вряд ли есть основания⁵⁵. В то же время, учитывая определенные области совпадений как в лексике, так и, что особенно важно, в фонологической и морфологической системах семитских и кушитских языков, можно говорить лишь о частичном родстве или об аллогенетических отношениях этих языков. Не лишне напомнить, что К. Брокельман семито-хамитскую группу языков рассматривал как языковой союз⁵⁶.

ных древних индоевропейских языков Малой Азии, «Вестник МГУ», Историко-филологич. серия, 2, 1957; Т. В. Гамирелдзэ, Хеттский язык и ларингальная теория, «Труды Ин-та языкознания [АН ГрузССР]», Серия восточных языков, III, 1960.

⁵¹ Ограниченное сходство, наблюдаемое между разными языками и нередко квалифицируемое исследователями как «далекое родство», иной раз, по-видимому, представляет собою не что иное, как проявление аллогенетических отношений. Степень родства хотя и связана в известной мере с фактором времени (поскольку длительный период развития создает хорошие условия для изменений под влиянием многочисленных причин, в том числе равносторонних связей), по хронологической давности не обязательно означает лингвистическую близость и, наоборот, как это хорошо видно на примере индоевропейского хеттского языка.

⁵² И. М. Дьяконов, Сравнительно-грамматический обзор хурритского и урартского языков, «Переднеазийский сборник», [I] — Вопросы хеттологии и хурритологии, М., 1961; е го ж е, Языки древней Передней Азии, М., 1967, стр. 113 и сл.

⁵³ См.: M. C o h e n, Les résultats acquis de la grammaire comparée chamito-sémitique, «Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris», 1933; е го ж е, Cinquante années de recherches, Paris, 1955; е го ж е, Langues chamito-sémitiques et linguistique historique, 1951; е го ж е, Sémitique, égyptien, libyco-berbère, couchitique et méthode comparative, «Bibliotheca Orientalis», 10, 1953; G. G a r b i n i, La semitistica: definizione e prospettive di una disciplina, «Annali dell'Istituto universitario Orientale di Napoli», Nuova serie, XV, 1965; И. М. Дьяконов, Языки древней Передней Азии, стр. 179 и сл.

⁵⁴ M. C o h e n, Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique de chamito-sémitique, Paris, 1947.

⁵⁵ Так, в отношении числительных некоторые из кушитских языков обнаруживают явные связи с семитскими, а в других языках той же группы вряд ли можно найти что-либо общее с семитскими. Ср., например, семитские числительные «3» (аккад. *šalšū*, *šalaš*; угар. *šl*; евр. *šālōš*, *šālōš*; сирийск. *šalātā*, *šalā*; араб. *šalāyat*, *šalāt*; эфиоп. *šalastā*, *šalās*), «5» (аккад. *hamšat*, *hamiš*; угар. *hmš*; евр. *hamiššā*, *hämēs*; сирийск. *hamšā*, *hammeš*; араб. *hamšat*, *hams*; эфиоп. *hamostā*, *hamas*), «8» (аккад. *šamšū*, *šamšū*; угар. *šm*; евр. *šamšā*, *šomš*); сирийск. *šamšū*, *šamšū*; араб. *šamšū*, *šamšū*; эфиоп. *šamšū*, *šamšū*), с одной стороны, и те же числительные в языке бедуйе: *emhāy* «3»; *ay* (из *as*) «5»; *asemhāy* «8». с другой. В языке бедуйе, так же как и в некоторых других кушитских языках, числительные после «пяти» образованы по принципу «5 + 1», «5 + 2», «5 + 3» или даже «1 + рука», «2 + рука» и т. д. (ср. Н. П. Лазикова, *Zahlen und Zahlensysteme in den sogenannten kuschitischen Sprachen*, «Mitteilungen des Instituts für Orientforschung», VIII, 3, Berlin, 1963, стр. 466 и сл.). Семитским языкам такая структура числительных не известна. Кроме того, и с точки зрения «материальной части» числительные некоторых кушитских языков в генетическом отношении ничего общего не имеют с семитскими числительными.

⁵⁶ С. В. Брокельман, Gibt es einen hamitischen Sprachstamm?, «Anthropos», XXVII, 5, 6, 1932.

Под таким же углом зрения можно рассматривать вопрос об отношении южнокавказских языков к другим языкам Кавказа. Как известно, П. Грубецкой свой тезис о языковых союзах впервые обосновал именно на примере кавказских языков. В противоположность этому, начиная еще со времен П. К. Услара (1816—1875), многие ученые отстаивают монолитный характер родственных между собой языков Кавказа.

Однако попытки показать это родство часто не выходят за пределы структурно-типологических сопоставлений, и закономерные соотношения между этими языками до сих пор не установлены⁵⁷. В то же время нельзя отрицать, что между отдельными языками Кавказа, может быть — даже группами этих языков, существует определенное сходство, которое вряд ли можно объяснить простым заимствованием. Так, например, при значительных различиях между абхазско-адыгейской и южнокавказской (картвельской) группой языков одновременно существуют такие совпадения как в структуре, так и в материальной части даже глагола⁵⁸, что иначе, как аллогенетическими связями, это трудно объяснить. Такой подход к кавказской лингвистической проблеме, думается, в значительной степени способствовал бы делу ее правильного решения.

Наконец, многочисленные попытки установить родственные связи и закономерные отношения между языками разных семей (индоевропейскими, семитскими, финно-угорскими, кавказскими и др.)⁵⁹, характеризующимися, при различных структурах и материальной части, известным регулярным сходством, могли бы получить обоснование лишь в свете аллогенетической гипотезы.

Точка зрения о необходимости признать, с одной стороны, факты прямолинейного развития языков, а с другой — родство по побочной линии, при частичном сохранении родственных связей определяет характер подхода к сравнительно-историческому изучению языков. При таком подходе возможно более точно восстановить реальную картину раннего языкового состояния с целью выявления путей становления и развития исторически засвидетельствованных языковых систем.

Процедура реконструкции различных языковых состояний в разных вариантах неоднократно применялась с большим или меньшим успехом целыми поколениями ученых в отношении многих языков мира. Обычно работа велась лишь в одном направлении, с целью установления регулярных соотношений изучаемого языка и других родственных языков той же группы. А другая составляющая изучаемого языка, восходящая к неродственной группе языков (X на рис. 1) или вовсе оставалась без внимания, или просто выделялась как чуждая, заимствованная часть инвентаря. Между тем, нет никаких оснований думать, что каждый раз при изу-

⁵⁷ Ср.: К. Н. Schmidt, Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südkaukasischen Grundsprache, «Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes», XXXIV, 3, Wiesbaden, 1963, стр. 8 и сл.; G. B e t e r s, Die kaukasischen Sprachen, «Handbuch der Orientalistik», I. Abteilung, VII — Armenisch und kaukasische Sprachen, Leiden — Köln, 1963; Г. А. Климов, Этимологический словарь картвельских языков, М., 1964, стр. 39 и сл.

⁵⁸ Ср.: П. Чаран, Об отношении абхазского языка к яфетическим, СПб., 1912 («Материалы по яфетическому языкознанию», IV); Н. Я. Марр, К вопросу о положении абхазского языка среди яфетических, в его кн. «О языке и истории абхазов», М. — Л., 1938, стр. 7 и сл.; И. А. Джавахишвили, Введение в историю грузинского народа, II — Первоначальный строй и родство грузинского и кавказских языков, Тбилиси, 1937 (на груз. яз.).

⁵⁹ См.: Н. M ö l l e r, Vergleichendes indo-germanisch-semitisches Wörterbuch, Göttingen, 1911; A. C u p y, Recherches sur le vocalisme...; e r o ж e, Invitation à l'étude comparative des langues indo-européennes et des langues chamito-semitiques; особенно см.: В. М. Иллич-Свитыч, Материалы к сравнительному словарю вострапических языков (индоевропейский, алтайский, уральский, дравидский, картвельский, семитохамитский), «Этимология 1965», М., 1967.

чении того или иного языка мы застаем его в том состоянии, когда он впервые заимствует чужеродный материал. В тех случаях, когда эта чужеродная составляющая представлена в последующих стадиях развития языка, ее изучение тем же методом сравнительной и внутренней реконструкции с учетом данных сравнительной типологии и ареальной лингвистики так же необходимо, как и идущего по родственной линии материала. В противном случае никогда не будет возможно воссоздать действительную картину истории развития языка.

С этой точки зрения представляется, что попытки, например, установить взаимоотношения армянского языка с другими индоевропейскими языками и протоиндоевропейским вряд ли могут быть успешными до тех пор, пока не будет реконструирован протоармянский язык и пока не будет получена его структурная характеристика⁶⁰. Для этого необходимо прежде всего установить типологические соотношения армянского языка — изоморфизм и алломорфизм, типологические сходства и различия его как с родственными индоевропейскими языками, так и с другими языками кавказского и переднеазиатского лингвистического ареала, реконструировать протоармянский язык и лишь после разграничения его составляющих определить отношения этого языка к различным языкам мира.

То же самое касается и других языковых групп, которые, подобно армянскому, обнаруживают двусторонние связи. С учетом всего вышесказанного структурно-типологическое изучение языка приобретает исключительное значение⁶¹. Это важно не только для установления вероятностей реконструируемых моделей различных языковых состояний. Сравнительная типология имеет большое значение также для обнаружения структурных особенностей, характерных для различных языковых систем, независимо от факторов времени и пространства. Позволяя выявить изоморфные и алломорфные явления в различных группах или системах языков, типология создает возможности для установления точек соприкосновения между различными родственными или неродственными языками.

В настоящее время никто не сомневается в том, что языковая типология является необходимой предпосылкой всякой языковой реконструкции и диахронической лингвистики вообще. Но было бы ошибкой думать, что путем лишь одних сравнительно-типологических изысканий можно установить родственные отношения между языками. Такие попытки неоднократно приводили к роковым последствиям при изучении некоторых групп языков. Поэтому неотложной задачей лингвистической науки в настоящее время является, по нашему мнению, именно строгое разграничение случаев простого изоморфизма, не обусловленного факторами времени и пространства, от явлений, возникших в результате языковых контактов, и тем более — от фактов, свидетельствующих о родственных отношениях языков.

⁶⁰ Об этом см.: Г. В. Церетели, указ. соч., стр. 046 и сл.

⁶¹ Ср. об этом: R. Jakobson, *Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics*, «Proceedings of the VIII International congress of linguists», Oslo, 1958; Дж. Гринберг, *Квантитативный подход к морфологической типологии языков*, «Новое в лингвистике», III; В. Скалчяка, *О современном состоянии типологии*, там же; В. М. Жирюцкий и Я. Обские, *тенденции фонетического развития германских языков*, ВЯ, 1965, 4, стр. 3 и сл.; Б. А. Успенский, *Структурная типология языков*, М., 1965; «Лингвистическая типология и восточные языки», 1965; «Структурная типология», М., 1966; Э. А. Макаев, *Проблемы и методы современного сравнительно-исторического языкознания*, ВЯ, 1965, 4, стр. 3 и сл.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Н. З. ГАДЖИЕВА

О МЕТОДАХ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА СИНТАКСИСА

(На материале тюркских языков)

В сравнительно-историческом языкознании отдел синтаксиса не только тюркских, но и индоевропейских языков остается наименее изученным. До сих пор не разработаны методы и приемы сравнительно-исторического исследования синтаксиса, хотя современная тюркология, а тем более индоевропеистика в известной мере подготовлены к разработке этой темы. В последние годы в тюркологии велась большая работа по научно-критическому изданию памятников, систематическому описанию их грамматического строя, а также анализу редких тюркских языков (лобнорский, тофаларский, саларский). Параллельно с этим в последние годы ведутся исследования по созданию очерков по истории, правда, пока только отдельных тюркских языков (азербайджанского, узбекского, башкирского, туркменского, чувашского и др.).

Тюркологическая литература располагает немногими работами, в которых раздел синтаксиса выполнен в историческом освещении, чаще всего — на основе анализа языка того или иного конкретного исторического памятника. Если к работам этого типа добавить обширнейшую литературу по синтаксису всех тюркских языков, выполненных в синхронном плане, а также многочисленные диалектографические работы по всем тюркским языкам, то в совокупности все это может послужить известной базой для осуществления сравнительно-исторических исследований по синтаксису тюркских языков. Однако нельзя забывать и о целом ряде серьезных объективных трудностей, возникающих при попытках создания сравнительно-исторического синтаксиса тюркских языков: 1) отсутствие исторических грамматик по целому ряду тюркских языков; 2) отсутствие письменных памятников у многих языков (алтайский, нарчаево-балкарский, кумыкский, ногайский и др.); 3) неясность преемственных связей между целым рядом древних тюркоязычных памятников и современными языками; 4) жанровая неоднородность языка памятников, дифференцированность самих тюркских языков уже в эпоху енисейско-орхонских памятников и, следовательно, существование общетюркского языка-основы в эпоху, значительно удаленную от времени появления первых памятников на тюркских языках; 5) отсутствие четко выработанных методов и приемов исследования в области сравнительно-исторического синтаксиса.

Тюркологическая литература имеет целый ряд работ, в которых отдельные синтаксические категории трактуются с точки зрения динамики их развития¹, заметим, однако, что метод сопоставлений, широко при-

¹ Исследование проблемы соотношения именных и глагольных конструкций см.: K. G r ö b e c h, *Der türkische Sprachbau*, Kopenhagen, 1936; J. D e n u, *Grammaire de la langue turque (dialecte Osmanli)*, Paris, 1921; вопросы тематизации простого предложе-

меняемый в последние годы в работах по тюркскому синтаксису, оставляет в стороне проблемы историко-генетического порядка, вопрос об общей исторической основе тюркского синтаксиса.

В то же время индоевропеистика, разработав определенную методику сравнительно-исторического изучения морфологии, не располагает подобными разработками в отношении синтаксиса. Методы и приемы сравнительно-исторического изучения синтаксиса в индоевропеистике не были созданы и младограмматическим направлением, ведущие представители которого (от Боппа, Бругмана, Пауля до Мейе) внесли немалый вклад в область внутренней истории языка, но не уделяли должного внимания вопросам закономерности языковых изменений, а развитие языка рассматривалось ими вне единой системы.

Методологические недостатки школы младограмматизма в значительной мере были преодолены в работах А. А. Потебни, с именем которого связано начало нового этапа в развитии исторического синтаксиса. А. А. Потебня выдвинул принцип структурной самостоятельности и соотносительности всех элементов языка, принцип системности синтаксиса, а также установил основные тенденции синтаксического развития². Поэтому объектом сравнения у Потебни служат не отдельные явления, а определенные синтаксические тенденции, объединяющие целую совокупность языковых факторов. В результате последующего развития традиций исторического изучения языков в числе очередных задач языковедения была выдвинута проблема реконструкции синтаксиса группы близкородственных языков³, которая в работах большинства компаративистов не ставилась⁴.

Между тем, сравнительно-исторические синтаксисы, включающие в орбиту своего исследования ряд родственных языков, все еще остаются единичными. В истории языковедения попыток к созданию таких работ было немного⁵. Кроме того, подобные попытки были отмечены неудачной методикой синтаксического исследования: за основу брался анализ систе-

ния: Н. А. Баскаков, Типы сказуемого простого предложения в тюркских языках и их происхождение, М., 1960 («XV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР»); А. П. Поцелуевский, Основы синтаксиса тюркменского литературного языка, Ашхабад, 1943, и др.; C. S. M u n d y, Turkish syntax as a system of qualification, «Bull. of the School of Oriental and African studies (University of London)», XVII, pt. 2, 1955; A. v. G a b a i n, Die Natur des Prädikats in den Türk-sprachen, «Köbisi Csoma-archivum», III, 1, Budapest — Leipzig, 1940; проблемы генезиса сложного предложения: Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М. — Л., 1948; его же, Строй тюркских языков, М., 1962; вопросов, связанных с развитием отдельных типов синтаксических отношений: В. Котвич, Исследование по алтайским языкам, М., 1962; изучение природы и реконструкция грамматических форм: O. V ö h l i n g k, Ueber die Sprache der Jakuten, в кн.: A. Th. v. Middendorff, Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens, III, Th. 1, St. P., 1851; Н. И. Ашмарин, Материалы для исследования чувашского языка, ч. 1—2, Казань, 1898; Н. Ф. Катапов, Опыт исследования уральского языка, Казань, 1903; А. Н. Кононов, Тюркологические этюды, «Историко-филологические исследования. Сборник статей к 75-летию акад. Н. И. Козраля», М., 1967, и др.

² См. А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958.

³ Я. Бауэр, Проблема реконструкции праславянского сложного предложения, «Sbornik prac filozofické fakulty Brněnské univerzity», VII, Rady jazykovědné, 6, 1958; В. Н. Ярцева, Проблема выделения заимствованных элементов при реконструкции сравнительно-исторического синтаксиса родственных языков, ВЯ, 1956, 6.

⁴ Сам сравнительно-исторический метод, на котором основывается реконструкция, некоторые компаративисты считают неприменимым к области синтаксиса, ср., например: А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М. — Л., 1938.

⁵ В. Delbrück, Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, I, Thl., в кн.: K. Brugmann, В. Delbrück, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, III, Strassburg, 1893; Н. Нирт, Indogermanische Grammatik, I—VII, Heidelberg, 1921—1937.

посредством 3-го лица множественного числа (ср. турецкую поговорку: *Ağlatıyın çocuğa süt vermezler* «Ребенку, который не плачет, молока не дают») — очевидно, явление более позднее.

К числу тенденций исторического развития в области синтаксиса можно отнести стремление к грамматической оформленности изафетных словосочетаний, т. е. развитие II и III типа изафета. Целый ряд тюркских языков отражает процессы конкуррирования I и II типа изафета. Так, в кумыкском языке очень трудно провести смысловое разграничение между I и II типами изафета, причем первый из них является наиболее типичным (*кымык тил* «кумыкский язык»). Развитие III типа изафета, соотносимое с более поздним периодом общетюркской праязыковой общности, связано с развитием категории определенности (категория определенности — неопределенности существует в тюркских языках не изначально). Одно из доказательств более позднего развития III типа изафета — полное его отсутствие в якутском языке. В гагаузском, чувашском, а также в ранних памятниках тюркских языков хотя и возможны генетивные конструкции, но различие между определенным и неопределенным изафетом не имеет того значения, как в турецком языке; форма же определенного изафета употребляется сравнительно редко. В историческом развитии проявляются и другие тенденции — такая, как синтаксическая изоляция морфологических форм глагольных имен, послужившая причиной развития конструкций с формирующим членом типа *алганда, алганча, алдыча* и пр., и такая, как развитие категории сложного предложения так называемого европейского типа и тюркских его аналогов.

При сравнительно-историческом анализе в качестве опорных используются особенности агглютинативного строя, который в тюркских языках достиг почти полной абсолютизации⁹. Одно из сопутствующих агглютинативному строю типологических свойств — твердый закон порядка расположения «определение + определяемое» — проявляется в структуре всех синтаксических категорий¹⁰. Способность имен существительных выступать в роли определения и отсутствие согласования с определяемым явилось почвой для развития особого типа словосочетаний — изафета. Действием правила «определение + определяемое» объясняется типичная для агглютинативных языков препозиция родительного падежа, имеющего в ряде тюркских языков артиклевые функции (например, казах. *колхоздың жері* «земля колхоза»). Развитие III типа изафета привело к некоторому разрушению первоначально тесно спаянных именных атрибутивных комплексов — известно, что наиболее легко поддается распространению именно III тип изафета. А это создавало условия в тюркских языках для развития развернутых конструкций.

Конечная позиция глагола в тюркских языках и вытекающая отсюда препозиция дополнения (включая развернутые конструкции) продиктована тем же твердым правилом словоупотребления «определение + определяемое». Появление объектных конструкций с винительным падежом — явление, очевидно, более позднее. Преобладание именных свойств в глагольных образованиях, употребление отглагольных имен вместо личных глагольных форм при господстве способа примыкания обеспечивали на ранних этапах развития агглютинативных языков структуру тесно спаянных ком-

⁹ См.: Б. А. Серебряников, Причины устойчивости агглютинативного строя и вопрос о морфологическом типе языка, сб. «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М.—Л., 1965, стр. 8.

¹⁰ По мнению Н. К. Дмитриева, однако, линия «определение + определяемое» не входит в структурные рамки предложения (Н. К. Дмитриев, Детали простого предложения, сб. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. III, М., 1964, стр. 29).

плексов типа «объект + отглагольное имя». Появление объектных конструкций с винительным падежом сопряжено с расчленением спаянного словосочетания в связи с развитием все той же категории определенности — неопределенности.

Твердый порядок слов вместе с сопутствующей ему постоянно действующей тенденцией — расширить границы определения и построить все сложное по модели простого — определял и развитие структуры предложения. Сказуемое, как неспособное выступить в роли определения, отстается к концу и вместе с тем может выступать в роли своеобразного определяемого. Отсюда два концентратора определений и определяемых: подлежащий и сказуемый. Правило порядка слов распространяется на тот и другой концентратор. Выражение всякой зависимой мысли рассматривается как развернутое определение, поэтому любое придаточное — это разновидность определителей. Одним из характерных для строя тюркских языков путей эволюции сложноподчиненных предложений было их развитие не изнутри, а путем сложения двух ранее самостоятельных предложений, которые под давлением своей системы стремились превратиться в одно. Внутренним же путем в недрах простого предложения могли развиваться лишь причастные, деепричастные, глагольно-именные словосочетания, имеющие общий с главной определяемой частью предложения субъект действия в виде одного грамматически выраженного подлежащего.

Наличие двух самостоятельных грамматически выраженных подлежащих является реликтом того, что первоначально соединялись два самостоятельных простых предложения. При сложении двух глагольных предложений глагол зависимого предложения грамматически трансформируется, стремясь утратить глагольность и обрести именную форму. Этот процесс опирается на другой действующий закон структуры тюркского предложения, которая избегает двух *verbum finitum* (это можно наблюдать уже в рамках простого предложения с однородными сказуемыми). Процесс трансформации двух исторически самостоятельных предложений в условиях смыслового подчинения одного другому сопровождается стремлением при двух самостоятельных подлежащих оставить лишь одно сказуемое — *verbum finitum*, превратив второе в величину глагольную форму. И если в индоевропейских языках средства подчинения сохранили самостоятельность обоих предложений (подчиненного и подчиняемого), то структура тюркских языков предопределила превращение грамматически самостоятельных предложений в несамостоятельные.

Зависимые трансформеры (как мы условимся называть эти несамостоятельные комплексы) — это исторически самостоятельные предложения, претерпевшие либо адъективизацию, либо субстантивацию¹¹. Это новая структурная единица, не укладывающаяся ни в рамки предложения европейского типа, ни в рамки обычных причастных образований. Например: узб. *Улар кирган уй меҳмонтона бўлса керак* (Сайд Аҳмад, Хикоялар) «Дом, в который они вошли, должно быть, был гостиница»; *Қишлоғимга борганимга роса бир ярим йил бўлди* (Яшия, Пьесалар) «С тех пор, как я не ездил к тебе в кишлак, прошло целых полгода»; трансформантами здесь являются *кирган* и *борганимга*.

Трансформеры стали образовываться в тот период, когда у отглагольных имен, причастий, деепричастий, а также личных глагольных форм определялась неодинаковость и их функций и их оформления. Это связано с развитием письменной речи. Уже признание того, что способ примыкания

¹¹ Н. А. Баскаков, применяя термин «трансформация», использует его для объяснения особого типа простого предложения с развернутыми членами («Структура простого предложения в тюркских языках», «Труды Ин-та языка и лит-ры АН КиргССР», VI, Фрунзе, 1956, стр. 96).

простых предложений возник в известный исторический период развития языка, исключает предположение об изначальном существовании трансформ и подсказывает возможность относительной датировки процесса их сложения. В историческом развитии сложного предложения условно можно выделить три этапа: 1) абсолютное преобладание простого предложения; 2) появление первоначальных образцов, так сказать, «несовершенных» трансформ; разнообразие переходных конструкций, грамматически не устоявшихся; наличие комбинированных способов выражения подчинения; 3) оформление трансформ. Таким образом, появление трансформ было подготовлено предшествующими этапами исторического развития, а исходный импульс к их возникновению следует искать очень рано — уже в недрах простых предложений, в самом факте объединения двух предложений по способу примыкания. Как в рамках словосочетаний наблюдаются тесно сплоченные комплексы, так и в рамках сложного предложения сохранились не менее тесно спаянные реликтовые предложения, в которых сказуемое, логически подчиняемое, сохраняет еще грамматическую самостоятельность, будучи неуправляемым со стороны главной части, например, турецк. *Saat gece yarısına yaklaştığı bulunuyordu* (Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan) «Он нашел, что время подошло к полуночи»¹².

Итак, применение сравнительно-исторического метода опирается на типологические черты семьи родственных языков. Синтаксическая типология, основанная на различных закономерных сходжениях, на определенных закономерных моделях синтаксических образований, является необходимым подсобным приемом в сравнительно-исторических исследованиях. Для сравнительно-исторических исследований очень важен также учет типологических черт неродственных языков¹³. Методические принципы типологических исследований, все более внедряющиеся в сравнительную грамматику индоевропейских языков, очень полезны для тюрколог-компаративиста. Типологический подход к решению вопроса о путях развития сложного предложения в тюркских языках не позволяет считать союзный способ выражения подчинения (особенно распространенный в индоевропейских языках) абсолютно привнесенным извне для тюркских языков. Условия для развития союзного способа подчинения были заложены в самой структуре тюркских языков, а известным импульсом к такому развитию была разветвленная система разного рода частиц. Большинство современных нам тюркских языков сохранило употребление этих частиц, особенно в стиле устной разговорной речи. Такова постпозитивная усилительно-выделительная частица *да*, у которой на основе этого значения развивается союзная функция и нередко обе функции переплетаются, например: азерб. *jaxmı sen jumurta çal, mən də samovarı odlaym* (Мирза Ибрахимов, Сечилмиш эсарлар, I) «Хорошо, ты яйца взбивай, а я самовар разведу»; казах. *Онда бар да мұнда жәл* («Қазақ ертегілер», I, 1957) «Раз там есть, принеси сюда». Точно так же *ки* употребляется как усилительно-выделительная частица, например: азерб. *Məni şahid kətirməmişəm ki* (Ибрахимов, указ. соч.) «Не привел же ты меня в свидетели»; узб. *Унинг занида яшнаб турган никоф либослари ўзига бирам ярашибдики* (Саид Аҳмад, Хикоялар) «пышные брачные одеяния на ней настолько были ей к лицу». Распространенная в азербайджанском, турецком, туркменском, узбекском языках усилительно-выделительная частица *ки* при-

¹² Подробное освещение процесса трансформации см. в ст.: Н. З. Гаджиева, Трансформация как способ выражения подчинительных отношений в тюркских языках, Уч. зап. Чувашского НИИ, XXXIV — Филология, Чебоксары, 1967.

¹³ Ф. [Е.] К о р ш, Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса, М., 1877; ср. также: Э. А. М а к а е в, Проблемы и методы современного сравнительно-исторического индоевропейского языковедения, ВЯ, 1965, 4.

обретает и союзное значение. По нашему мнению, исходным моментом в этом развитии было противительное и условное значение *ки*; ср. азерб. *Арайд, еля елама ки, кебим Теллини кетирим, тоф тебарукуну ташырым она* (Ибрагимов, указ. соч.) «Жена, ты так не делай, а то я пойду приведу Телли и поручу ему организацию свадьбы»; узб. *Нима ҳисин ки, ёнида қора қақа йўқ* (Ойбек, Навоий) «Что ему делать, если при нем нет денег». В этом значении частица *ки* могла когнативироваться с иранским союзом *ки* и расширить свою семантику (союз *ки* в азербайджанском, турецком языках вводит почти все типы придаточных предложений). Усилительно-выделительная и одновременно союзная функции частиц оказались удобными при создании в тюркских языках сложных союзных образований, вроде азерб. *амма ки, белә ки, елә ки, экар ки, нечә ки*; казах. *егерде*, узб. *ёки* и т. д.

Давление системы явилось причиной возникновения в целом ряде тюркских языков постпозитивных союзов. Так как всякое придаточное предложение на правах зависимого определения (в широком смысле) стремится уложиться в рамки главного, то эта действующая тенденция проявилась и при создании придаточных союзного типа. Ср. «необычное» положение союза, который, примыкая к главному предложению, составляет с ним единую интонационно-синтагматическую единицу, например, азерб. *Дејурлар ки, сэн бир алим адамсан* «Говорят, что ты ученый человек». Постпозиционное примыкание союза к сказуемому главного предложения также служит аргументом в пользу гипотезы о развитии некоторых союзов из постпозитивных же выделительно-усилительных частиц. Путь развития союзов на базе частиц известен языкам различного типологического строя. Ср. русскую диалектную частицу *дак*: *Садись, пришел дак* (= *садись, раз пришел*); русск. *же*, греч. (Гомер) *ἄρα* и др. Использование впросительных местоимений для союзной связи «принадлежит также к числу способов, усвоенных многими народами совершенно самостоятельно»¹⁴ (индоевропейские, тюркские и пр.).

При сравнительно-историческом анализе следует учитывать те синтаксические явления, которые могут быть объяснены исходя не из типологии, а из особенностей синтаксической структуры данной семьи языков. Так, например, относительно слабые границы между именем и глаголом — общее типологическое свойство многих неродственных языков, хотя уже в самых ранних памятниках многих неродственных языков существовало грамматическое противопоставление имени и глагола¹⁵. На условность смысловой разницы между предметностью и предцессуальностью указывал, например, Э. Бенвенист¹⁶. Тем не менее на разных этапах развития разных языков соотношение имени и глагола могло быть различным. Увеличение или уменьшение удельного веса имени и глагола — это не всеобщий типологический закон, поскольку этот процесс мог быть вызван различными причинами. Применительно к индоевропейским языкам часто говорят о значительном в них удельном весе имени в древности и о более позднем оформлении системы глагола¹⁷. Возможное увеличение удельного веса имени на определенном этапе развития тюркских языков несопоставимо с материалом индоевропейских языков уже потому, что продиктовано оно совершенно другими импульсами, а именно — развивавшимся процессом

¹⁴ Ф. К о р ш, указ. соч., стр. 24.

¹⁵ См. об этом: К. Г р ö н б е с ч, указ. соч., стр. 19.

¹⁶ Э. Б е н в е н и с т е, *La phrase nominale*, BSLP, 46, 1 (№ 132), 1950, стр. 19.
¹⁷ Ср. также: J. Д е н у, указ. соч., стр. 450; К. Г р ö н б е с ч, указ. соч., стр. 85; F. M a r t i n i, *L'opposition nom et verbe en vietnamien et en siamois*, BSLP, 46, 1.

¹⁷ См.: «Сравнительная грамматика германских языков», IV — Морфология. М., 1966, стр. 129, 130.

трансформации, при которой два ранее самостоятельных предложения под давлением своей системы стремились превратиться в одно.

Применение сравнительно-исторического метода в синтаксисе тюркских языков опирается и на такие факторы, как возможность существования односторонних конструкций, происходящих из одного источника, с одной стороны, и неравномерность развития различных тюркских языков, с другой. Последний фактор особенно важен для сравнительно-исторических исследований уже потому, что основной объект таких исследований — это, прежде всего, те звенья простого предложения, которые обнаруживают известную подвижность своего развития и одним из таких подвижных участков является область сказуемого. Наблюдающиеся здесь исторические изменения происходят за счет развивающихся глагольных времен и связочных средств. Неслучайно, что проблема генезиса структуры предложения многими исследователями-тюркологами неразрывно связывалась с природой сказуемого.

Как известно, глагол «быть, есть» в тюркских языках не имеет полной парадигмы, модель «я ем студент» не распространена в тюркских языках. А это может отчасти свидетельствовать о том, что аффиксы сказуемости довольно раннего происхождения. Однако можно ли на этом основании считать, что связи настоящего времени «быть/есть» вовсе не было в тюркских языках?

Сравнительный анализ современных тюркских языков и древних их памятников говорит в пользу существования глагола-связки настоящего времени; прежде всего это самый факт наличия у глагола-связки развитой парадигмы прошедшего времени. Есть и другие аргументы. Старые памятники и живые тюркские языки сохраняют несколько форм недостаточного глагола *ä-, äp-* (ср. орхон. *ärär, ärti, ärsär, ärkän, ärmis, äriné*, чагатайская полная парадигма спряжения этой связки *erürmen, erürsen* и т. д.¹⁸, якут. *ärär, ätä, äbit, ibit* и пр.). В. Котвич считает, что основой рассматриваемого глагола-связки является *ä-*, который мог быть представлен и в вариантах с узкими *e-* и *i-*¹⁹.

Некоторый материал для выявления реликтовых следов связки настоящего времени дает гагаузский язык с его схемой спряжения имен с аффиксами сказуемости — ср. появление немотивированного *й* в аффиксе сказуемости 2-го лица единственного числа *-(й)сым*²⁰. Ставя вопрос о возможности реконструкции модели простого предложения с глаголом-связкой настоящего времени, нам кажется допустимым предположить, что действительно такая модель существовала в пратюркской общности, что существовал глагол-связка настоящего времени со своей полной парадигмой и что этимологически ее наиболее ранние фонетические варианты — *ä-, e-, i-*.

Но как связан с ними вариант *är-, эр-?* Этот вопрос пока еще не решен. Здесь можно допустить две гипотезы: 1) либо изначально существовало два недостаточных глагола *ä-/э-* и *är-/эр-*, 2) либо (и, на наш взгляд, это более достоверно) *är-/эр-* представлял собой значимый элемент, поскольку значение аффикса *-р* здесь затемнено, хотя элемент *-р* в образовании *är-/эр-* мог быть показателем аориста (допустимо, что первоначально форма аориста была *эир → эр*). 3-е лицо могло обобщаться (и такие факты известны). *Ärür/эрүр* при этом можно было бы рассматривать как более позднее образование, возникшее вследствие переразложения основы. Подтвержде-

¹⁸ J. Eschmann, *Chagatay manual*, Bloomington — The Hague, 1966, стр. 180.

¹⁹ В. Котвич, указ. соч., стр. 280.

²⁰ См.: Л. А. Покровская, Грамматика гагаузского языка, М., 1964, стр. 151, 152.

нием тому, что элемент *p* в форме *äp/är* возник как показатель аориста, может служить сохранение довольно распространенного в тюркских языках слова *äme* «не есть, не имеется», которое представляет собой нормальную отрицательную форму аориста от корня *ä-*; можно поэтому предполагать вслед за В. Котвичем, что «существовала также утвердительная форма аориста, которая нормально звучала *är-*»²¹.

Предположение о возможном существовании связки в истории тюркских языков имеет и логические основания. По наблюдениям Э. Бенвениста, присутствие связки часто зависит от суженного аспекта высказывания, она часто встречается при конкретизированном речевом общении и имеет преимущества в более удобном оформлении предиката²². И с этой точки зрения трудно предположить отсутствие связки в древности. Для связки характерно и затемненное этимологическое значение²³, что можно констатировать и в отношении тюркской связки *e-*.

Итак, гипотетически допустимо существование в пратюркской общности глагола-связки настоящего времени *ä-le/i-*, которая с течением времени разрушалась под влиянием семантически однородных явлений. Подобный процесс известен языкам различного типологического строя. В немецком связка «есть» имеет различные основы: *bin, bist* восходят к основе *bhū* «быть», а *ist* — к основе глагола *es* «быть»; то же в русском языке: *быть* восходит к основе *bhū*, а *есть* к основе *es*. А происходит это вследствие влияния семантически однородных элементов: могут конкурировать глаголы «являться» и «есть», «становиться» и «быть».

Материал современных, а также древних тюркских языков свидетельствует о существовании значительного числа грамматических аналогов связки *ä-*, благодаря которым последние и была постепенно вытеснена. Тюркские языки дают картину значительного разнообразия в способах выражения связки настоящего времени. Широко используются личные местоимения, которые, подчиняясь действующему закону сингармонизма, претерпевали процесс фонетической трансформации, переходя в разряд аффиксов. Самое наличие связки *-тур/турур*, обобщение формы 3-го лица и использование ее во всех лицах немало способствовало разрушению и вытеснению связки *ä-*. В саларском имеется связка *že* «есть, имеется», которая неизвестна больше ни одному из тюркских языков и встречается еще в дунганском, так же, как и саларский, испытавшем заметное китайское влияние. Структура образуемых с ее помощью предложений в саларском подобна китайской (связка *že* находится в середине предложения и встречается в контаминации с *tur*), например: *Altıyılı že ulli zamara'ttera* «Алтиюли — великая община»²⁴. В тувиноском языке для выражения предикативности используются имена *кижи* «человек», *чүве* «вещь, предмет», например: *Черле инды шыңны кижжи* «Он всегда такой серьезный»²⁵.

Развивающиеся у слов *бар/бож* функции, синонимические связке, способствовали тому, что в некоторых тюркских языках *бар* образует с аффиксом сказуемости полную парадигму: в карайском, например, *бар* выступает на правах полноценной связки: *Мен бар-ж(ем) карай, сен бар-с(ен)-карай* «Я (есть) карай, ты (есть) карай»²⁶; в гагаузском *вар* в роли связки используется применительно к первым двум лицам, например: *Bän o küydän varım, нереси оит дурар* (ДК) «Я из того села [являюсь],

²¹ В. Котвич, указ. соч., стр. 282.

²² E. Benveniste, указ. соч., стр. 31—35.

²³ Там же.

²⁴ Э. Р. Тенишев, Саларский язык, М., 1963, стр. 43.

²⁵ Ф. Г. Исхаков, А. А. Падьмбах, Грамматика тувинского языка, М., 1961, стр. 223.

²⁶ К. М. Мусаев, Грамматика карайского языка, М., 1964, стр. 309—310.

которое стоит на отшибе (в стороне); *Sân varşın ek ni eşiği...* (ДК) «Ты являешься самым лучшим сеятелем...»²⁷. В качестве связки настоящего времени используется и вспомогательный глагол *ol/bol*, например, туркм. *Xava, okalgađa adam köp bolýar* «Да, в чистальном залежном народе»²⁸. В тюркских языках наблюдается, наконец, тенденция к разрушению сказуемых окончаний, особенно в 3-м лице, и здесь, видимо, дело не столько в иноязычном влиянии, сколько в самой непрощенной связки. Правда, в одних языках, например в азербайджанском, опущение аффикса сказуемости в разговорной речи используется в качестве жанрово-стилистического средства, не являясь грамматической нормой языка²⁹. В тюркских же языках другого типа, как, например, в башкирском, аффикс сказуемости 3-го лица почти всегда пропускается³⁰.

Итак, компаративист должен учитывать все многообразные типы изменений, которые могут произойти в языках, чувствовать взаимную обусловленность всех этих изменений; исходя из анализа структуры тюркских языков, проникать в глубь их истории, признавая, что «все... в языке „причино“, „естественно“, „законно“, „рационально“. В языке нет никакого произвола»³¹. Праязыковая схема при этом имеет большое организующее значение, и нужна она, прежде всего, для создания общей исторической перспективы, без чего изучение истории тюркских языков осложняется.

Приемы сравнения применяются к современным языкам, письменным памятникам, диалектам, родственным языкам. Конечной целью сравнения является создание архетипов, т. е. достижимая реконструкция первоначального облика синтаксических построений, возводить которые к одной хронологической плоскости было бы ошибочно. Так, например, если простое предложение может быть отнесено к самому раннему периоду тюркской общности, то процесс трансформации хронологических должен совпадать с процессом развития сложного предложения и т. д.

Синтаксическая реконструкция, имея своим объектом типы синтаксических отношений, способы оформления слов в словосочетания, оформленные простых и сложных предложений, существенно отличается от морфологической реконструкции. Историческая морфология возводит к праязыку только явления, обнаруживающие материальную общность; она реконструирует ту или иную грамматическую форму, поставив ее под звездочку. Исторический синтаксис, не имея возможности реконструировать корпус словосочетания (как и предложения), так как его материальное наполнение переменнo, может воссоздать его строение. Если тот или иной структурный тип выражения синтаксических отношений произывает все тюркские языки, допустимо этот тип или эту синтаксическую модель реконструировать в праторкское состояние (ср. типы атрибутивных, объектных отношений и т. д.). В этом специфика сравнительно-исторического синтаксиса, его смешанная природа, проявляющаяся в том, что он должен быть историко-типологическим. Таким образом, первый этап синтаксической реконструкции — выявление типовых моделей и реконструкция архетипа. На этом этапе создаются типовые синтаксические модели вроде

√ имя прилагат. + имя существ., √ имя числит. + имя существ.

²⁷ Л. А. Покровская, указ. соч., стр. 154.

²⁸ А. А. Курбанов, М. Н. Хидиров и др., Туркменский язык, ч. 1, Ашхабад, 1964, стр. 11.

²⁹ См. об этом: З. И. Будагова, Простое предложение в современном азербайджанском литературном языке, Баку, 1963, стр. 79—82.

³⁰ Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, стр. 53.

³¹ И. А. Бодуэна-де-Куртена, Несколько слов о сравнительной грамматике индоевропейских языков, СПб., 1882, стр. 12.

Для синтаксической реконструкции необходим и следующий этап — реконструкция отдельных строевых элементов словосочетания (или предложения), ведущих членов синтаксической конструкции, типовой синтаксической модели. А последнее осуществляется при опоре на историческую морфологию. Для реконструкции синтаксической модели имеет большое значение выявление морфологических опор этой модели.

Можно реконструировать гипотетическую типовую модель даже при наличии в тюркских языках различных способов ее реализации. Возьмем, к примеру, типовую модель

√ отглагольное имя в падежном оформлении + глагол,

разложим ее на главные члены: В (варьирующаяся часть) + К (постоянная часть). Варьирующаяся часть будет неодинакова по разным языкам, ср., например: а) отглагольное имя на *-ган* в вин. пад. + глагол: узб. ... *нима деганингизни биласизми йўқми?* «... знаете ли вы, что вы говорите, или нет?»; б) отглагольное имя на *-дыг* + глагол: азерб. *Пәгін о мәним Петербурдан гайтдымми билмир* (П. Мехди, Сәһәр) «Вероятно, он не знает, что я вернулся из Петербурга». В задаче сравнительно-исторического синтаксиса в таком случае должно входить прослеживание грамматического наполнения по языкам общетюркской модели. Выделенному нами структурному архетипу соответствует целый ряд зональных грамматических типов, в пределах которых следует установить грамматическую преемственность, т. е. провести реконструкцию (частичную), опираясь на данные исторической морфологии.

Так, например, можно предположить, что на определенном этапе общетюркского состояния форма *-ган* была недифференцирована во временном отношении, что сохранилось в причастном ее употреблении: ср. татар. *Ул чымәкне калтыранган куллары белән алды* (А. Расих, Хикаяләр) «Дрожащими руками он взял горшок» и *Мона кадәр сүзсез утырган Нури да сүзгә кушылды* (там же) «До сих пор молчаливо сидевший Нури вмешался в разговор». Впоследствии в отдельных ареалах тюркских языков форма *-ган* дифференцировалась во временном отношении: за азербайджанской, турецкой формой на *-ан*, кумыкской на *-аган* закрепляется значение настоящего времени³², а в большинстве кыпчакских языков форма на *-ган* выражает прошедшее время. Такая временная дифференциация этого причастия в разных языках могла стать стимулом для образования относительно нового причастия прошедшего времени на *-мыш*. При опоре на историческую морфологию, на материал конкретных памятников тюркских языков можно предположить, что форма на *-мыш*, спорадически встречающаяся в языке енисейских памятников древнетюркской письменности³², получает развитие преимущественно с XI в., будучи представлена в «Кутадгу билиг» и «Дивъу дугат-ит турк»³³. Недифференцированность причастий во временном отношении облегчала процесс трансформации, поэтому более продуктивными оказались трансформы с *-ган-*, *-дыг*, нежели с *-мыш*.

По целому ряду причин мы относим процесс трансформации к относительно позднему общетюркскому состоянию. Одним из оснований для этого служит опора на историческую морфологию. При трансформации ис-

³² Хотя в этих языках можно встретить реликты былой временной недифференцированности. Ср. турецк. *gülen adam* «смеющийся человек» и *unutulan adam* «забытый человек».

³³ И. А. Батманов, Язык енисейских памятников древнетюркской письменности, Фрунзе, 1959, стр. 117.

³⁴ См. об этом: Г. А. Абдурахманов, Исследования по старотюркскому синтаксису (XI век), М. 1967.

пользовались обычно относительно новые падежные образования (за исключением падежа на *-ча*, который исчез позднее). Такие же древние падежные образования, как инструментальный падеж на *-иш* (ср. *kişin* «зимой»), направительный на *-ра* (ср. *ıçeri* «внутри»), не участвовали в образовании трансформанта. Вместе с тем реконструкция аффикса и его специализация по синтаксической функции — явления не совпадающие. Нужно иметь в виду, что реконструкция формы одного лишь ведущего члена синтаксического построения не может подменить синтаксической реконструкции. Так, например, предположим, что форму на *-дыг* гипотетически можно отнести к общетюркской из-за ее участия в различных функциональных сферах языка. Так, в огузских языках, с одной стороны, существуют отглагольно-именные образования на *-дыг* и *-дыгча*, а с другой — *-дыг* вклинивается в парадигму прошедшего времени. В кыпчакских же языках сохраняется главным образом последнее ее употребление. Но если сама форма на *-дыг* может быть общетюркской, то формируемая ею синтаксическая конструкция присуща определенному ареалу южнотюркских языков, т. е. является зональной.

О полной синтаксической реконструкции можно говорить лишь при условии единства синтаксического архетипа и его формальных способов выражения по всем тюркским языкам. Можно выделить такие типы синтаксических построений, которые относительно легко подвергаются синтаксической реконструкции. К их числу прежде всего следует отнести определятельные словосочетания с именем существительным в роли главного стержневого слова и зависимым именем числительным. Формула образования «имя числительное + имя существительное» строго выдерживается во всех тюркских языках, имеющих одинаковую систему числительных. Синтаксическую реконструкцию допускает, например, и II тип изафета и т. д.

Опорой при синтаксической реконструкции может служить и изучение синтаксической синонимии — она может иметь значение, например, при установлении относительной хронологии конструкций с формами на *-ыб* и на *-ганда*. Анализ таких конструкций подводит к предположению о том, что образования с формой на *-ганда* явились результатом создания антитезы древней формы *-ыб*, которая недостаточно передавала одновременность действий.

Итак, синтаксическая реконструкция как один из важнейших методов сравнительно-исторического анализа предполагает определенную систему приемов, основанных на использовании данных относительной хронологии, на данных конкретных исторических памятников (ближняя реконструкция), на анализе структуры формантов, участвующих в образовании данных конструкций, на синтаксической синонимии и пр. Реальная реконструкция синтаксических явлений дальнего плана (глубинных эпох) представляется невозможной без опоры на историческую морфологию.

Таковы лишь самые общие вопросы, связанные с методами сравнительно-исторического анализа синтаксиса тюркских языков.

К. Е. МАЙТИНСКАЯ

К ТИПОЛОГИИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ЛИЧНЫХ И УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ЯЗЫКАХ РАЗНЫХ СИСТЕМ

В языковедческой литературе термин «местоимение» употребляется, в основном, в двух значениях. В индоевропейстике и уралоистике, как правило, местоимениями называются только изменяемые слова указательного значения. Исследователи же многих языков (прежде всего не-индоевропейских и не-уральских) изменяемость, эту структурную особенность соответствующих слов, не считают существенной и местоимениями называют всякое указательное слово, выступающее в функции местоимений наиболее известных и исследованных языков (латинского, английского, французского, немецкого, русского).

Ниже делается попытка выявить в языках разных систем основные линии (или неполные универсалии) развития указательных и личных местоимений во втором, расширенном понимании термина «местоимение»¹. Для диахронической типологии именно в данном понимании «местоимения» представляют наибольший интерес, и не случайно в этом плане о возникновении местоимений неоднократно высказывались языковеды. Кроме термина «местоимение», ниже употребляются также синонимические термины: «дейктическое слово» (указательное слово) и «местоименное слово». Этими терминами мы обозначаем слова с указательным значением (не называющие лица, предметы и явления, а только указывающие на них, отсылающие к ним), т. е. слова, объединенные по специфическому лексическому признаку.

1. Дейктические слова относятся к наиболее характерным частям лексики языка; некоторые даже считают, что эти слова обязательно присущи каждому языку², хотя, например, в языке аранта (в Австралии) они находятся в стадии становления³.

По предположению большинства ученых, дейктические слова относятся к древнейшим слоям лексики языка, и категория местоимений (по нашей терминологии «дейктических слов») выделялась в языке раньше других категорий слов, и ее выделение предшествовало даже формальному разграничению глагола и имени, причем в этом разграничении особую роль играли форманты местоименного (точнее: дейктического) происхождения⁴.

¹ В данной статье не затрагивается вопрос об отношении местоименных слов или местоимений к частям речи.

² По мнению Ч. Хоккета, наличие в языке дейктических элементов, указывающих на говорящего и собеседника, можно считать универсальной, см.: Ch. F. Hoekett, *The problem of universals in language*, сб. «Universals of language», Cambridge, Mass., 1963, стр. 16.

³ См.: A. Sommerfelt, *La langue et la société. Caractères sociaux d'une langue de type archaïque*, Oslo, 1938, стр. 69—125.

⁴ V. Tulli, *The structural tendencies of languages. I — General tendencies*, Helsinki, 1958 («Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ». Ser. B, 115/1), стр. 11. Ср. также: Н. Яковлев, Д. Ашхамаф, *Грамматика адыгейского литературного языка*, М.—Л., 1941, стр. 283—284.

Любопытна попытка В. Чермака изобразить дейктические слова не как источник формальных признаков слов при возникновении частей речи, а как источник для слов с разной, в том числе и полнозначной лексической семантикой: по его мнению, любое языковое выражение в конечном счете восходит к выражению пространственных восприятий, т. е. к дейктическим словам, из которых первичные передавали противопоставление примитивных представлений о «я — не-я», а позднее — и представлений о «здесь — там», «видимое — невидимое», «известное — неизвестное», «полное — пустое», «жизнь — смерть», «действие — пассивность» и т. д.²

В прежней работе мы показали, что дейктические слова в конечном счете происходили от слов конкретного значения³; данное положение по существу не противоречит тому, что дейктические слова очень древни. Превращение слов конкретного значения в дейктические происходило в эпоху, далеко предшествующую образованию даже самых древних известных языков-основ; этим объясняется то, что дейктические элементы наличествовали уже в таких языках-основах, как индоевропейский, уральский, семито-хамитский, тюркский и т. д.

По общепринятому мнению, первичные дейктические элементы языка еще не были местоимениями, а лишь первичными частями, совмещавшими функции частиц, наречий и местоимений⁴. Ниже мы исходим из такого состояния языка, которое уже характеризовалось наличием в лексическом составе дейктических слов в виде недифференцированных первичных частиц.

2. В то время как раннее возникновение личных и указательных местоимений для подавляющего большинства языковых семей считается доказанным, по вопросу о генетической взаимосвязи слов названных двух разрядов мнения лингвистов расходятся. С одной стороны, выдвигалось, например, предположение, что самой древней категорией слов были личные местоимения и среди них — личное местоимение 1-го лица⁵. С другой стороны, в индоевропейских языках личные местоимения не только 3-го, но и 1 и 2-го лиц возводились к указательным местоимениям, а подтверждение этому видели в совпадении основ личных местоимений с основами указательных местоимений в ряде индоевропейских языков⁶. Впоследствии подобные взгляды были распространены на языки разных систем: при этом подчеркивалось, что самыми древними среди местоимений являются указательные, поскольку от них происходят и личные⁷. Третью точку зрения представляют ученые, считающие, что в языках разных систем как личные, так и указательные местоимения восходят к указательным частям⁸.

² W. C z e r m a k, Die Lokalvorstellung und ihre Bedeutung für den grammatischen Aufbau afrikanischer Sprachen, сб. «Festschrift Meinhof», Hamburg, 1927, стр. 206—222.

³ К. Е. М а й т и н с к а я, К происхождению местоименных слов в языках разных систем, ВЯ, 1968, 1, стр. 25.

⁴ См. обобщение литературы по данному вопросу: К. Е. М а й т и н с к а я, указ. соч.

⁵ L. H. G r a y, Foundations of language, New York, 1939, стр. 177; M. B r é a l, Essai de sémiotique (Science des significations), Paris, 1911, стр. 192.

⁶ См.: К. В r u g m a n n, B. D e i b r ü c k, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 2. Bd., 2. Tl., 1. Lief., Strassburg, 1909, стр. 306—307.

⁷ P. F o r s c h b e i m e r, The category of person in language, Berlin, 1953, стр. 11.

⁸ См., например: К. В ü h l e r, Sprachtheorie, Die Darstellungsfunktion der Sprache, Jena, 1934, стр. 107—108; W. C z e r m a k, указ. соч., стр. 209. Особенно ясно по этому поводу высказывается В. Тауди, утверждая, что противопоставления типа «здесь — не-здесь», «я — не-я» были родовозначителями как указательных, так и личных местоимений (V. T a u d i, указ. соч., стр. 11—12).

Представляется, что вопрос о первичности указательных или личных местоимений, как и вопрос о путях их развития, можно решить только исходя из того факта, что личные местоимения по их роли в языке неоднородны. Большинство ученых считает, что личные местоимения 1 и 2-го лиц занимают особое положение в языке, потому что они по своему значению более «личны», чем местоимения 3-го лица. Поэтому Л. Блумфилд только местоимения 1 и 2-го лиц считает личными, противопоставляя их местоимениям 3-го лица¹². По Э. Бенвенисту, 3-е лицо — это фактически лишь немаркированный член корреляции лица; особенность же личных местоимений (т. е. местоимений 1 и 2-го лиц) в том, что в отличие от местоимений 3-го лица они соотносены с моментом речи¹³. Местоимения 1 и 2-го лиц признаются равноправными действующими лицами (Rollenträger) в речи¹⁴. Близость местоимений 1 и 2-го лиц объясняют тем, что, если участвующие в беседе А и Б говорят о себе «я», этим обозначаются два разных человека, значение же 3-го лица не меняется от того, говорит ли о нем А или Б¹⁵.

Наряду с перечисленными особенностями местоимений 1 и 2-го лиц следует еще отметить их глубокие семантические и функциональные отличия от указательных местоимений. При помощи личных местоимений 1 и 2-го лиц указывается на самого говорящего или на самого собеседника, в то время как с помощью соответствующих указательных местоимений может быть указано только на сфер у говорящего или сфер у собеседника. Кроме того, в отличие от указательных местоимений, местоимения 1 и 2-го лиц не могут замещать существительные (хотя и употребляются только в субстантивных функциях) и могут относиться только к людям. Эти чисто языковые специфические особенности и функции личных местоимений 1 и 2-го лиц могли способствовать более раннему оформлению слов этих категорий по сравнению с местоимениями 3-го лица, которые по своим языковым особенностям близки к указательным местоимениям¹⁶.

Пути выделения личных местоимений 1 и 2-го лиц можно представить себе следующим образом. В процессе развития языка возникла необходимость дифференцировать указательные местоимения и личные местоимения 1 и 2-го лиц. Путем приобретения различных формантов (местоименных, выделятельных и других аффиксов), разного звукового оформления основы и дифференцированных моделей словоизменения первичные действительные частицы, с одной стороны, превращались в указательные местоимения, с другой — в личные местоимения 1 и 2-го лиц. При этом указательные и личные местоимения могли развиваться от разных или тождественных первичных указательных частиц.

Во многих языках действительно сохранились следы, помогающие восстановить тождество основ указательных местоимений и личных местоимений 1 и 2-го лиц. Так, материалы индоевропейских языков позволили предположить, что в этих языках личные местоимения не только 3-го лица, но и 1 и 2-го лиц восходят к указательным местоимениям¹⁷. Из и.-е. **gho* развились слова со значениями «здесь» и «я»¹⁸; была сделана попытка разложить и.-е. *eg* («я») на указательную местоименную основу е-

¹² L. Bloomfield, *Language*, New York, 1933, стр. 255—256.

¹³ E. Benveniste, *La nature des pronoms*, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956, стр. 35, 37.

¹⁴ K. Bühler, указ. соч., стр. 113.

¹⁵ P. Forchheimer, указ. соч., стр. 6.

¹⁶ Менее существенными представляются факторы психологические и общественные, выдвинутые, например, А. А. Леонтьевым (см. его «Возникновение и первоначальное развитие языка», М., 1963, стр. 108).

¹⁷ K. Brugmann, В. Delbrück, указ. соч., стр. 306—307.

¹⁸ K. Bühler, указ. соч., стр. 109.

и частицу **ghe*, **ǰho*¹⁹. В финно-угорских языках личные местоимения 2-го лица, начинающиеся с *t*-, вполне объяснимы из общего источника с *i*-овыми указательными местоименными основами финно-угорского (и даже уральского) языка-основы, два из которых (с переднерядной огласовкой) указывала на близкое, другая (с заднерядной огласовкой) — на удаленное расстояние. В обско-угорских языках *l*-овые личные местоимения 2-го лица восходят к *l*-овой основе указательных местоимений²⁰. Существует гипотеза о том, что указательные местоимения и личные местоимения в алтайских языках построены либо из тождественных, либо, по крайней мере, из чрезвычайно близких звуковых элементов²¹. В адыгских языках корневой элемент местоимения 2-го лица ед. числа *уара* (*уыгъуа*, *уэ*) «ты» генетически связан с указательным местоимением *уы* «что»²². В хамитском языке хауса корни личного местоимения *на* «я» и указательного наречия *напа* «здесь» признаются идентичными по своему происхождению²³; генетически связаны личные и указательные местоимения и в языке американских индейцев тлингит²⁴. Кроме морфологического и фонетического путей разделения указательных местоимений и личных местоимений 1 и 2-го лиц, можно представить также и другой, чисто лексический путь: из набора первичных дейктических частей, не дифференцированных по функциям, без всякого изменения одни могли специализироваться в функции указательных местоимений, другие — в функции личных местоимений 1 и 2-го лиц.

Мнения большинства языковедов сходятся в том, что личные местоимения 1 и 2-го лиц более древние, чем личные местоимения 3-го лица. А. Мейе, например, отметил, что в индоевропейском языке-основе из личных местоимений имелись лишь местоимения 1 и 2-го лиц²⁵. Подобный же вывод можно сделать относительно личных местоимений уральских языков. Именно древностью местоимений 1 и 2-го лиц объясняется тот факт, что их происхождение устанавливается иногда с большим трудом: их корневые элементы, нередко осложненные разными формантами, часто сами подвергались значительным изменениям. Так, в финском языке личное местоимение 2-го лица *sinä* «ты» на первый взгляд как будто не имеет общего с *i*-овой основой указательных местоимений; тем не менее *sinä* закономерно возводится к **tinā*²⁶.

3. Личные местоимения 3-го лица, по своей природе наименее «личны» и субъективны, по своим функциям значительно меньше отличаются от указательных местоимений, чем местоимения 1 и 2-го лиц. Как указательные местоимения, так и местоимения 3-го лица относятся к тому (или к тем), о котором (или о которых) говорят. Во многих языках, как, например, в русском, немецком, личные местоимения 3-го лица могут относиться как к людям, так и к предметам (т. е. заменять имена существи-

¹⁹ J. Pokorny, *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*, Bern, 1954—1959, стр. 291.

²⁰ H. Ojansu, *Itämerensuomalaisen kielen pronominioppia*, «Turun suomalaisen yliopiston julkaisu», sarja B, osa I, № 3, Turku, 1923, стр. 83; Laakso, *Az egyszerű ragok keletkezésének kérdéséhez*, «A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvésség Irodalomtudományi Osztályának Közleményei», I, Budapest, 1951, стр. 221—222; Vértés E., *Az Osztyák Személynévmások*, Budapest, 1943, стр. 10—11.

²¹ W. Kötvicz, *Les pronoms dans les langues altaïques*, Kraków, 1936, стр. 51.

²² М. А. Кумахов, *Морфология адыгских языков*, I, Нальчик, 1964, стр. 207.

²³ W. Czeglák, указ. соч., стр. 209; см. также: V. Taulli, указ. соч., стр. 12.

²⁴ J. R. Swanton, *Tlingit*, об. «F. Boas. Handbook of American Indian Languages», I, Washington, 1911, стр. 170.

²⁵ А. Мейе, *Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков*, М.—Л., 1938, стр. 339.

²⁶ См.: Л. Хаклиев, *Развитие и структура финского языка*, ч. I — Фонетика и морфология, М., 1953, стр. 32, 50.

теплыми одушевленными и неодушевленными — ср. русск. *он, она, оно*, нем. *er, sie, es* и т. д. во многих других языках), в этом также напоминают указательные местоимения. Собственно говоря, основное различие между функциями указательных местоимений и местоимений 3-го лица сводится к тому, что указательные местоимения употребляются как субстантивно, так и в качестве определений, а местоимения 3-го лица — только субстантивно. В отличие от «субстантивного» употребления личных местоимений 1 и 2-го лиц, личные местоимения 3-го лица употребляются не только в функциях имен существительных, но и заменяют имена существительные.

В результате близости функций указательных местоимений и личных местоимений 3-го лица язык не столь остро нуждался в создании специальной категории слов, используемых только в функции местоимений 3-го лица: вместо них могли использоваться также и указательные местоимения определенной семантики. Неслучайно во множестве языков, относящихся к самым различным генетическим и ареальным группам, и в настоящее время не разделены категории указательных местоимений и местоимений 3-го лица. В функции местоимений 3-го лица (иногда только в ед. числе) употребляются указательные местоимения в языках разных групп: из индоевропейских языков, например, в латинском (*is, ea, id*), таджикском (*ин, он*) и осетинском²⁷, в ряде индоиранских языков²⁸, из финно-угорских языков, например, в удмуртском и марийском, во многих тюркских языках²⁹, в языках разных групп кавказских языков, например, в бабийском, адыгейском, лакском³⁰, в корейском языке³¹ и др. Следы этого явления можно найти в языке американских индейцев хупа, в котором также вместо местоимений 3-го лица употреблялись указательные местоимения³².

Естественно, что указательные местоимения и местоимения 3-го лица по звуковому составу совпадают далеко не во всех языках, но тем не менее и в этом случае часто можно обнаружить генетическую связь этих двух категорий слов: например, русск. *он, она, оно* являются наследниками ныне устаревших указательных местоимений *оний, онац, оног*, франц. *il, elle* («она») происходят от латинских указательных местоимений *ille, illa* и т. д. Иногда же местоимение 3-го лица бывает связано не с тем указательным местоимением, которое употребляется в современном языке, а с другим — устаревшим в данном языке, но выявляемым на материале родственных языков в языке-основе (например, в венгерском языке *ő* «он» восходит к той же *s*-овой основе указательного местоимения, что и фин. *hän* «он», ср. удм. *so* «от; он»: в венгерском *s* в начале слова закономерно отпало³³; сама *s*-овая финно-угорская указательная основа в корнях венгерских указательных местоимений не сохранилась). Любопытны редкие случаи, когда расхождения между указательными местоимениями и местоимени-

²⁷ А. А. Керимов а. Таджикский язык, «Языки народов СССР», I — Индоевропейские языки, М., 1966, стр. 218; М. И. Исаев, Осетинский язык, там же, стр. 244.

²⁸ Д. И. Эдельман а. Дардские языки, М., 1965, стр. 36, 56, 66, 92.

²⁹ См., например: Н. З. Гаджиева, Азербайджанский язык, «Языки народов СССР», II — Тюркские языки, М., 1966, стр. 73; Я. А. Андриев, Чувашский язык, там же, стр. 51.

³⁰ Ю. Д. Дешериев, Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских народов, Грозный, 1963, стр. 457—458 и 461; Н. Яковлев, Д. Ашхамов, Указ. соч., стр. 286—287; Л. И. Жирков, Лакский язык. Фонетика и морфология, М., 1955, стр. 63.

³¹ Г. Рамстедт, Грамматика корейского языка, М., 1951, стр. 70.

³² Р. Е. Goodard, Athapascan (Hupa), сб. «F. Boas Handb.», стр. 148.

³³ Szilágyi J., Magyar Nyelvhasználat. Hetedik javított és bővített kiadás, Budapest, 1927, стр. 26.

ми 3-го лица обнаруживаются только в словозменении, ср. коми *siŕg* «он» и «тот», но *paŕg* «они», *siŕgjas* «те».

Материалы большинства языков свидетельствуют не только о сравнительно позднем выделении местоимений 3-го лица, но и о том, что весьма часто эти местоимения возводятся не непосредственно к первичным действительным частицам, а к уже оформившимся указательным местоимениям. Поэтому в составе ряда местоимений 3-го лица обнаруживаются форманты и звуковые изменения, выявляющиеся в составе указательных местоимений; например, в марийском языке личное местоимение *ido* «он» имеет тот же суффикс, что и указательное местоимение *ido* «тот».

О более позднем выделении местоимений 3-го лица по сравнению с местоимениями 1 и 2-го лиц свидетельствуют различия в словозменении. Сравнительно редки языки, в которых местоимения всех трех лиц склоняются одинаково; обычно местоимения 1 и 2-го лиц склоняются по одному образцу, местоимения же 3-го лица — по другому образцу. Так, в венгерском языке форма аккузатива местоимений 1 и 2-го лиц образуется при помощи одного и того же суффикса (*g*) и соответствующих лично-притяжательных окончаний: *én* «я» — *enget* «меня», *te* «ты» — *téged* «тебя», а форма аккузатива местоимения 3-го лица образуется посредством обычного суффикса *-t*, используемого для имен существительных и указательных местоимений: *ő* «он» — *őt* «его», ср. *nő* «женщина» — *nőt* «женщину», *ez* «этот», *az* «тот» — *azt* «этого», *azt* «тот» (аккузатив). В германском языке-основе склонение личных местоимений 1 и 2-го лиц осуществляется почти по одному образцу (ср. *eklik* «я» — род. *mīnō*, дат. *mesimiz*, вин. *mek/mik*; *þú* «ты» — род. *þinō*, дат. *þesþiz*, вин. *þek/þik*), но местоимение 3-го лица имело особое склонение (ср. *iz* «он» — род. *esa*, дат. *eztē*, *eztō*, *ettē*, вин. *inō*, *inōn*)³⁴. В русском языке также выявляется почти однотипное склонение местоимений 1 и 2-го лиц и особое склонение местоимений 3-го лица (ср. *я* — *меня*, *ты*, *тебя*, *тебе*, *тобой*, *он* — *его*, *ему*, *ним*, *ей*, *ней*).

4. Допущение двух этапов выделения личных местоимений основано на наблюдениях над глубокими функциональными различиями между местоимениями 1 и 2-го лиц, с одной стороны, и местоимениями 3-го лица. с другой, а также на наблюдениях над формами самих местоимений. Нельзя не отметить здесь и иную точку зрения: некоторые языковеды признают 2 и 3-е лица более близкими друг к другу, чем 1 и 2-е лица, или, по крайней мере, не менее близкими, чем 1 и 2-е лица³⁵. При аргументации этой точки зрения обычно неходят из психологических предпосылок. Ван Гиннекен, например, близость 2 и 3-го лиц аргументирует тем, что они оба неговорящие. На деле, однако, 2-е лицо участвует в беседе и меняется ролями с 1-м лицом. Поэтому скорее можно согласиться с Форхеймером, считающим, что 2-е лицо выступает в функции посредника между самым субъективным 1-м и самым объективным 3-м лицами³⁶.

С нашей точки зрения, особого внимания заслуживают высказывания языковедов, которые учитывают, прежде всего, языковые данные. Стремись доказать, что в генетическом плане противопоставление местоимений 1 и 2-го лиц 3-му лицу преувеличено, В. Я. Мыркин, например, приводит данные из ряда языков, в том числе из хамитских, где местоимения 2 и 3-го лиц происходят от одного корня. Для уральских языков им допускается

³⁴ «Сравнительная грамматика германских языков», III — Морфология, М., 1963, стр. 306—307, 312.

³⁵ См., например: J. van Ginneken, *Principes de linguistique psychologique. Essai de synthèse*, Paris, 1907, стр. 211; А. П. Почеуев с к. Я. Прохоренко, *Происхождение личных и указательных местоимений*, Ашхабад, 1947, стр. 19—20.

³⁶ P. Forchheimer, *указ. соч.*, стр. 6.

альтернация корней *t/s*, исконно указывающих на «не-я», впоследствии же (обобщилось в местоимениях 2-го, *s* — в местоимениях 3-го лица. Такой же путь развития предполагается для местоимений 2-го и 3-го лиц в индоевропейских языках, где также существовала альтернатива *t/s*³⁷. При исследовании звукового состава личных местоимений 2 и 3-го лиц в финно-угорских языках Э. Вертеш пришла к заключению, что они первоначально совмещались³⁸.

Рассуждения В. Я. Миркина и Э. Вертеш фактически не противоречат вашему: вполне возможно, что во многих языках одна и та же указательная основа послужила источником как для местоимений 2-го лица, так и для местоимений 3-го лица, но местоимения 2-го лица от нее развились значительно раньше, чем местоимения 3-го лица, которые, как мы указали выше, обычно восходят к уже сформировавшимся указательным местоимениям.

Вообще же можно представить несколько путей развития личных местоимений от указательных основ. Один из них — развитие местоимений 2 и 3-го лиц из одного источника. Второй путь — это происхождение трех личных местоимений из трех разных источников: от трех первичных дейктических частиц, относившихся к трем разным степеням удаленности. В таком случае местоимение 1-го лица развилось от частицы, указывавшей на сферу говорящего (типа русского *этой*), местоимение 2-го лица — от частицы, указывавшей на несколько удаленное расстояние, и местоимение 3-го лица — от частицы (или от оформившегося указательного местоимения, восходящего к данной частице), которая указывала на более удаленное расстояние или на невидимый объект. В подобную тройку частиц могла входить одна, представлявшая тип указания, названного К. Бругманом «*Dén-Deixis*»³⁹ (т. е. общее указание, не выражавшее определенной степени удаленности).

Однако наиболее логичным и естественным является третий путь — развитие трех личных местоимений от трех первичных дейктических частиц, представлявших такие типы указания, которые по своим значениям наиболее близки к личным местоимениям. В данном случае частицы, от которых впоследствии развились личные местоимения, распределялись не только по указанию на простые степени расстояния, но также и по указанию на сферы по участию в беседе. Одна из таких первичных дейктических частиц была представителем указания на «сферу я» (т. е. на сферу говорящего — типа русских *этой, здесь, сюда, отсюда, теперь*), другая частица была представителем указания на «сферу ты» (т. е. на сферу собеседника), третья частица была представителем указания на «сферу тот» (т. е. на удаленное расстояние типа русских *тот, там, туда, оттуда, тогда*), а «сфера тот» — это одновременно и сфера не участвующего в беседе.

На первый взгляд данная схема может показаться малораспространенной и даже маловероятной, поскольку указание на сферу собеседника во многих языках не поддается выявлению среди указательных местоимений или основ указательных местоимений; к числу таких языков относятся русский, французский, германские, финно-угорские и другие языки. Тем не менее, указательные местоимения, относящиеся к сфере собеседника, весьма распространены в самых различных языках мира. В латин-

³⁷ В. Я. Миркин, Типология личного местоимения и вопросы реконструкции его в индоевропейском аспекте, ВЯ, 1964, 5, стр. 81—83.

³⁸ Végtes E., указ. соч., стр. 12.

³⁹ К. Бругман, Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen (Eine bedeutungsgeschichtliche Untersuchung), «Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der königlich-sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften», XXII / VI, 1904, стр. 9—12.

ском языке, например, указательное местоимение *istē* означало не просто «этот», а намекало на сферу собеседника, например выражение *istē locus* понималось не как «это место», а с уточнением «это место (в котором ты находишься)», *ista arma* обозначало не вообще «это оружие», а «это оружие (которое на тебе)» и т. д.⁴⁰ По мнению К. Бругмана, указательные местоимения или их следы, приспособленные для указания на сферу собеседника, выявляются в иранских, армянском, греческом и южнославянских языках⁴¹. Так, в армянском языке *tēr-s* обозначает не только «этот господин», но и «я господин», *tēr-d* обозначает не только «тот господин», но и «ты господин», а постпозитивные артикли *-s* и *-d* образовались соответственно от указательных местоимений сферы говорящего и сферы собеседника⁴². Указательные местоимения или указательные местоименные элементы, ориентированные на сферу собеседника, выявляются в ряде современных романских языков, например, в испанском, каталанском, итальянском, в ряде кавказских языков, например в даргинском, грузинском⁴³, в языке американских индейцев чинук, квакиутл, в языке американских эскимосов⁴⁴ и во многих других языках.

Первичные частицы, указывавшие на сферу собеседника, легко переходили в местоимения 2-го лица, а первичные частицы, указывавшие на сферу говорящего, становились местоимениями 1-го лица. Частицы же, указывавшие на удаленный или невидимый предмет, легко превращались в указательные местоимения, выступающие обычно также в функции местоимений 3-го лица. Естественность и логичность только что описанного пути возникновения личных местоимений на основе дейктических частей соответствующей семантики позволяет предположить, что подобным путем возникали личные местоимения и в языках, где ныне не обнаруживается представителя указания на сферу собеседника. Вполне вероятно, что после оформления личного местоимения 2-го лица не было особой необходимости сохранять в языке дейктическую частицу, ориентированную по значению на сферу собеседника. Такая частица постепенно могла терять свои функции и приобретать другие, например, превратиться в указатель удаленного или невидимого объекта.

Описанные схемы возникновения личных местоимений вероятны только для тех языков, в которых обнаруживается не более трех разных корней личных местоимений, т. е. личные местоимения не-единственного числа образованы от основ соответствующих лиц единственного числа, а номинативные и косвенные формы или эксклюзивные и инклюзивные формы личных местоимений образованы от тождественных корней и т. д.

Однако во многих языках наблюдается сложное сплетение разных корней местоимений единственного и не-единственного числа, причем данное явление некоторыми даже не считается гетероклизией, поскольку противопоставление типа «я — мы», «ты — вы» ими рассматривается как оппозиция самостоятельных местоимений с разным понятийным содержанием (*мы* не равняется *я + я + я...*)⁴⁵. Супплетивный (лексический) способ образования форм не-единственного числа личных местоимений характерен не

⁴⁰ И. Х. Дворецкий, Д. Н. Корольков, Латинско-русский словарь, М., 1949, стр. 484.

⁴¹ К. Бругман, Die Demonstrativpronomina..., стр. 73—74.

⁴² Там же, стр. 43, 75.

⁴³ С. Абдуллаев, Грамматика даргинского языка (фонетика и морфология), Махачала, 1954, стр. 139; Н. Vogt, Esquisse d'une grammaire du géorgien moderne, NTS, IX, 1938, стр. 85.

⁴⁴ F. Voas, Chinook, сб. «F. Voas. Handbook...», стр. 617—618; е го ж е, Introduction, там же, стр. 40—41; е го ж е, Kwakiutl, там же, стр. 445, 530.

⁴⁵ «Сравнительная грамматика германских языков», II, стр. 305; однако это мнение разделяют не все (см.: В. Я. М ы р к и н, указ. соч., стр. 78—79).

только для индоевропейских языков, но весьма распространен и в семито-хамитских языках, в большинстве африканских языков, во многих американских, папуасских, малайо-полинезийских, австралийских языках⁴⁶, а также в кавказских языках, например, в лакском, чамалинском, адыгейском, чеченском и бацбийском⁴⁷.

Во многих языках косвенные падежные формы и номинативные (основные формы) личных местоимений восходят к разным корням. Супплетивность основ именительного и косвенных падежей личных местоимений в современных индоевропейских языках (ср. английские *I* «я» — объектная форма *me*, русские *я* — *мене*, *меня* и т. д., *мы* — *нас*, *нам* и т. д.) прослеживается вплоть до индоевропейского языка-основы⁴⁸; супплетивность в падежной системе личных местоимений характерна также для ряда кавказских языков, например для чеченского и ингушского, даргинского, лакского, цезского⁴⁹. В ряде языков встречаются два разных местоимения 1-го лица не-единственного числа: эксклюзивное и инклюзивное, образованные нередко от разных корней.

Личные местоимения во многих языках разделяются по грамматическому роду или естественному полу, причем соответствующие личные местоимения нередко происходят от разных корней (ср. англ. *he* «он», *she* «она», *it* «оно», нем. *er* «он», *sie* «она», *es* «оно» и т. д.). В ряде кавказских, африканских языков разделение существительных на классы отражается в местоимениях 3-го л., совпадающих с указательными местоимениями или близких к ним и нередко происходящих от разных корневых элементов.

В таких случаях в системах личных местоимений выявляется не три, а больше корневых элементов, следовательно, они никак не возводимы к двух- или трехчленной действительной системе; тем не менее, вполне допустимо, что и здесь корни личных местоимений происходят от первичных действительных частей.

Во многих современных языках (например, в индоевропейских или финно-угорских) набор указательных местоимений ограничен (иногда всего два-три). Однако сравнительно-историческим методом доказано, что как в индоевропейском, так и финно-угорском (или уральском) языках некогда было значительное количество первичных действительных частей⁵⁰. Наличие большого разнообразия подобных частиц, выражавших разные оттенки указания по степени расстояния, участию в беседе, видимости — невидимости, известности — неизвестности, одушевленности — неодушевленности, было вообще характерно для ранних этапов развития языка, поэтому вполне вероятным представляется переход разных первичных действительных частей, с одной стороны, в указательные местоимения (противопоставляемые по одному семантическому признаку, например по расстоянию, или по нескольким семантическим признакам), с другой стороны — в разные корни личных местоимений, объединенные в супплетивные системы падежных, числовых, эксклюзивно-инклюзивных, родово-классовых форм.

5. До сих пор рассматривались вопросы генетической связи личных и указательных местоимений. Но первичные указательные частицы и ука-

⁴⁶ Р. Фогельберг, указ. соч., стр. 140.

⁴⁷ Л. И. Жирков, указ. соч., стр. 65—66; А. А. Божарев, Очерк грамматики чамалинского языка, М.—Л., 1949, стр. 62—63; Н. Яковлев, Д. Ашхамов, указ. соч., стр. 287; Ю. Д. Дешерев, указ. соч., стр. 453.

⁴⁸ А. Мейе, указ. соч., стр. 339—342.

⁴⁹ Ю. Д. Дешерев, указ. соч., стр. 457, 459; С. Абдуллаев, указ. соч., стр. 140—141; Л. И. Жирков, указ. соч., стр. 65—66; Е. А. Божарев, Цезские (диодские) языки Дагестана, М., 1959, стр. 196.

⁵⁰ См. об этом: А. Мейе, указ. соч., стр. 332—334; К. Е. Майгинская, указ. соч., стр. 23.

зательные местоимения являются не единственным источником возникновения личных местоимений. Известны многочисленные факты перехода имен в местоимения учтвого обращения (например, венг. *Maga* «Вы» от *tag* «тело, сердцевина») или в местоименные слова самоуничижения (например, в китайском языке местоимения 1-го лица постепенно заменялись выражениями типа «ничтожный», «глупец», «маленький младший брат» и т. д.)⁵¹. Встречаются даже редкие случаи перехода имен в личные местоимения «нейтрального» значения, например, в венецком *nydar* «ты», *nydara* «вы», происходит от *nyd* «туловище, туша», в тибетском вместо местоимений 3-го лица употребляются слова *rho* «самец» и *mo* «самка»⁵².

Как бы редки и единичны ни были подобные факты, они не позволяют признать универсальными вышеназложенные пути развития личных местоимений от первичных дейктических частиц и указательных местоимений. Пользуясь удачным термином Б. А. Серебренникова, мы эти пути считаем лишь наиболее вероятными «типowymi линиями» возникновения личных местоимений, «не имеющими характера непреложных законов»⁵³, имеющими значимость лишь неполных универсалий.

⁵¹ См. об этом: J. S v e n u n g, *Anredeformen*, Uppsala, 1958.

⁵² Ю. Н. Р е р и х, *Тибетский язык*, М., 1961, стр. 70.

⁵³ Б. А. С е р е б р е н н и к о в, К критике некоторых методов типологических исследований, ВЯ, 1958, 5, стр. 32.

А. Г. МАРТИРОСОВ

К ГЕНЕЗИСУ ЛИЧНЫХ И УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
В КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

Для установления генетических связей грузинского и родственных ему бесписьменных завказного (мегрело-чанского) и сванского языков и их исконной структуры большое значение имеет сравнительно-историческое изучение системы местоимений, так как здесь больше, чем где-либо, сохранились своеобразные языковые явления и древнейшие факты истории языка.

В картвельских языках имеются следующие личные местоимения¹:

груз.	<i>те</i> «я»	<i>šen</i> «ты»	<i>šven/šven</i> «мы»	<i>tkven/tkven</i> «вы»
чанск.	<i>ta/man</i>	<i>si/sin</i>	<i>škan/šku/šku/škin</i>	<i>tkva/tkvan</i>
мегр.	<i>та</i>	<i>si</i>	<i>ški/ško</i>	<i>tkva/tkvan</i>
сванск.	<i>тi</i>	<i>si</i>	<i>nāj/nā/naj</i>	<i>sgāj/sgāj/sgaj</i>

С точки зрения строения этих местоимений в первую очередь бросается в глаза, что грузинские местоимения *šen*, *šven*, *tkven* в конце имеют *-n*, а в местоимении *те* по данным древнегрузинского и новогрузинского литературного языка этот звук отсутствует; в сванском, как и в мегрельском, *-n* нет не только в местоимении 1-го лица ед. числа, но и в формах 2-го лица; в чанском личные местоимения в большинстве случаев встречаются без *-n*, хотя факультативно употребляются и формы с *-n*. Отсутствие *-n* в мегрельском объясняется тем, что для него вообще характерна утрата *-n* в абсолютном конце слова². Это явление, видимо, было распространено также в сванском и грузинском. С учетом этого местоимение 1-го лица ед. числа в грузинском следует восстанавливать в форме *ten'a*³ (*-n'a*¹ — детерминативный элемент), что зафиксировано в некоторых диалектах.

Корневой согласный местоимения 1-го лица ед. числа *т* во всех картвельских языках общий (груз. *т-е*, чанск. *т-а*, сванск. *т-и*) и генетически связывается с показателем 1-го лица ед. числа глагола *т-*. Гласный элемент местоимения *те* этимологически и функционально можно приравнять к е указательных местоимений *ese*, *ege* «этот»; не исключено, что такой же гласный имеется в личных местоимениях *šen*, *tkven*, *šven*⁴. В косвенных падежах местоимение 1-го лица представлено основой *šem-*, которой соответствует в чанском *škim-/škim-* и в мегрельском *škim-*. От этих основ образуются соответствующие притяжательные местоимения *šem-i*, *škim-i*, *škim-i* «мой», их эквивалентом в сванском является *tišgw-i*. Как видим, притяжательные местоимения 1-го лица в грузинском и чанском (мегрело-чанском) характеризуются аффрикатой, после которой в чанском развивается задне-

¹ Личное местоимение 3-го лица по происхождению является указательным и по этому рассматривается вместе с указательными местоимениями.

² А р в. Ч и к о б а в а, Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта, Тифлис, 1936, стр. 72 (на груз. яз.).

³ См. об этом: А. Г. Мартirosов, Местоимение в картвельских языках. Историко-сравнительный анализ, Тбилиси, 1964, стр. 96 (на груз. яз.).

язычный придыхательный *k*. В сванском грузинскому *ē* соответствует спирант *š*, за которым следует заднеязычный звонкий *g* (*mi-šg-w-i*).

Исходя из сванской формы *mišgwi*, можно допустить наличие губного *w* в древнейшей общекартвельской форме этого местоимения, т. е. предполагается, что первоначально была форма **šwe-m*, которая дала в грузинском *šet-i*, в занском **šku-m-i* → *ška-m-i* → *ški-m-i*, а в сванском — *m-i-šgw-i*⁴.

Грузинскому местоимению 2-го лица ед. числа *šen* в занском и сванском соответствует *si*. Существует мнение, что личное и притяжательное местоимение 2-го лица в картвельских языках происходит из исходной формы **šwe-n*, губной вариант которой сохранил только сванский в местоимении *i-sgw-i* «твой»⁵. Р. Лафон допускал, что сванск. *isgw* происходит из *sisgw* путем диссимиляции; начальный гласный *i*, по его мнению, является производящим элементом Genetiva, который еще до общекартвельской эпохи мог быть представлен в слове как в виде префикса, так и суффикса⁶.

Местоимения *šven* и *tkven* в древнегрузинском имели в основе неслоговое *w*: *šwen*, *tkwen*. Оно и сейчас сохранилось в гурийском, рачинском, мохевском диалектах грузинского языка; в ферейданском, ингилойском и месхско-джавахском диалектах комплексе *we* перешел в *o/ö*: *čon/čön*, *tkon/tkön*. Можно было бы допустить, что фактором, способствующим изменению *we* > *ö*, было влияние персидского, турецкого и азербайджанского языков, в окружении которых исторически находились (а часть их и сейчас находится) диалекты второй группы. Но факты мохевского и мтиульского диалектов позволяют предполагать, что рефлекс, связанные с комплексом *we*, могли возникнуть в грузинских диалектах спонтанно.

Грузинскому местоимению *šven/šven* в занском соответствует *škul*, в мегрельском — *ški*; особняком стоит сванск. *näš*. В атинском подговоре чанского диалекта из-за того, что в результате регрессивной диссимиляции комплекс *šk* изменялся в *šk*, местоимение *škul* представлено в виде *šku(n)*. В хопском его подговоре корневой гласный *i* перешел в *i* — *šhi(n)*, то же в сенакском подговоре мегрельского наречия — *ški*, а в зугдидско-самурзаканском вместо *i* наблюдается редуцированный гласный среднего ряда *ə* (*ška*).

Грузинскому местоимению *tkven/tkven* в занском соответствует *tkvan*, в сванском — *sgäš*. От этих форм образуются притяжательные местоимения: *tkven-iltkven-i*, *tkvan-i*, *i-sgw-e-j* «ваши». Во всех трех языках в основе этих местоимений закономерно соотношение *kve* : *kva* : *gve* с разницей только в начальном согласном. Грузинскому *t* в сванском обычно соответствует тот же согласный, однако в местоимении 2-го лица мн. числа на месте начального согласного в сванском имеем не *t*, а спирант *s*. Личные местоимения мн. числа и притяжательные местоимения 1 и 2-го лица в обоих числах содержат элемент *we*, непосредственно следующий за начальным корневым согласным или комплексом согласных. Т. Гамкрелдзе считает элемент *we* экспонентом категории человека и восстанавливает его также в местоимении 1-го лица ед. числа: **m-we-n^{ra1}* → *me-n^{ra1}* → *me*⁷. Здесь, однако, возникает вопрос: оправдано ли предположение о наличии показателей категории человека в местоимениях 1 и 2-го лица, обозначающих говорящего и собеседника, т. е. всегда человека. Насколько нам известно, в языках, для которых характерно различение категорий грамматических классов человека и вещи, соответствующие личные местоимения экспонек-

⁴ См.: Т. В. Гамкрелдзе, Сибилантные соответствия и некоторые вопросы древнейшей структуры картвельских языков, Тбилиси, 1959, стр. 42 (на груз. яз.).

⁵ Там же, стр. 37—39.

⁶ R. La f o n, Sur les pronoms personnels de 1^{re} et de 2^{de} personnes dans les langues kartvéles, BSLP, XXX, 2, 1930, стр. 161.

⁷ Т. В. Гамкрелдзе, указ. соч., стр. 44—45.

тов категории человека не имеют; например: в аварском языке личные местоимения *дип* «я», *тип* «ты», *лиъ* «мы» (эксклюзивное), *ни* «мы» (инклюзивное), *ниъ* «вы» в отличие от всех других местоимений не обладают такими показателями.

Во многих языках показатели лица в глаголе происходят от местоимений; в грузинском также существует материальная связь между личным местоимением *те* и объектным префиксом *т-* глагольной формы 1-го лица ед. числа. Можно предположить, что и объектный префикс 2-го лица *g-* генетически связан с корневым элементом указательного местоимения *e-g-e* «этот». В сванском в глагольных формах 1-го лица мн. числа выступает префикс *и-*, генетически связываемый с соответствующим местоимением *ниъ* «мы»².

Среди указательных местоимений, большинство из которых различает три ряда (посредством них передается близость объекта по отношению к одному из трех лиц — подробнее об этом см. ниже), в грузинском языке в первую очередь выделяются производные местоимения *eseles* «этот (находящийся около 1-го лица)», *egeleg* «этот (находящийся около 2-го лица)», *isi/is, igi* «этот (находящийся около 3-го лица)». В древнегрузинском, как правило, *ese, ege* встречаются в полном виде — как и в раннем произведении светской литературы «Висрамиани» и поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Употребление упрощенных форм *es, eg* прослеживается только с начала XIII в. В диалектах засвидетельствованы варианты этих местоимений, но уже вторичного происхождения: *esilesa, egilega*.

Местоимения третьего ряда представлены в двух разновидностях: *isi/is, igi*. Имея одно и то же значение, эти разновидности по происхождению представляют собой разные диалектные единицы. В современном грузинском литературном языке шире всего распространено *is*, а *igi* наблюдается значительно реже. Это вызвано тем, что *is* употребляется как самостоятельно, так и в качестве определения, а *igi* в настоящее время в функции определения не встречается. Здесь, кроме того, сказываются и диалектные различия: для восточных диалектов грузинского языка и языка писателей из этих районов характерно употребление местоимений *is*, а в диалектах Западной Грузии и в прозаических отсюда выпедших писателей более распространено *igi*. Несмотря на одинаковое значение и параллельное употребление местоимений *is* и *igi* их нельзя считать абсолютными синонимами, так как объем их функций неодинаков.

Местоимение *is* в новогрузинском представлено в усеченном виде; в качестве его первоначальной формы реконструируется *isi*, хотя в древнегрузинском этот вариант не зафиксирован: по некоторым предположениям, *isi* было рано вытеснено из употребления своим эквивалентом *igi*, совпавшим с ним по значению². По нашему мнению, наоборот, в литературном языке местоимение *isi* позднего происхождения, во всяком случае не ранее X в.: как определенный артикль оно несколько раз встречается в рукописи X в. агнографического содержания. В этой функции оно засвидетельствовано также в средневековом памятнике «Балаваряни». С XIII в. позиция *isi* как местоимения значительно усиливается (ср. примеры такого употребления в «Висрамиани», «Амирандареджаниани», «Витязь в тигровой шкуре» и др.). К этому периоду относится его упрощение: в именительном падеже ускается конечный корневой гласный *i*, и в таком виде это местоимение остается в литературном языке.

Появлению в литературном языке местоимения *isi* параллельно с *igi* способствовала полифункциональность местоимения *igi*: в древнегрузин-

² В. Т. Тодуриа, Сванский язык. I — Глагол, Тифлис, 1931, стр. 27 (на груз. яз.).

² И. В. Имиаишвили, Артикль в древнегрузинском языке, «Труды Тбилисска. гос. ун-та», 61, 1956, стр. 258 (на груз. яз.).

ском, являясь указательным местоимением, оно употреблялось так же как личное местоимение 3-го лица, как определенный артикль и как частица. Закрепление местоимения *isi* в литературном языке, которое могло произойти в результате действия тенденций, противоположных полифункциональности *igi*, связано в то же время с выравниванием линии, подражающей в качестве корневого материала *s* при указании на ближайший для 3-го лица предмет (ср. *ese* — *isi*); процесс этот начался в древнегрузинском и закончился в новогрузинском.

То, что в современном грузинском литературном языке местоимение *isi* представлено усеченной формой *is*, в то время как его эквивалент *igi* — полной начальной формой, допустимо объяснить тем, что *isi*, определяя другое имя, обычно находилось в препозиции, а это могло вызвать усечение конечного гласного *i*. Подобное же упрощение исторически произошло с местоимением *ese* (\rightarrow *es*) и *ege* (\rightarrow *eg*). Воздействие аналогии сказалось и на местоимении *igi*: в среднегрузинском, в памятниках светской литературы наряду с *igi* появился вариант *ig*, который, однако, не закрепился — вероятно, потому, что, начиная с раннего периода новогрузинского языка, *igi* в функции определения уже не употреблялся.

Параллельными формами указательных местоимений особенно богат чанский. Эквивалентами грузинского местоимения *es* в нем являются *haja*, *aja*, *ham* «этот». Грузинским *is/igi* в чанском соответствуют три варианта — *hea*, *ia*, *him* «тот». По своему строению чанские указательные местоимения несколько отличаются от грузинских: первый их компонент представляет *ha-/a-*, *he-/hi-/i-*, несущий значение указательности; гласные варианты (*a*, *i*) вторичны, они возникли в результате утраты начального *h-*. Если допустить, что в грузинском соответствующим гласным в указательных местоимениях первоначально тоже предшествовал *h-*, тогда этот материал в грузинском и чанском окажется общим. Второй компонент в чанских указательных местоимениях — *-ja*, *-a*, *-m*, из которых первые два — детерминативные элементы, а *-m* — такой же местоименный корень, как груз. *-se-s*, *-ge-g* и *ma-(ma-h)*¹⁰. Можно предположить, что в чанск. *haja*, *aja* и других местоимениях также имелся согласный, который с течением времени или совсем исчез, или оставил соответствующий рефлекс в виде *ja*.

В мегрельском имеются указательные местоимения простые и сложные, причем каждое имеет по две формы — полную и усеченную. Полная форма простых местоимений: *tena* «этот» и *tina* «тот»; усеченные формы от *tena* — *ena*, *te*, *e*, а от *tina* — *ina*, *ti*, *i*. Сложные указательные местоимения образуются путем присоединения к началу *tena*, *tina* гласных *a-* и *e-*: *atena* «этот; вот этот», *etina* «тот; вот тот». Их усеченные формы — *ate* ← *a + te* и *eti* ← *e + ti*¹¹. В местоимениях *te-na*, *ti-na*, *ate-na*, *eti-na* конечная морфема *-na* представляет собой тот же детерминативный элемент, какой выделяется в грузинских личных местоимениях: *me-n'a*¹, *še-n'a*¹, *žve-n'a*¹, *tkve-n'a*¹. В оставшихся компонентах *te-* и *ti-* гласные элементы *e*, *i* являются указательными частицами, которые этимологически связаны с соответствующими гласными в грузинских местоимениях *e-s-e* «этот» и *i-g-i* «тот»; согласный *t* — местоименная основа, которую функционально можно уподобить *s* и *g* в груз. *e-s-e* и *i-g-i*. Начальные гласные сложных указательных местоимений (*a-tena-* *e-tina-*) также представляют собой указательные частицы, которые, вероятнее всего, возникли поздно под непосредственным влиянием грузинского языка.

¹⁰ А. р. Чигобава, указ. соч., стр. 75.

¹¹ См.: И. Кипшадзе, Грамматика мегрельского (иверского) языка с хреоматиею и словарем, СПб., 1914, стр. 042.

В сванском языке имеется два непроезводных указательных местоимения — *ala* «этот», *eʒi/eʒa* «тот». По диалектам первое местоимение представлено в вариантах *ala, ali, āli, ale*. В *ala* выделяется гласный элемент *a*, являющийся указательной частицей, и *l* — корневой согласный, иногда выпадающий между двумя гласными: *ai* (← *ali*), *ais* (← *alis*). Основа этого местоимения в косвенных падежах, которая в полном виде представлена в одном из вариантов дательного падежа *amas*, полностью совпадает с соответствующей грузинской формой дат. падежа *amas*.

В указательном местоимении *eʒi, eʒa* гласный *e* — указательная частица, соответствующая груз. *i* (*i-g-i, i-s-i*). В нижнебалском, левтешском и лашхском диалектах корневой согласный *ʒ* в результате палатализации ослабляется в *j* как в местоимении *eʒi*, так и в образованных от него местоимениях и наречиях; засвидетельствована также полная потеря *ʒ* в этих случаях.

Итак, основные формы указательных местоимений во всех картвельских языках следующие:

груз.	<i>ese/es</i> «этот (находящийся около меня)»	<i>ege/eg</i> «этот (находящийся около тебя)»	<i>igi/isi/is</i> «тот»
чанск.		<i>haʒa/ham</i> «этот»	<i>haʒ/him</i>
мегр.		<i>ena/lena</i>	<i>ina/tina</i>
сванск.		<i>ala</i>	<i>eʒi</i>

При сопоставлении этих местоимений обнаруживаются как сходства, так и различия между картвельскими языками. Прежде всего, в грузинском существует три ряда указательных местоимений, а в мерело-чанском и сванском — два. Для грузинских местоимений корневым материалом являются согласные *s* и *g* (*e-s-e/e-s — i-s-i/i-s, e-g-e/e-g — i-g-i*), которые не меняются при обозначении близости или удаленности по отношению к говорящему; в этом случае изменяются гласные: *es saxli* «этот дом», *is saxli* «тот дом». Это правило грузинского языка нарушено только при противопоставлении местоимений *ese/es* «этот около меня» и *ege/eg* «этот около тебя».

В чанском *haʒa* и *haa* корневой материал пока не поддается обнаружению, а в *ham, him* корневым согласным является *m*. В указательной функции здесь тоже выступает гласный, которому предшествует придыхательный согласный *h*. Чанскому *ha* в настоящее время соответствует груз. *e*, а исторически — *a*¹². В мегрельском местоименным корнем является *t* (< *d*). Гласный элемент в грузинском и мегрельском совпадает полностью, ср. мегр. *t-e-na* — груз. *e-s*, мегр. *t-i-na* — груз. *i-s*. Гласные элементы сванских местоимений тождественны с чанскими, ср. сванск. *a-l-a* — чанск. *h-a-ja*, сванск. *e-ʒ-i* — чанск. *h-e-a*. Из корневых согласных сванский *l* эквивалентен груз. *s, m*, а *ʒ* в местоимении *eʒi* соответствует груз. *g: ege*.

Строение указательных местоимений в грузинском характеризуется гармонией гласных — гласные одного и того же качества выступают в начале и в конце местоимения: *e-s-e, e-g-e, i-g-i, i-s-i*. Занским местоимениям это не свойственно. Сванские же местоимения *a-l-a* и *e-ʒ-i* в этом отношении не одинаковы: в первом начальный и конечный гласные полностью совпадают, а во втором они различны, хотя и близки по качеству. При допущении исторически более равной сванской формы **eʒe* и грузинские и сванские указательные местоимения могли бы считаться сингармоническими.

Трехчленная система указательных местоимений характеризует такие разноразличные языки, как латинский, армянский, баскский, абхазский,

¹² А р н. Ч и н о б а в а, указ. соч., стр. 73.

тюркские и др. В некоторых же африканских языках — бушменском, агни, сара — имеется только один член, в результате чего не обозначается близость или удаленность объекта по отношению к говорящему¹³. Почти все индоевропейские языки имеют двучленную систему. Ряд языков, в отличие от всех других, обладает более сложной, дифференцированной системой для локализации объектов в пространстве — например, горские иберийско-кавказские языки, где указательными местоимениями обозначается не только близость и удаленность объекта, но и его местоположение. Так, в аварском языке, помимо обычных значений, местоимение 3-й степени обозначает нахождение внизу или наверху по отношению к говорящему, нейтральное положение и др.; столь же семантически дифференцированы местоимения и в других дагестанских языках (лакском, даргинском, табасаранском и проч.).

Грузинский язык характеризуется трехчленной системой непроизводных указательных местоимений: *es satot* (находящийся около 1-го лица), *eg satot* (находящийся около 2-го лица), *is/igi* «то» (находящийся около 3-го лица). Наряду с этим высказывалось, однако, мнение о том, что для грузинского характерна не трехчленная, а двучленная система указательных местоимений¹⁴. При обсуждении этого вопроса нужно иметь в виду, что в указательных местоимениях ряда языков локализация по отношению к говорящему реализуется посредством гласных, а в других языках, например в армянском — при помощи корневых согласных (гласные остаются без изменений); не исключена возможность существования так называемой смешанной системы, когда в группировке соответствующих местоимений принимают участие, наряду с гласными, и согласные.

При группировке грузинских указательных местоимений *ese, ege, igi* и по гласным, и по согласным трехчленная система выглядела бы неполной. При установлении системы указательных местоимений в грузинском важную роль играет одновременный учет гласных и согласных элементов, в разных комбинациях создающих противопоставленные варианты. Необходимо при этом учитывать и семантический фактор: соответствующие указательные местоимения и с точки зрения функциональной должны укладываться в стройную систему локализации объекта в пространстве и времени. Исходя из такого фонетико-семантического подхода, для грузинского языка следует признать характерной трехчленную систему, хотя в разные периоды его развития могли иметься и парнопротивопоставленные формы¹⁵.

¹³ В языке сара вообще существует только одно указательное местоимение *а ge*, которое употребляется для всех трех лиц как в единственном, так и во множественном числе. — см.: Г. А ч а р я н, Полная грамматика армянского языка в сравнении с 562 языками, II, Ереван, 1954, стр. 139—140 (на арм. яз.).

¹⁴ Б. А. П о ч х у а, Указательные выражения в грузинском языке, «Вопросы структуры картельских языков», I, Тбилиси, 1959, стр. 88 (на груз. яз.).

¹⁵ См. об этом: А. Г. М а р т и р о с о в, указ. соч., стр. 179.

М. И. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ

ВОЗМОЖНО ЛИ ПЛАНИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ?

(норвежское языковое движение в тупике)

Возможно ли планирование языкового развития и, если возможно, то в какой мере? Этот вопрос возникает в связи с оценкой результатов языкового движения, происходившего в Норвегии в течение последних ста с лишним лет¹. Прежде, однако, чем оценивать эти результаты, я постараюсь определить, в каком значении я буду употреблять некоторые выражения, необходимые при описании языкового движения, такие, как «язык», «литературный язык», «национальный язык» и т. п. Ведь всякое лингвистическое описание — это проблема прежде всего терминологическая. Именно поэтому прогресс в языкознании — это нередко иллюзия, обусловленная тем, что вводятся новые термины, которые в сущности не обозначают ничего нового, или тем, что старые термины получают нечеткое, расплывчатое, метафорическое употребление. Иллюзии, обусловленные демагогическим и нечетким употреблением таких выражений, как «народный язык» и т. п., сыграли большую роль и в норвежском языковом движении или даже лежали в его основе.

Я буду называть «языком» только звуковой, или устный, язык, в отличие от его письменного отражения, которое я и буду так называть. В таком понимании язык всегда характеризуется специфичным для него соотношением, т. е. системой фонем, которые реализуются и распределяются определенным образом в речевой цепи, образуя слова или другие значащие единицы. Я буду называть «литературным языком» такой язык, который используется как стандарт, или норма, в определенном обществе, не только сам по себе, но и в своем письменном отражении, и противопоставляется местным диалектам или говорам, т. е. языкам, которые не используются как стандарт и не имеют стандартного письменного отражения. «Национальным литературным языком» следует, очевидно, называть общий и единый литературный язык нации. Я совсем не буду употреблять выражений «общепародный язык», «общепародный национальный язык», «единый общепародный язык» и т. п., которые получили широкое распространение в нашем языкознании после 1950 г., когда стало обязательным утверждать (против очевидности), что «язык народа» всегда был «общим и единым». Но я буду различать «первичное письменное отражение языка», т. е. непосредственное отражение устного языка в письме, от «вторичного письменного отражения языка», т. е. такого письменного отражения, которое никакому определенному устному языку не соответствует, так как

¹ Если учитывать все, опубликованное участниками этого движения, то литература, посвященная ему, совершенно необозрима. Напротив, она ничтожна, если учитывать только написанное объективными наблюдателями. Наиболее обстоятельный обзор норвежского языкового движения в XIX в. написан Фраулузом (A. Bugn, *Le développement linguistique en Norvège depuis 1814*, 1—2, Kristiania, 1919—1921). Наиболее обстоятельный обзор этого движения в XX в. недавно опубликовал норвежец, родившийся и живущий в США (E. Haugen, *Language conflict and language planning. The case of modern Norwegian*, Cambridge, Mass., 1966). Книга Хаугена содержит библиографию норвежского языкового движения.

представляет собой синтез письменных отражений нескольких устных языков. Подставляя в такое вторичное письменное отражение произношение какого-то устного языка, это вторичное письменное отражение можно прочитать или даже использовать для непосредственного устного общения. Но полученный таким образом «вторичный язык» будет тем существенно отличаться от языка, так сказать, «первичного», что у него не будет своего специфического произношения, т. е. своей системы фонем, определенным образом реализующейся в речевой цепи, и т. д.

Для норвежского языкового движения всегда было прежде всего характерно отсутствие единства: в XIX в. в нем было два резко различных направления, а в XX в. — даже три. С середины XIX в. языковой раскол стал в Норвегии перманентным состоянием.

То, что было результатом одного из двух направлений языкового движения в XIX в., обычно называется «риксмол» (rigsmaal, позднее riksmaal, теперь riksmål, буквально «государственный язык») — название, получившее распространение после того, как его употребил Бьёрнстрьерне Бьёрнсон в одной своей речи в 1899 г., — но с 1929 г. официально — «букмол» (boksmål, буквально «книжный язык») — название, которое, однако, получило и другое применение, о котором будет речь ниже (стр. 53). До 1899 г. риксмол назывался «датско-норвежским» (dansk-norsk) или «обычным книжным языком» (det almindelige bogspreg).

Основной предпосылкой риксмолы было то, что еще в период, когда Норвегия входила в состав датского государства (а она входила в него с 1397 г. по 1814 г.), в норвежских городах и прежде всего в Осло (тогда Христиания) образовался своего рода смешанный говор, т. е. устный нестандартный язык, с лексикой и морфологией в основном датской, а произношением норвежским. По-видимому, в силу лексической и морфологической близости между датским языком и норвежскими диалектами, датский текст мог читаться, так сказать, по-норвежски. Предполагается, что такое чтение датского текста и было основой норвежского смешанного городского говора. Таким образом, в его образовании участвовал не столько сам датский язык, сколько его письменное отражение, тогда как основное, чем отличается язык от ему близко родственных языков, т. е. произношение, было в нем целиком норвежское. Существование этого городского говора проследживается по свидетельствам второй половины XVIII в., но возможно, что он возник значительно раньше. Вероятно, этот городской говор мог быть более официальным и близким к датскому написанию, или более просторечным и близким к местному диалекту. Вероятно также, что он все время испытывал влияние окружающей норвежской диалектной среды и в связи с этим как-то изменялся.

Однако все это только предположения. История норвежского смешанного городского говора очень неясна. Как он в действительности возник? Какие последовательные этапы развития он прошел? Какая у него была система фонем и как она реализовалась в разное время и в его более официальных и более просторечных разновидностях? Среди кого и где он был распространен на разных этапах своей истории? На все эти вопросы можно ответить, по-видимому, только предположениями и в самой общей форме. То, что действительно произошло, очень мало известно. Образование и развитие смешанного городского говора — это несомненно самое важное из всего, что произошло в истории норвежского языка в течение последних столетий. Мало того, это, в сущности, единственное, что произошло в языке с языком в Норвегии, а не в письменных отражениях языка, первичных или вторичных, или единственное, что действительно произошло с языком в Норвегии, а не только заглянулось или постановилось о нем. Бесспорно, однако, что возникновение и развитие смешанного

городского говора не было результатом сознательных усилий, или планирования, как такие усилия стали в последнее время называть.

О планировании можно скорее говорить в отношении того, как смешанный городской говор, или разговорный язык городского населения, стал норвежской языковой нормой, а его произношение — «общенорвежским произношением» (*landsgyldige norske uttale*), по выражению знаменитого подборника этого произношения Кнуда Кнудсена (1812—1895). Легализация этого произношения в театре и школе — она завершилась в восьмидесятых годах прошлого века — была, очевидно, результатом сознательных усилий. Неясно, однако, сопровождалась ли эта легализация какими-либо внутренними изменениями самого произношения и его основного варианта — ослского.

Результатом сознательных усилий были, конечно, и орфографические реформы риксмол. Эти реформы были осуществлены только в XX в., а именно в 1907, 1917 и 1938 гг. До 1907 г. орфография риксмол не отличалась от датской. В результате этих реформ то, что Кнудсен называл «норвежским произношением», получило более адекватное письменное отражение. Правда, в последних двух из этих реформ вошло выражение и третье направление норвежского языкового движения, направление, целью которого было не адекватное письменное отражение определенного произношения, а нечто совсем другое, о чем будет речь ниже.

Результатом сознательных усилий обычно считается «норвегизация» лексического состава риксмол, т. е. введение слов из норвежских диалектов в риксмол. Диалектальные слова пытались вводить в литературу еще Я. Олл и Ю. Мунк в своем журнале «*Saga*» в 1816—1820 гг. Диалектизмы употребляли в своих произведениях Бергеланн, Бьёрнсон, Ибсен и многие другие норвежские писатели. В сущности, однако, эта лексическая «норвегизация» мало чем отличается от обычного для всякого литературного языка обогащения за счет слов, которые те или иные литераторы черпают из диалектов и особенно тогда, когда они обращаются к изображению народного быта. Диалектальные слова хлынули в норвежскую литературу в эпоху расцвета национальной романтики не столько в результате языкового планирования, сколько просто потому, что популярным стало изображение норвежского крестьянского быта. В первых восьмидесяти строках «*Пер Гюнта*» Ибсена встречается около сорока диалектизмов. Их очень много в крестьянских рассказах Бьёрнсена. Между тем в более поздних социальных драмах Ибсена и Бьёрнсена, где действие происходит в городской буржуазной среде, их совсем мало. Диалектальных норвежских слов, прочно вошедших в современный риксмол, т. е. не обусловленных тематикой произведения, в сущности совсем немного. Большая часть словарного состава современного риксмол — это слова, унаследованные из датского литературного языка.

Сознательное стремление к «норвегизации» имело место в отношении синтаксиса риксмол. Время от времени появлялись руководства, учившие тому, как сделать свой стиль «более норвежским» и освободиться от датского наследия. Однако синтаксические рекомендации таких руководств обычно сводились просто к тому, что надо преодолевать синтаксическую усложненность и вычурность ученого, письменного стиля (в конечном счете даже не датского, а немецкого или латинского) и стремиться к простоте живой речи. Синтаксическая «норвегизация» была, таким образом, в основном просто характерной для всякого развивающегося литературного языка тенденцией к обновлению на базе живой речи.

Результат второго направления норвежского языкового движения — это так называемый лясмол (*landsmaal*, позднее *landsmål*, буквально — «сельский язык» или «язык страны»), как его назвал его знаменитый соз-

датель Ивар Осен (1813—1896), или «новонорвежский» (nyponsk), как он был официально назван в 1929 г.

Основной предпосылкой лансмолы были не какие-либо языковые факты, а представление о том, что такое «язык народа». Согласно этому представлению, «язык народа» (он же — «литературный язык») так же реально существует в совокупности диалектов народа, как «душа» этого народа существует в совокупности индивидов, составляющих нацию. Слова этого языка, следовательно, могут быть так же восстановлены путем сравнения и обобщения слов из разных диалектов, как восстанавливаются гипотетические слова индоевропейского праязыка путем сравнения и обобщения слов из отдельных индоевропейских языков в их древнейшей форме.

Очевидно, конечно, что нельзя обобщить несколько разных произношений. Из нескольких реально существующих фонологических систем нельзя создать новую, среднюю систему, да притом еще и реально существующую. Но можно обобщить написания этимологически тождественных слов. Согласно представлению, о котором идет речь, «язык народа» (он же «литературный язык») и должен быть создан путем такого обобщения. Все это шло вразрез не только с уже тогда известными фактами из истории других европейских стран, в которых литературные языки развивались из какого-то одного диалекта, т. е. языка части населения страны, но и с тем элементарным положением языкознания, что язык — это не написание, а то, на чем говорят. Однако те норвежские ученые, которые были поборниками лансмолы, и в дальнейшем игнорировали это положение, как, впрочем, и многое другое в мировой науке о звуковой стороне языка.

Идея создания лансмолы принадлежит норвежскому ученому П. А. Мунку (1810—1863), который, в частности, писал: «Никакое диалектное произношение никогда не может стать литературным языком. Литературный язык — это гармония говоров, сведенных к простой, благородной, первоначальной форме языка»². О том, как Мунк представлял себе существование такого «литературного языка» в диалектах, дает понятие следующее его замечание о названии одной фарерской народной баллады. Не надо, говорит он, писать *Sjúra kvæi* (т. е. стремиться передать современное фарерское произношение), а надо писать *Sigurða kvæði* (т. е. просто давать древненорвежское написание), так как современный фаререц «именно это хочет сказать [sic! — M. C.-K.], когда он говорит *Sjúra kvæi*, интерес здесь представляет не его испорченное [sic! — M. C.-K.] произношение, а то, что он действительно хочет сказать [hans virkelige Mening]»³. Неудивительно, что в представлении Мунка всего лучше было бы просто восстановить древненорвежские формы слов и таким образом получить норвежский литературный язык.

Идею Мунка привел в исполнение Ивар Осен, когда в 1853 г. в приложении к антологии диалектальных текстов он впервые опубликовал образец письменного синтеза норвежских диалектов. Подобно тому, как при реконструкции праязыка предпочтение всегда отдается наиболее архаичным формам, Осен в своем обобщении норвежских диалектов отдавал предпочтение тем формам, которые в написании оказывались наиболее близкими к древненорвежскому, т. е., как правило, — западнонорвежским формам. В некоторых его написаниях восстанавливалось и то, что не сохранилось ни в одном норвежском диалекте. При этом он требовал чтения всех букв, даже тех, которые были, так сказать, чисто этимологическими. В ряде случаев Осен принимал то или иное написание не потому, что оно было обобщением диалектальных форм, но только потому, что оно было

² Цит. по кн.: А. В и г и н. указ. соч., 1, стр. 150.

³ Там же, стр. 149—150.

максимально непохоже на написание данного слова в датском и, следовательно, в риксмале. Такая обратная зависимость лансмала от датского и риксмала сказывается и в том, что некоторые слова, общераспространенные в норвежских диалектах, не вошли в лансмал только потому, что они есть и в риксмале.

Лансмал, таким образом, — это по своему возникновению вторичное письменное отражение нескольких родственных языков, а именно — норвежских диалектов. Не случайно сам Осен, как хорошо известно, говорил на риксмале, а не на лансмале. Когда используют лансмал как то, что и выше назвал «вторичным языком», то подставляют в него произношение своего родного диалекта или говора. Впрочем, согласно высказыванию норвежского филолога Э. Смита (1887—1957), которое приводит Хауген, «едва ли есть хоть один взрослый сторонник лансмала, который использует его ежедневно со своей семьей и кругом друзей, использующих его так же»⁴. Своего произношения у лансмала нет так же, как его нет, например, у эсперанто. Между тем свое специфическое пронахождение — это, конечно, самое основное в национальном своеобразии языка, и, в частности, потому, что именно произношение не может явиться результатом обобщения, или синтеза. Напротив, вполне возможно синтезировать письменные отражения нескольких родственных языков в одном общем вторичном письменном отражении, например, трех скандинавских языков (шведского, датского и норвежского) — в некоем общескандинавском (такая идея высказывалась не раз)⁵ или всех западнонорвежских диалектов — в общезападнонорвежском, а всех восточнонорвежских — в общевосточнонорвежском (такая идея тоже высказывалась)⁶ и т. д. Другой вопрос — насколько это было бы целесообразно.

Хотя вторичное письменное отражение нельзя сделать языком в собственном смысле слова, можно в административном порядке предписать его применение в письме. Это и было сделано в Норвегии в результате того, что в 1884 г. к власти пришла партия (так называемая «левая»), которая признала лансмал «народным языком», а тем самым дело лансмала «делом народа».

В 1885 г. норвежский стуртинг принял постановление, которое гласило: «правительству предлагается принять необходимые меры к тому, чтобы норвежский народный язык [т. е. лансмал — *М. С.-К.*] получил те же права как школьный и официальный язык, что и обычный язык письма и книги [т. е. риксмал — *М. С.-К.*]». Это постановление было развито в ряде последующих постановлений. Они обеспечили лансмалу положение, равноправное с риксмалом в государственных канцеляриях, в школе и в университете, где в 1889 г. была учреждена кафедра лансмала. Основной опорой лансмала стала школа, так как в ней все учащиеся обучаются как риксмалу, так и лансмалу, причем по желанию школьной общины (т. е. родителей) либо риксмал, либо лансмал принимаются за «основной язык», т. е. язык учебников.

Борьба между риксмалом и лансмалом, начавшаяся больше ста лет тому назад, была ожесточенной и длительной, но не привела ни к какому решающему результату. Впрочем исчислить сравнительное распространение риксмала и лансмала очень трудно, так как, хотя официально они равноправны, они, как видно из всего сказанного выше, — явления совершенно разного порядка. Обычно сравнительное распространение риксмала и лансмала исчислялось по проценту детей, обучающихся в школах, где

⁴ Е. Н а u g e n, указ. соч., стр. 291.

⁵ А. В u r g i n, указ. соч., 2, стр. 87.

⁶ Там же, стр. 122.

лансмол (соответственно — риксмол) привят за «основной язык». По этим данным с 1930 г. распространение лансмолла наиболее резко возросло после орфографической реформы 1938 г., достигло максимума в 1944—1945 гг. (31,1%) и с тех пор постепенно падало (до 20,5% в 1964—1965 гг.). Оно было значительно меньшим по данным о языке канцелярий, богослужения, опубликованных книг, сочинений на аттестат зрелости, студенческих сочинений и т. п. Так, книги опубликованные с 1946 г. по 1955 г. на лансмоле, составили только 10,7% от общего количества. Но все эти данные менее обстоятельны, чем данные о школах.

Еще в конце пятидесятых годов XIX в. лансмол стал применяться в литературе. При этом, поскольку он представлялся «народным языком», каждый автор считал себя вправе в большей или меньшей мере приближаться к тому народному языку, т. е. диалекту, который был для него родным. Поэтому в орфографии и морфологии лансмолла было гораздо больше разнообразия, чем в любом литературном языке, не претендующим на то, что он «народный язык». Вместе с тем, поскольку лансмол представлялся авторам, применяющим его, «народным языком», стилистический диапазон произведений, написанных на нем, соответственно узок. В произведениях, написанных на литературном языке, обычно возможны разные стилистические слои: повествование автора — носителя литературного языка, речи персонажей, которые говорят на той или иной разновидности литературного языка или том или ином диалекте и т. д. Такие стилистические противопоставления обычных, в частности, в произведениях, написанных на риксмоле. Между тем в произведениях, написанных на лансмоле, например, в романах Т. Весоса (род. в 1897 г.), самого выдающегося из норвежских писателей — сторонников лансмолла, норвежские крестьяне, как правило, говорят не на диалекте, а на лансмоле, т. е. на вторичном литературном языке автора: сторонник лансмолла, естественно, не может противопоставить диалект, или народный язык, лансмолу — ведь лансмол по идее и есть «народный язык»!

То, что борьба между риксмолем и лансмолем не приводила к победе какой-либо одной стороны, вызвало к жизни третье направление в норвежском языковом движении, а именно — попытки синтезировать риксмол и лансмол в некое «общенорвежское языке» (samnorsk). Идея такого синтеза высказывалась еще в XIX в. Сторонниками ее были известный фольклорист Мольтке Му (1859—1913), который и ввел слово *samnorsk*, известный историк норвежского языка Дидрик Аруп Сейп (1884—1963) и многие другие.

Возможность синтеза подсказывалась тем, что различия между риксмолем и лансмолем явно не похожи на различия между двумя, хотя бы и родственными, языками. Раз у лансмолла нет своего происхождения, то очевидно, что различие между риксмолем и лансмолем не в происхождении. Другими словами, когда слово риксмолла совпадает с соответствующим словом лансмолла в написании, то различия вообще нет. Между тем таких слов очень много. В недавно вышедшем норвежско-английском словаре, включающем риксмол и лансмол², такие слова составляют три четверти общего количества слов, а если учитывать и слова, различающиеся только грамматическими окончаниями, то еще на много больше. В тех же случаях, когда слова риксмолла и лансмолла различаются в написании, то, раз у лансмолла нет своего происхождения, то значит различие не в самих звуках, а только в том, как звуки распределяются в словах, т. е. в том, что полностью определяется написанием. Огромное большинство отличий лансмолла от риксмолла можно в сущности свести к механическим правилам (вроде:

² E. H a u g e n, *Norwegian-English dictionary*, Oslo, 1965.

диграфы *ei*, *ai*, *øy* читай как *e*, *ø*; суффикс *-leg* читай как *-lig*; слова *no* и *då* читай как *nd* и *da*; окончание *-a* в прошедшем времени глагола читай как *-et*, а в единственном числе существительного как *-en*, и т. д.), применяя которые можно читать лансмол как риксмол, превращая таким образом лансмол в своего рода орфографию риксмол. Тексты на лансмоле, особенно учебники и официальные документы, часто настолько явно представляют собой механические кальки текстов на риксмоле, что наверно трудно удержаться от того, чтобы не читать их именно так.

Конечно, синтез риксмолы и лансмолы тоже потребовал для своего осуществления административных мер. Подготовкой их занимались сначала комиссии, которые разработали орфографические реформы 1917 и 1938 гг., а потом просто «языковая комиссия». Идея объединения риксмолы и лансмолы «на основе норвежского народного языка» (*på norsk folkemåls grunn*), как это обычно формулировалось, получила мощную поддержку, когда в 1935 г. правительство было впервые сформировано «рабочей партией».

Процедура синтеза риксмолы и лансмолы заключалась в том, что всюду, где было различие между риксмолем и лансмолом, предлагалось несколько написаний, «более умеренные», т. е. традиционные, и более «радикальные», т. е. близкие к лансмолу (или соответственно — к риксмолу), в расчете на то, что в риксмоле будут предпочтены более «радикальные» формы и что в будущем их можно будет перевести из факультативных («равноправных» или «побочных») в обязательные, что и было основным содержанием орфографической реформы риксмолы 1938 г. В конечном счете, как предполагалось, останутся только самые «радикальные» формы риксмолы, и таким образом он сольется с лансмолом.

Непосредственным результатом орфографических реформ 1917 и 1938 гг. был, естественно, орфографический хаос, который не изжит и до сих пор. Как это формулировали противники реформы 1917 г., в результате реформы вместо двух языков получилось шесть: обязательные риксмол и лансмол и по паре факультативных с каждой стороны. Но хуже хаоса (он в сущности входил в замыслы реформаторов как необходимая предпосылка слияния риксмолы и лансмолы) было то, что, как стало очевидно, получившийся в результате реформ «радикальный букмол» (с 1929 г. риксмол стал официально называться «букмолем») не был письменным отражением какого-то реально существующего устного языка. В «радикальном букмоле», или просто «букмоле», как его стали называть противники орфографических реформ, придавая этому слову ругательный смысл, были не только формы из совершенно разных стилистических слоев, но и формы, реально нигде не существующие. Под «народным языком», который должен был явиться основой слияния риксмолы и лансмолы, подразумевался не какой-либо определенный язык, а набор языковых черт, общих для лансмолы и восточнонорвежских диалектов (на них лансмол теперь переориентировался), т. е. опять-таки некоторый языковой синтез. Поскольку лансмол сам по себе — это вторичное письменное отражение, то результат синтеза лансмолы и риксмолы в его письменном отражении — это уже, так сказать, третичное письменное отражение. Тем не менее «радикальный букмол» стал обязательным в школьных учебниках и официальных документах, и классики норвежской литературы переводились на него в школьных хрестоматиях.

Снова началась языковая борьба и не менее ожесточенная. Но на этот раз это была борьба не между риксмолем и лансмолом, а между традиционным риксмолом и продуктом синтеза риксмолы и лансмолы. Появились общества и периодические органы, ставящие своей целью защиту традиционного риксмолы. Возникло движение родителей, озабоченных тем, что их дети обучаются в школе новому продукту языкового синтеза. «Букмол»

высмеивался в художественной литературе, использовался для речевой характеристики педантов-учителей или бездарных писак, лишенных чувства языка и слепо следующих официальным рекомендациям. Среди гологов, протестовавших против синтеса риксмол и лансмол, всего громче были голоса мастеров слова — писателей и поэтов. Еще в 1917 г. Кнут Гамсун говорил о том, что «язык в опасности» (так называлась его брошюра, направленная против орфографической реформы). Известный норвежский поэт Арнудльф Эверланди иронически спрашивал в 1940 г. «не отменен ли наш язык?», а в 1948 г. — «как часто мы будем менять язык?» (так назывались его острые брошюры, направленные против синтеса риксмол и лансмол). Мастера слова издавна в претензии на языковедов, которые берутся реформировать литературный язык, не понимая его эстетической ценности и не умея им пользоваться. Это в свое время всего острее сформулировал знаменитый норвежский писатель Александр Хьелланн: «Разве не утешительно, — писал он, — слова и снова наблюдать, что профессора языка не умеют писать? Они охраняют язык, как енухи охраняют гарем, енухи, которые не могут воспользоваться сокровищем и проводят свою жизнь в бессильном бешенстве против тех, кто может».

Между тем борьба риксмол с лансмомом отошла на задний план. В XIX в. лансмол обычно противопоставлялся риксмолу как язык без культурной традиции — языку культуры. С такой точки зрения критиковали лансмол, например, Бьёрнсон и Ибсен. В XX в. среди сторонников риксмол в любой его форме все больше распространялось признание лансмол составным элементом норвежской культуры. Ряд талантливых писателей способствовал разработке лансмол как литературного средства. На лансмоле возникла богатая и своеобразная литература, уходящая своими корнями глубоко в народную почву. Переводить эту литературу на риксмол значило бы лишать ее этих корней. Кроме того, существенная часть норвежского фольклора, а именно — народная баллада (folkeviser), представлена только на нормализованном диалекте или на лансмол. Таким образом, признание лансмол невозможно для норвежца, дорожащего национальной культурой. Оно было бы непризнанием части национального культурного наследия. Наконец, признание лансмол подсказывалось и разочарованием в возможности ликвидировать языковой раскол административным путем: нарушения демократии в языковой политике не привели ни к чему хорошему и особенно тогда, когда они совершались якобы во имя демократии.

Всеобщее признание за лансмом права на существование проявилось, в частности, в том, что его принятое в 1929 г. официальное название «новонорвежский» стало общераспространенным. В языковой борьбе название — это, естественно, не адекватное обозначение того, что называется, а демогагическое средство. В свое время название «риксмол» («государственный язык») способствовало консолидации сил риксмол. Введенное в 1929 г. его официальное название «букмол» («книжный язык») было в сущности ударом, направленным против риксмол сторонниками его слияния с лансмом. Вскоре, впрочем, «букмол» стало также ругательным названием продукта синтеса риксмол и лансмол. Название «новонорвежский», пришедшее на смену ясному названию «лансмол» (то ли «сельский язык», то ли «язык страны»), способствовало укреплению позиции лансмол. Интересно, однако, что раньше название «новонорвежский» не раз применялось к риксмолу.

С середины пятидесятых годов «языковая комиссия» стала более осторожной в своих рекомендациях. Она все больше теряла иллюзии относительно возможности радикального изменения языковой ситуации и стремилась скорее к установлению status quo, чем к объединению риксмол и лансмол.

лансмолы. «Норма для учебников» (læreboknorma), подготовленная языковой комиссией и официально принятая в 1959 г., в основном лишь регулировала написания отдельных слов в риксмолы и лансмолы, причем, в противоположность рекомендациям предыдущих комиссий, учитывала и орфографическую традицию, и наличие стилистических различий между разными написаниями. Все же некоторая тенденция к объединению риксмолы и лансмолы была и в «норме для учебников» и поэтому она встретила сопротивление и критику со стороны противников языкового синтеза. Вместе с тем, однако, продолжалось движение в пользу такого синтеза. В 1959 г. группой молодежи был основан «национальный союз языкового объединения», ставивший своей целью сближение риксмолы и лансмолы, начал выходить орган этого союза — «Языковое объединение».

С 1964 г. под председательством ректора Ослоского университета профессора Ханса Фугта начала работать новая официальная комиссия, которая должна была «рассмотреть языковую ситуацию» и предложить «меры по охране и разработке норвежского языка». В обширном и очень осторожном меморандуме, представленном «комиссией Фугта» в 1966 г., сообщаются различные данные о риксмолы и лансмолы, заявляется, что языковая борьба, которая, по мнению комиссии, имела и свои положительные стороны, должна уступить место терпимости и сотрудничеству на добровольной основе и рекомендуется учредить «совет по охране и разработке норвежского языка». Таковы результаты, к которым пришло норвежское языковое движение.

Если конечная цель национального языкового движения заключается в том, чтобы у нации был единый литературный язык, т. е. литературный язык, общий для всей нации, то надо признать, что национальное языковое движение в Норвегии потерпело неудачу. Принятие лансмолы и риксмолы в качестве официальных литературных языков ведет фактически к тому, что единого литературного языка в Норвегии нет. Это положение повлекло за собой прежде всего необходимость непроизводительных затрат огромного количества средств, труда и энергии. Приходилось обучать в школе двум «норвежским языкам»; переводить учебники, словари, официальные документы и т. д. на второй «норвежский язык»; переводить классическую норвежскую литературу с одного «норвежского языка» на другой, тем самым превращая национальную литературу в переводную; пытаться упорядочить орфографию, фактически приводя ее не к национальному единству, а к все большему хаосу; стремиться преодолеть национальный языковой раскол, в то же время фактически его усугубляя; все время искать выхода из создавшегося трагического положения и бесконечно обсуждать его устно и в печати, в частном порядке и в государственных комиссиях, тратя на споры, в сущности совершенно бесплодные, ту энергию, которая могла бы быть затрачена на создание национальных культурных ценностей.

Так как языковая борьба заставляла рассматривать язык с точки зрения того, каким он должен быть, скорее, чем того, какой он есть в действительности, норвежский язык в сущности почти не подвергался исследованию. Достаточно сказать, что есть только одно синхронное объективное описание грамматики риксмолы⁸. За почти полувеков, прошедшее со времени выхода в свет этой книги, не появилось ни одной новой работы такого рода. Школьные и другие пособия и руководства не идут, естественно, в счет, точно так же как работы, в которых синхронное описание грамматики подмешено историей языка или диалектологией⁹. Не существует и

⁸ A. Western, Norsk riksmål-grammatikk, Kristiania, 1921.

⁹ См., например, последнюю работу такого рода: B. B. Eulfsen, Norsk grammatikk, Ordklassene, Oslo, 1967.

частных исследований грамматики риксмодя. Еще хуже обстоит дело с ланс-модом: до сих пор нет ни объективного описания грамматики лансмода в целом, ни каких-либо частных исследований по его грамматике. Можно сказать поэтому, что современная норвежская грамматика — это одна из самых неисследованных грамматик мира. Вместе с тем, вовлечение широких масс норвежского народа в языковую борьбу имело своим результатом не освоение народом своего языка, а скорее то, что рядовой норвежец, как бы он ни был невежествен в языковедении, как правило, убежден в том, что он вполне компетентен решать любые языковедческие проблемы.

В основе норвежского языкового движения, помимо представления о «народном языке» в самом туманном и демагогическом смысле этого выражения, лежало также представление о том, что развитие языка можно сознательно направлять в том или ином направлении, т. е. «планировать» его. История норвежского языкового движения за последние сто с лишком лет — это разительное опровержение правильности этого представления. Из норвежского опыта следует, что языковое движение совсем не обязательно приводит к осуществлению той цели, которую ставят себе его участники, а также, что оно имеет своим результатом изменение не самого языка, а либо только его социального статуса, т. е. легализацию языка как нормы, либо только его письменного отражения, т. е. упорядочение этого отражения, приведение его к большему соответствию с произношением, возникновение вторичного или третичного письменных отражений, которые в свою очередь могут стать вторичными и третичными языками. Правда, общеизвестно, что возможны случаи обратного влияния письменного отражения языка на его произношение. Так, в норвежском языке имели место такие случаи, когда в результате орфографической реформы 1907 г., которая заменила *b, d, g* на *p, t, k* в большом количестве слов, где и раньше произносился глухой смычный, этот глухой смычный появился кое-где и там, где раньше был звонкий. Но ведь такие случаи — это никак не результат языкового планирования. Уместно ли вообще слово «планирование» в применении к языковому развитию? Большая часть того, что произошло с языком в Норвегии, скорее похоже на стихийное бедствие, вызванное какими-то опрометчивыми действиями. В сущности то же самое, но другими словами говорит в самом начале своей книги Хауген (он, однако, в дальнейшем, поддаваясь философии Папглоса, все же называет норвежское языковое движение «языковым планированием»): «языковая лавина». — говорит Хауген, — была приведена в движение, лавина, которая все еще скользит, и никто не знает, как ее остановить, хотя многие были бы счастливы сделать это»¹⁰.

¹⁰ E. Haugen, указ. соч., стр. 1.

Р. В. ПАДУХИН

О МЕСТЕ ЯЗЫКА В СЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Соссюровское учение о знаковой природе языка включает в себя неприменимый компонент, который обычно не привлекает к себе особого внимания, но оказывает существенное воздействие на результат любого соссюрианского исследования. Это — допущение о том, что между языковыми и неязыковыми знаковыми системами (и знаками) нет существенных семиологических различий. Данный принцип был усвоен последователями Соссюра и, в частности, структуралистами. В соответствии с данным принципом все существующие структуральные модели языка подобны простейшим кодам и отличаются от последних лишь в количественном отношении (т. е. числом знаков, знаковых функций и знаковых «уровней»).

Уподобление языковых знаков прочим условным знакам облегчает применение в лингвистике формальной методики, но оно же чрезмерно упрощает наши представления о структуре языка. Последнее обстоятельство, когда оно было замечено, предопределило критические выступления (в большинстве своем справедливые) в адрес теории Соссюра и привело к попыткам ревизии или опровержения как всей соссюровской теории, так и отдельных ее положений¹.

Легко обнаружить, что вся эта критика прямо или косвенно направлена против вышеупомянутого допущения Соссюра о тождестве языковых и неязыковых знаков. В связи с этим оно становится важным аргументом в ведущей сейчас дискуссии о перспективах соссюрианства: исход этой дискуссии во многом предопределяется тем, удастся ли противникам Соссюра доказать, что данное допущение является органическим, необходимым элементом учения Соссюра.

Настоящая статья имеет целью продемонстрировать тот факт, что подобное допущение является невозможным. В статье содержится попытка исключить из соссюровской концепции языка упомянутое выше допущение и рассматриваются некоторые предварительные следствия подобного исключения.

1. Лингвисты довольно единодушны относительно общих принципов семиологической классификации, но весьма расходятся в конкретных представлениях о последней. Так, почти единогласно называют **з н а к о м** любую реальность или класс реальностей, которая (который) выступает в процессе общения представителем («означающим») другой реальности или класса реальностей («означаемого»). Являются общепризнанными и две главные разновидности знаков: **м о т и в и р о в а н н ы е** (М-знаки) и **н е м о т и в и р о в а н н ы е** (Н-знаки)². Но более подробная классификация

¹ Ср.: N. Chomsky, The logical basis of linguistic theory, «Proceedings of the IX International congress of linguists», The Hague, 1964, стр. 921; ср. также доклад Р. Якобсона, опубликованный в кн.: «Zeichen und System der Sprache», II, Berlin, 1962, стр. 50 и сл.; В. А. Звегинцев, Очерки по общему языкознанию, М., 1962, стр. 15 и сл., и др.

² Данное противопоставление, как полагают, идет из платоновского *phōst — phasa* и является (выступая под другими названиями) обязательным компонентом всех су-

знаков и их свойства представляют собой объект ожесточенных споров.

Главным источником последних является неполнота определений мотивированности и немотивированности, данных Соссюром. Соссюровское указание на наличие или отсутствие естественной связи (*attache naturelle*) между означающим и означаемым как на признак, отличающий М-знаки от Н-знаков, слишком неопределенно и не дает представления об истинной природе этой связи³. Некоторые замечания Соссюра, а также внутренняя форма соссюровских терминов *motivé* (ср. *motif*) и *arbitraire* дали повод считать, что главным в этом определении является не тип ассоциация и, связывающий обе части знака, но ее обязательный (неслучайный) или необязательный (случайный) характер⁴.

В действительности, это — две разные характеристики знака, роль которых в семиологической классификации отнюдь не равноценна. Обязательность ассоциации между означающим и означаемым вызывается различными причинами и может в той или иной степени характеризовать любой знак (см. ниже). Что же касается типов ассоциации, то одни из них — связь подобию — представляет собой отличительный признак знаков, которые образуют один из двух основных классов семиологической классификации.

В настоящей работе термин *мотивированность* употребляется в строго ограниченном смысле и, в соответствии с вышесказанным, обозначает отражение свойств означаемого в свойствах означающего⁵. Эта особенность знака проявляется в тех случаях, когда наблюдатель, основываясь на форме впервые встреченного знака, догадывается о его значении. В расчете на подобный эффект устроители Токийской олимпиады («Сов. спорт», 16 IX 1964) сделали изображение телефонного и кинескопного аппаратов указателями со значением «связь» и «кинескоп». Но в дорожном знаке (ГОСТ 10807—64, знак М 1.5) подобного отношения между означающим и означаемым нет. Это — Н-знак; он не будет понятен до тех пор, пока его значение не будет сообщено (а не иницировано — см. § 2) наблюдателю.

От коррелятивных свойств знака *мотивированности* — *немотивированности* (*le motivé — l'immotivé du signe*)⁶, которые вытекают из наличия (отсутствия) очевидной связи между обеими частями знака, следует, как уже говорилось выше, отличать другую *коррелятивную* пару свойств, которые указывают на постоянно-обязательный (непостоянно-обязательный) характер связи между означающим и означаемым. Распиряя употребление соссюровских терминов, назовем эти свойства соответственно *неизменячивостью* — *изменячивостью* (*immutabilité — mutabilité*). Эти свойства могут проявляться не только в виде результата изменений, но и в виде особенностей изменений, как на протяжении длительных периодов, так и в мгновенных ситуациях⁷.

Изменячивость и неизменячивость знака, как показал Соссюр, взаимодействуют. Неизменячивость М-знаков вытекает из подобия обеих частей за-

ществующих классификаций знаков (ср.: Ch. S. Peirce, Collected papers, II, Cambridge, Mass., 1932, стр. 143—144).

³ F. de Saussure, Cours de linguistique générale (далее сокращенно — CLG), Paris, 1922, стр. 101.

⁴ Ср., например: E. Benveniste, Nature du signe linguistique, AL, I, 1939, стр. 23 и сл.

⁵ Как можно заметить, такая модификация соссюровского понятия *мотивации* в еще большей степени приближает последнее к понятию *кинэичности*, которое используется Ч. С. Персом и его последователями (ср.: Ch. S. Peirce, указ. соч., стр. 157).

⁶ Из двух синонимов *immotivé — arbitraire* (CLG, стр. 101) предпочтительнее первый, так как второй дает повод к различным недоразумениям.

⁷ CLG, стр. 104 и сл.

ка. Теоретически у М-знаков изменчивость отсутствует. У Н-знаков неизменчивость следует из договоренности между корреспондентами и потому носит временный, случайный характер. Во то же время изменчивость является постоянным свойством Н-знаков. Следует только иметь в виду, что в большинстве случаев изменчивость Н-знаков потенциальна и лишь иногда приобретает практический характер. Это значит, что все Н-знаки допускают произвольное соединение означающих и означаемых при установлении и смене кода и только некоторые из них подвержены таким изменениям в процессе пользования кодом (§ 3). Что же касается М-знаков, то любое из подобных изменений превратит их в Н-знаки.

Обязательным свойством Н-знаков является системность. Как известно, эти знаки могут служить общению только потому, что корреспонденты заранее уславливаются о соответствиях между означающими и означаемыми, что в совокупности образует знаковую систему. Вопреки распространенному представлению, Н-знаки вне системы невозможны⁸. Так, казалось бы, такой изолированный знак, как условный выстрел, образует, в действительности, минимальную знаковую систему: уславливаясь о подобном сигнале, корреспонденты подразумевают, что отсутствие выстрела будет означать, что ожидаемое событие не совершилось. Таким образом, Н-знаки всегда входят в систему, число элементов которой не может быть меньше двух.

Но каждый из М-знаков — автономная величина: его значение устанавливается не из противопоставления другим знакам, но из подобия означающего и означаемого. По этой причине адресат может понять смысл М-знака, даже не зная заранее о его существовании. Таким образом, наличие системы (в том числе и минимальной) не является необходимым для функционирования М-знака.

2. Деление на Н-знаки и М-знаки⁹ (в указанном смысле) представляется наиболее существенным с точки зрения сематолога. Оно выделяет два знаковых типа с отчетливо противопоставленными комплексами взаимно обусловленных свойств. Для потребителей данное деление существенно потому, что один из этих типов (Н-знаки) требует в обязательном порядке антиципации (предварительного оповещения корреспондентов о значении знаков), а для другого типа (М-знаки) антиципация необязательна.

Языковые средства, в полном соответствии с точкой зрения Соссюра, обнаруживают свою принадлежность к классу Н-знаков. Об этом с несомненностью свидетельствуют языковые барьеры между нациями¹⁰, семантическое развитие слов¹¹, системные отношения между элементами языка и т. п. (ср. § 1). С другой стороны, против этой точки зрения до сих пор не выдвинуто ни одного убедительного довода.

Отмечая, например, наличие известной изобразительности в языке, оппоненты Соссюра не способны доказать, что эта изобразительность является органическим свойством языковых средств. Так, совпадение по-

⁸ Ср.: В. А. Звегинцев, указ. соч., стр. 22.

⁹ В данной статье не употребляется термин «символ» (ср.: CLG, стр. 104), который противопоставляется термину «знак». При этом последний термин превращается из родового названия в название вида (т. е. знак = Н-знак), что не представляется рациональным.

¹⁰ В этом отношении показательно, что в местах, посещаемых представителями многих национальностей (международные отели, конференции, конкурсы) стали отказываться от употребления пиджисей и предпочитать живописные указатели, понятные любому посетителю.

¹¹ Ср.: CLG, стр. 110.

следовательности сказуемых и действий: *veni, vidi, vici*, порядка слов и социальной иерархии: *the President and the Secretary of State...*¹² отсюда не представляет собой обязательного семиологического условия, от которого зависит способность языка служить средством общения. Это — лишь факультативное стилистическое усовершенствование, которое облегчает пользование языком.

В других случаях критики опираются на мнимую изобразительность. Так, согласно Р. Якобсону, формам множественного числа свойственны большее число морфем или большая длительность (в сравнении с формами единственного числа)¹³. Если бы речь действительно шла о ж и в о п и с н о м и з о б р а ж е н и и множественности, то, во-первых, количественное приращение наблюдалось бы исключительно в формах множественного числа и не встречалось бы ни в одной форме единственного числа: ср. русск. *нос* — *носа*, лат. *cor* — *cordis, amō* — *amōs*, и т. д.; во-вторых, были бы принципиально невозможны отношения: русск. *ноги* — *ног*, *пишет* — *пишут*, лат. *amicus* — *amici* и пр. Следует добавить, что попытка установить связь между длиной слова и идеей множественности некорректна потому, что она покоится на искусственной и надуманной ассоциации.

Часто отрицание (полное или частичное) немотивированного характера языковых знаков является мнимым потому, что оно опирается на терминологическую путаницу. Так, возражения против сосюрского термина *arbitraire* направлены большей частью не против «немотивированности», но против «произвольности» (в прямом смысле слова) языковых знаков¹⁴. В других случаях языковым знаком приписывают мотивированность на основе того, что им свойственна так называемая «относительная мотивация». Ниже (§ 3) мы увидим, что последняя, с точки зрения сематолога не имеет ничего общего с собственно мотивацией (ср. § 1) и не делает знак мотивированным в строгом смысле этого слова.

3. Итак, ошибку Сосюра следует искать отнюдь не в том, что он отнес языковые средства к Н-знакам. Ошибочным, на мой взгляд, является невнимание Сосюра к тому факту, что языковые знаки представляют собой самостоятельный подкласс класса Н-знаков.

Необходимо различать во меньшей мере три подкласса Н-знаков, свойства которых определяются особенностями систем, в которые они входят. Эти системы (или парадигмы) суть: 1) одноярусная продиigma, 2) многоярусная продиigma и 3) эпидигма (язык).

Одноярусная продиigma (П-I) — простейший тип знаковых систем. П-I содержит фиксированное число знаков, из которых каждый представляет собой законченное сообщение, например: (код № 1) 1 выстрел — «задание выполнено»; 2 выстрела — «требуется помощь»; # — «не выполнено», «не требуется».

Многоярусная продиigma (П-II) содержит в себе знаки — части сообщения, а также правила соединения этих знаков в сообщения. Например, (код № 2) можно условиться, что флаги <1>, <2>, <3> обозначают трех путешественников, а флаги <4>, <5>, ..., <10> — географические пункты А, В, ..., G. Таким образом, сообщение «1-й путешественник прибыл в D» будет выглядеть как <1> + <7> и т. д.

Главным отличием систем последнего типа является, как известно, знаковая иерархия: например, в коде № 2 предусмотрены знаки (флаги) и суперзнаки (сочетания флагов). Отсюда три важных следствия.

Во-первых, в П-II действует взаимная детерминация

¹² R. Jakobson, *Quest for the essence of language*, «Diogenes», 51, 1965, стр. 27.

¹³ Там же, стр. 29 и сл.

¹⁴ E. Benveniste, *указ. соч.*, стр. 23 и сл.

(*détermination réciproque*)¹⁶ знаков: состав суперзнаков подсказывает их значение. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что, в отличие от мотивации (§ 1), взаимная детерминация знаков опирается отнюдь не на общий, но на специальный (кодовый) опыт собеседников. Пользоваться взаимно детерминированными знаками можно только в том случае, если известны определенные исходные данные, которые отнюдь не являются наглядными, но содержатся в соглашениях между учредителями кода. Эффект взаимной детерминации обнаруживается только при сопоставлении означающих, которые принадлежат разным знакам, но отнюдь не из сравнения свойств означающего и означаемого одного и того же знака.

Во-вторых, знаки П-II могут изменять свои значения в процессе пользования кодом. Так, в П-I значения знаков постоянны; они могут быть изменены только новым соглашением между корреспондентами, что равносильно отмене данного кода и замене его другим. Но в П-II можно включить специальные показатели, назначение которых — сигнализировать изменения в семантике знаков. Благодаря этому в П-II можно осуществлять семантические изменения, не прибегая к новым соглашениям между корреспондентами, т. е. не меняя кода.

Представим себе, например, код № 3, который получится, если к флагам кода № 2 (см. выше) добавить флаги <11>, ..., <20>, которые должны затруднять перехват сообщений посторонними. Употребляя эти дополнительные сигналы в составе сообщений, можно изменять значение соседнего флага так, что он будет приобретать значения всех прочих знаков группы <1>, ..., <10>. Так, <1> в комбинации с каждым из сигналов <11>, ..., <20> мог бы значить «2-й путешественник», «пункт С» и т. д.

В-третьих, П-II предполагает более экономный способ антиципации, чем П-I, рассчитанная на то же количество сообщений: если в последнем случае перечисляются все возможные сообщения, то в первом — только правила их порождения.

4. П-I послужила Соссюру прототипом языковой системы: отсюда его утверждения о статическом характере последней и т. п. К. Бюлер, насколько известно, был первым, кто описал П-II как самостоятельный тип знаковых систем и попытался отождествить ее с языком¹⁷. Современные (структуралисты также используют модель прототипа, внося в нее различные «усложнения»¹⁸. Понимание языка как прототипа является главной особенностью всех направлений структурализма¹⁸ и главной причиной, обрекающей их усилия на неуспех.

Основная особенность прототипа состоит в том, что они всегда присутствуют общению. Они создаются и антиципируются корреспондентами с помощью метасредств общения (чаще всего с помощью языка). Этим достигается необходимое условие функционирования прототипа —

¹⁶ В статье не используется термин Соссюра «относительная мотивация» (ср. CLG, стр. 181) ввиду ложных ассоциаций, которые он порождает (§ 2).

¹⁷ К. Вүлелер, Sprachtheorie, Jena, 1934, стр. 73 и сл.

¹⁸ Z. S. Harris, Methods in structural linguistics, Chicago, 1951, § 20, 3; С. К. Шаумян, Структурная лингвистика, М., 1965, стр. 55; Ю. Д. Апресян, Что такое структурная лингвистика, «Иж. яз. в шк.», 1961, 3, стр. 88, и др.

¹⁸ Определение структурализма как лингвистической концепции, которая видит в языке знаковую систему (структуру), является слишком общим (ср.: E. Benveniste, «Structure» en linguistique, в кн. «Sens et usages du terme „structure“ dans les sciences humaines et sociales» ed. R. Bastide, The Hague, 1962, стр. 38; Ю. С. Малецов, Основные направления структурализма, «Р. яз. в шк.», 1966, 5, стр. 3). Структуралисты представляют себе язык в виде конкретного типа знаковых систем, который в принципе соответствует неязыковым кодам. Отсюда все отрицательные и положительные особенности структуральной методики.

совпадение кодового опыта у корреспондентов: проdigмы обеспечивают прием и передачу сообщений только в том случае, если все корреспонденты одинаковым образом представляют себе состав данного кода. Благодаря этому знаки и знаковые сочетания в проdigмах обладают полной формальной и семантической определенностью: в согласении между корреспондентами оговариваются существенные признаки не только означаемого, но также внешних объектов и отношений, которые выступают в качестве означаемых. При этом каждому означаемому может соответствовать предварительно обусловленное ограниченное число означаемых (в кодах № 1 и 2 — одно означаемое, в коде № 3 — десять).

Отсюда ограниченность проdigм: они предназначены для передачи ограниченного числа сообщений, содержание которых установлено заранее. Пропускной максимум этих систем не может быть больше суммы антиципированных знаков (П-I) или количества знаковых комбинаций, допускаемых правилами порождения (П-II). Так, в коде № 1 предусмотрено 3, а в кодах № 2 и 3 — 24 сообщения. Если возникает необходимость передать депешу, не предусмотренную данной проdigмой, корреспонденты вынуждены обращаться к другим кодам и средствам общения.

Разумеется, проdigма, рассчитанная на бесконечное число сообщений, принципиально невозможна¹⁸. Поскольку в системах этого типа каждому означаемому может соответствовать ограниченное число означаемых (см. выше), подобная проdigма должна была бы содержать неограниченное число формальных элементов. Ясно, что подобный код не может быть ни создан, ни антиципирован.

Неспособность проdigм выступать в функции языка становится очевидной, если вспомнить, что последняя заключается в передаче неограниченного числа сообщений, содержания которых невозможно предугадать (это — функции универсального средства общения и орудия мысли). Данное несоответствие иногда пытаются устроить, утверждая, что языковые знаки разных уровней дают достаточно большое (практически бесконечное!) число комбинаций, способных обеспечить все нужды человеческого общения¹⁹. Но это, казалось бы, правдоподобное утверждение ведет к нелепым в гносеологическом отношении выводам.

Общезвестно, что окружающая нас действительность является бесконечной (в полном смысле этого слова!). Если бы язык представлял собой проdigму, способную порождать большое (но конечное) число сообщений, то количество сюжетов, способных возникнуть в жизни каждого носителя языка, неизменно превосходило бы возможности их выражения, свойственные любому конкретному языку в любой из моментов его существования. Это означало бы, что существует априорная (хотя бы и малая) вероятность того, что носители языка столкнутся с информацией, полностью исключающей возможность языкового выражения (ср. выше свойства проdigм). Если же вспомнить о том, что язык является ору-

¹⁸ Речь идет, разумеется, об истинной (количественно-качественной) бесконечности. Коды, отражающие количественные характеристики объектов, также способны порождать неограниченное число сообщений, но содержание последних остается ограниченным (в качественном отношении) и предельно ограниченным. Там, где кто-то могут условиться о том, что будут сообщать о каждом поименованном ките одной ракетой. Отсюда: 2 ракеты — «2 кита» и т. д. Но если возникает необходимость сообщить, например, о количестве больших на борту судна, морякам придется либо изменить этот код, либо воспользоваться иным кодом. Таким образом, это — частный случай проdigмы-II.

¹⁹ К. Вйñтег, указ. соч., стр. 76 и сл.; Л. О. Резников, Гносеологические вопросы семантики, Л., 1964, стр. 32.

днем мышления, мы должны были бы признать, что существуют зоны действительности, никогда и ни при каких обстоятельствах не доступные мышлению (1). Или же, основываясь на том факте, что при создании продигов учредители кода оговаривают и обозначают все предполагаемые исходы ожидаемых событий, следовало бы утверждать, что в каждом языке предусмотрен и формализован весь настоящий и будущий опыт человечества (1) и пр.

5. Код, выступающий в роли универсального средства общения, должен удовлетворять двум условиям: (1) он должен порождать действительно неограниченное число сообщений, но наряду с этим (2) он должен содержать ограниченный репертуар материальных компонентов, для того чтобы оказалась возможной его антиципация (§ 4). Совмещение этих противоречивых качеств в языке достигается благодаря тому, что языковые знаки обладают неограниченной практической изменчивостью (ср. § 1): любое из языковых означающих может быть связано с неограниченным числом означаемых. Эта особенность и делает язык эпидигмой, т. е. парадоксальной знаковой системой, которая позволяет потребителям на основе конечного числа означающих создавать бесконечное число знаков.

Эпидигма возникает не до общения (как продиigma), но и з о б щ е - н и я. В ситуациях филогенеза (преобразование первобытных нецеленаправленных сигналов в язык) и онтогенеза языка (усвоение языка ребенком) отсутствуют какие-либо метасредства, достаточные для обсуждения кода в его антиципации методом описания (перечисления). В связи с этим язык антиципируется способом перехвата (interception)²¹: обучающиеся усваивают соответствия между отрезками звукового потока и элементами ситуации, наблюдая акустическую деятельность посторонних на фоне определенных событий.

Но обучающиеся языку не могут ограничиться пассивным накоплением кодового опыта. Жизненная необходимость заставляет их активно употреблять в общении и мыслительных операциях усвоенные выразительные средства непосредственно по мере их накопления, но отнюдь не ожидая того момента, когда языковой код будет усвоен «в полном объеме». Именно эта необходимость и порождает неповторимые особенности языка. Обучающиеся с самого начала вынуждены создавать собственные «языковые системы» из того незначительного числа знаков, которые они усвоили, и вырабатывать навык расширения коммуникативных возможностей этих идиосистем, распространяя употребление известных им знаков на неизвестные ситуации и объекты. В чем состоит этот навык, как он возникает и совершенствуется, показывают наблюдения над детьми.

Замечено, что дети с момента возникновения речи обнаруживают способность связывать один и тот же звуковой комплекс с неопределенным числом различных объектов, которые объединяются в представлении ребенка первоначально на основе весьма субъективных и случайных критериев²². Так, например, сочетание *wai-wai* может служить ребенку названием столь разнообразных предметов, как фарфоровая статуэтка, собака, игрушка и т. п.²³. В дальнейшем ребенок таким же образом расширяет употребление с л о в, но этот процесс опирается уже на объективные и более

²¹ Для продиigma этот способ антиципации является второстепенным и даже нежелательным (ср. код № 3 в § 3).

²² Л. С. Выготский. Мышление и речь, в его кн.: «Психологические исследования», М., 1956, стр. 165 и сл.

²³ Там же, стр. 186.

отчетливые ассоциации²⁴. В конечном итоге этот механизм ассоциативных переносов ставится основой словотворчества у взрослых²⁵.

Данный способ знакопроизводства вдвойне примечателен для сематолога. Во-первых, в данном случае возможна знакопроизводства поистине безграничны. В распоряжении собеседников находится неисчерпаемая возможность устанавливать самые разнообразные ассоциативные связи между экстралингвистическими объектами, и это значит, что носители языка могут неограниченно использовать ассоциативные переносы для производства новых знаков (новых значений знаков). Во-вторых, в данном случае неограниченное знакопроизводство отнюдь не приводит к нарушению контакта между собеседниками. Зная свойства экстралингвистических объектов, адресат может повторить в уме мыслительную операцию, которую произвел при переносе названия создатель нового знака (значения). Благодаря этому создаваемые новые языковые знаки (новые значения) практически понятны всем носителям данного языка.

Здесь мы приходим к гносеологическому объяснению семантической неограниченности эпидигмы: каждый носитель языка может дать языковое название любому впервые наблюдаемому объекту и это название может быть понято и усвоено собеседниками потому, что эпидигма позволяет носителям языка неограниченно привлекать о быт и опыт (знание свойств экстралингвистических объектов) для расширения кодового опыта (осведомленности о семантике знаков).

6. Необходимо иметь в виду, что неограниченность сочетаний каждого означающего с различными означаемыми, свойственная языку (§ 5), потенциальна. Эта возможность используется носителями языка выборочно в зависимости от конкретных условий общения. Представим себе, например, что говорящий должен сообщить нечто о предмете, название которого отсутствует в его идносистеме. Разумеется, он использует одно из известных ему слов, перенос его на вновь называемый объект на основе какой-либо ассоциации, порожденной свойствами этого объекта. Но в выборе слова и способа переноса говорящий ограничен тем, что ему приходится учитывать точку зрения собеседников. Для того чтобы быть понятым последними, он должен либо выбрать наиболее наглядную (в данной ситуации) ассоциацию, либо (если это невозможно) пояснить использованную ассоциативную связь с помощью специальных показателей.

Так, русский может назвать незнакомый тропический плод (ананас) словом *шишка* (наглядная ассоциация), но он может использовать и другое слово, например, *дыня*. Последняя ассоциация более субъективна и потому требует пояснения: например, *дыня с колочками* и т. д. Сочетание этих двух способов наделяет носителей языка безграничными возможностями переноса названий. В связи с этим можно утверждать, что теоретически в языковом общении любое слово может быть употреблено для названия любого объекта; при этом, чем менее наглядна и более субъективна ассоциация, лежащая в основе переноса, тем более развернутым должно быть прилагаемое уточнение. Разумеется, на практике эти возможности используются лишь в незначительной мере. Здесь сказывается не только естественное стремление к экономии речи и к сохранению взаимопонимания, заставляющее собеседников избегать сложных и сугубо личных ассоциаций. Большую роль в этом играют одинаковые условия существования, характерные для всего народа или отдельной его части, которые подсказывают носителям языка сходные решения проблемы наименования.

²⁴ Там же, стр. 168 и сл.

²⁵ Там же, стр. 192 и сл.

Наблюдения показывают, что ассоциативные переносы лежат (или лежали) в основе всех случаев как окказионального словоупотребления, так и так называемого «естественного» словообразования: бессуффиксного, аффиксального, словосложения и словосочетания. Отличие между этими операциями лишь в том, что в одних случаях смысл переноса сигнализируется контекстом, а в других — формальными показателями. Так, в нижеприведенных примерах можно наблюдать различные способы выражения одного и того же переноса («орудие» → «деятель»): франц. *trompette* («труба» → «трубач»), исп. *espada* («шпага» → «матадор»), лат. *gladiator* (из *gladius*), нем. *Geiger* (из *Geige*), русск. *станочник* (из *станок*), англ. *swordsman* (*sword* + *man*), кит. *chuanfū* («лодочник» из *chuan* «лодка») и *jū* («мужчина»), англ. *sword-bearer* и т. п.

В тех случаях, когда новые наименования укрепляются в языке, следы переносов со временем стираются и становятся доступными только этимологической методике. Но это обстоятельство отнюдь не отменяет общей закономерности в образовании названий, которая позволяет языку быть единственным универсальным средством человеческого общения.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

С. М. ТОЛСТАЯ

ФОНОЛОГИЧЕСКОЕ РАССТОЯНИЕ И СОЧЕТАЕМОСТЬ
СОГЛАСНЫХ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Фонология не единственная область лингвистики, которая воспользовалась математическим понятием расстояния¹. Поскольку расстояние выражает пространственные отношения между объектами, может показаться, что в лингвистике оно применимо лишь к пространственным моделям. В действительности это не так. Для всех лингвистических употреблений этого термина характерно одно общее свойство: расстояние понимается не как мера пространственной удаленности, а как способ оценки схождения, или системной близости (геср. различия, или системной удаленности) сравниваемых объектов, будь то звуки, фонемы, семемы или грамматические категории. Независимо от формального определения и процедуры вычисления расстояния, это содержательное отличие прежде всего определяет его лингвистическую сущность. В фонологических описаниях расстояние используется как один из способов оценки парадигматических отношений между любой парой фонем, позволяющий формализовать привычную для фонологии градацию степеней схождения и различия фонологических элементов. Очевидно, что процедура измерения фонологического расстояния может быть различной в зависимости от исходного парадигматического представления фонологической системы. Так, расстояние может измеряться наименьшим числом шагов (или отрезков прямой) от одной фонемы до другой на пространственной схеме фонологической системы или на схеме-дереве; различиями в составе дифференциальных элементов сравниваемых фонем; теоретико-множественными показателями и соответствующую парадигматической модели и т. п.²

Оптимальная процедура определения фонологического расстояния еще не найдена, и это задерживает разработку многих вопросов, в частности типологических, для решения которых теоретически идеи расстояния признаются полезной. Наибольшие трудности, по-видимому, связаны с тем, должны ли по-разному оцениваться одни и те же различия, если они относятся к разным ДП, т. е. следует ли при измерении расстояния учитывать иерархию ДП и считать, например, различие по ДП палатальности — непалатальности меньшим, чем соответствующее различие по ДП компактности — некомпактности. Шкала весов, учитывающая иерархию

¹ О возможности применения критерия расстояния в семантических и грамматических классификациях см.: Ю. Д. Апресян, Алгоритм построения классов по матрице расстояний, сб. «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 9, М., 1966.

² Критический обзор некоторых попыток введения расстояния в фонологическое описание см.: И. И. Ревякин, К логическому обоснованию теории фонологических признаков, ВЯ, 1964, 5.

ДП, разработана Дж. Петерсоном и Ф. Хэрари³, однако практически, для целей типологического сравнения, она мало пригодна из-за излишней сложности, а главное, из-за произвольности приписывания весов.

Более существенно, однако, то, что при любом способе измерения расстояния оставалось абстрактной парадигматической характеристикой, для которой трудно было предложить содержательную интерпретацию. В работе югославского романиста Ж. Мулячича, представленной фонологическому симпозиуму в Вене в 1966 г.⁴, содержится первый и, безусловно, удачный опыт синтагматической интерпретации фонологического расстояния, подтверждающий зависимость дистрибутивных особенностей фонемы от ее парадигматических характеристик (в данном случае от показателя расстояния между фонемой и другими фонемами).

В этой работе сформулировано анализ сочетаемости согласных в начале слова в сербскохорватском и итальянском языках утверждение о том, что допустимые в этих языках парные сочетания согласных удовлетворяют некоторым пределам расстояния между их составляющими, что расстояние не может быть ни слишком малым, ни слишком большим и колеблется около среднего показателя расстояния по всем парам фонем. Расстояние между фонемами измеряется по матрице парадигматической идентификации фонем способом, при котором показатель расстояния зависит от числа совпадающих и не совпадающих значений заданных ДП. Совпадению значений (+ +, - -, 00) приписывается нулевое

I. Польский язык

Матрица парадигматической идентификации согласных польского языка¹

	j	ɟ	l	l̥	n	n̥	m	m̥	r	r̥	ʋ	ʋ̥	l̥	l̥	v	v̥	t	d
1. Согласность	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Компактность	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Периферийность	0	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
4. Назальность	0	-	-	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Непрерывность	0	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-
6. Яркость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Звонкость	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	+	+	-	-	+	+	-	+
8. Палатальность	0	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-

	s	z	c	ʒ	ś	ʒ̣	ć	ʒ̣	ś	ʒ̣	ć	ʒ̣	k	k'	g	g'	x	x'
1. Согласность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Компактность	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3. Периферийность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
4. Назальность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Непрерывность	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+
6. Яркость	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	0	0	0	0	0	0
7. Звонкость	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
8. Палатальность	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+

¹ Теоретические вопросы парадигматической идентификации фонем по разным итальянским прилагам и тематика этой процедуры применительно к славянским языкам рассмотрены в работе: М. И. Леоновичева, Д. М. Сетал, Т. М. Судник, С. М. Шур. Опыт построения фонологической типологии близкородственных языков, сб. «Славянское языкознание. Доклады советской делегации к V Международному съезду славистов», М., 1963.

² G. E. Peterson, Fr. Hagar, Foundations of phonemic theory, «Structure of language and its mathematical aspects» (Proceedings of Symposium in applied mathematics, XII), Providence, 1964.

³ Z. Mujačić, La combinabilité des phonèmes sur l'axe syntagmatique, dépend-elle de leurs traits distinctifs?, «Phonologie der Gegenwart», Graz — Wien — Köln, 1967.

Таблица 1

Группировка начальных и конечных консонантных пар польского языка
в зависимости от показателя расстояния¹

Расстояние	Число теор. пар	Число начальных пар	Число конеч. пар	Начальные пары	Конечные пары
0	36	7	0	vv ss zz śś źź čč ǰǰ	—
1	0	0	0	—	—
2	51	13 (12)	5	mn fp ix vb vv' st śś zd zǰ čč kp gb xl	rl ra ma st xl
3	13	9 (8)	6	pt fs vz db sf zv gb čk xś	pt pe sf śx kč xś
4	74	18 (15)	13 (10)	in' mr mn' px fp' fk vb' vg tś dǰ sc śt śč čt kp' kf gv xl'	rl ra' rm ln ln' mr mp tś čč śt śč čt kf
5	61	39 (26)	15 (11)	rt rd rǰ lz bč ft fc fś vd vǰ tr tn tǰ tk dr dn dv st sp sf' sx zl zb zv' cu cf žv śl' śl' śk zv žg kt kč kś gd gǰ gǰ ps	rt re nt ne ps pč tr ft tǰ dr sl sp zl čp kt
6	88	20	11 (10)	lj ln lv' ml pr pn br fč' vl vm vg' sč zǰ śč śǰ km kf' gm gv' xj	jm jk rp ln' lm lf mf pr br śč gm
7	109	47 (42)	24 (21)	lǰ pś bǰ lś fč vǰ tǰ tn' tǰ' tx dt dn' dm dv' sr sl sn sp' sk zr zl zn zb' zg cl cn' śl śp' śl čp čf' žv' śl śp śl' śk' žl žv' čn čp' čf ks kś gz gǰ xc xč	js jč js rs rč lt ls ls ns nč n'č pč pč tl tn dl dm sk zn śl śf śp ks xt
8	69	25 (21)	15 (12)	rv lb lv ml mg' mx pl pu' bl fj fr fl vj vr vl vn vm' zǰ kr kn km' gr gu xl xm	jp rf rk lp lm lf ml nk n'p mx pu' fr fi vr xl
9	88	31 (29)	21 (19)	rǰ lǰ lǰ pś bǰ fč vǰ lj dj dl dm' sm sk' zǰ zn' zm zg' cl śn' čm' śr śl śn śp' žr žl žn žb' čl čm žv'	jt js jc rč rś čč lt lc lś nś n'ś n'č ms mč fč dl sm zm zn' śp śn'
10	30	14 (12)	9 (6)	rv' lb' lk lg pl bl vn' kl kn' gl gu' xr xl xm'	rx lk lp lx ux pl kl gl xr

Таблица 1 (продолжение)

Расстояние	Число теоретич. пар	Число начальных пар	Число конечн. пар	Начальные пары	Конечные пары
11	32	11 (9)	6	mž mž zm' žr šm' žr čm šm žn' žm' čm'	rš řš lš mš žm čm
12	6	2	3 (2)	kl g'	řk kl g'
13	4	2	2 (1)	šm' žm'	mš šm

¹ Для корректного сравнения реальных консонантных пар с теоретически возможными необходимо учесть, что среди реальных представлено значительное количество симметричных пар (например, *ob* и *bo*), характеризующихся, естественно, одним и тем же расстоянием. Поэтому здесь и далее в скобках приводятся цифры, определяющие количество консонантных пар каждого типа таким образом, что симметричные пары учитываются как одна пара.

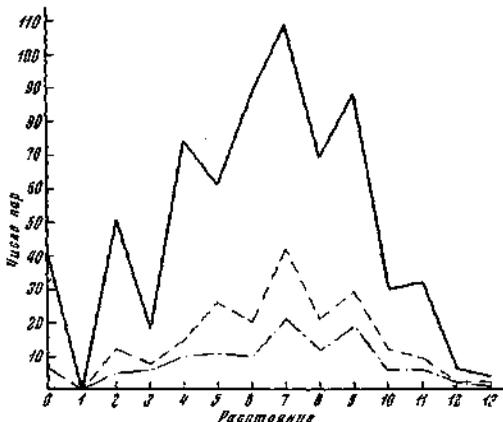


Рис. 1. Зависимость числа консонантных пар с одинаковым расстоянием от величины этого расстояния в вольском языке

наоборот, подобная симметричность явно избегается в одной и той же позиции слова². С точки же зрения расстояния эти две пары тождественны; следовательно, расстоянием не может быть объяснено допущение одной и недопущение другой.

В то же время, если бы оказалось, что сочетания, характеризующиеся расстоянием, нарушающим в ту или иную сторону установленный порог, действительно, не реализуются в фонологических системах, то этот вывод

² Ср. выводы Б. Сигурда об асимметрии как наиболее существенном правиле сочетаемости в шведском языке (B. S i g u r d, Rank order of consonants established by distributional criteria, «Studia Linguistica», IX, 1, Lund — Copenhagen, 1955). В славянских языках это правило не абсолютно. Можно говорить лишь о тенденции к асимметричности, проявляющейся в разной степени в разных языках и в разных позициях (начало, середина, конец слова) в одном и том же языке. Подробнее см.: С. М. Толстая, Сочетаемость согласных в связи с фонологической структурой слова в славянских языках, «Советское славяноведение», 1968, 1.

II. ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК

Матрица парадигматической идентификации согласных чешского языка

	j	ř	l	n'	m	p	b	f	v	t'	d'	s	z	š	ž	č	k	g	x	h	
1. Согласность	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2. Компактность	+	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Периферийность	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4. Яркость	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Непрерывность	0	---	+	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6. Назальность	0	---	---	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Звонкость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Палатальность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Матрица расстояний между согласными чешского языка

j	0
ř	6 0
l	6 2 0
n'	5 3 3 0
m	6 4 4 5 0
p	6 4 4 5 2 0
b	5 5 5 6 3 3 0
f	7 7 7 8 7 7 4 0
v	7 7 7 8 7 7 4 2 0
t'	7 7 9 6 9 9 6 2 4 0
d'	7 7 9 6 9 9 6 4 2 2 0
s	9 5 7 8 5 7 8 4 6 6 8 0
z	9 5 7 8 5 7 8 4 6 6 8 2 0
š	9 5 7 8 7 5 8 6 4 8 6 2 4 0
ž	9 5 7 8 7 5 8 6 4 8 6 4 2 2 0
č	8 6 8 5 8 8 9 5 7 3 5 3 3 5 5 0
k	8 6 8 5 8 8 9 7 5 5 3 5 5 3 3 2 0
g	8 6 4 7 6 6 7 3 5 5 7 3 3 5 5 4 6 0
x	6 8 10 7 10 10 11 7 9 5 7 5 5 7 7 2 4 6 0
h	6 8 10 7 10 10 11 9 7 7 5 7 7 5 5 4 2 8 2 0
	6 8 6 9 8 8 9 5 7 7 9 5 5 7 7 6 8 2 4 6 0
	5 9 9 10 9 9 6 2 4 4 6 6 6 8 8 7 9 5 5 7 3 0
	5 9 9 10 9 9 6 4 2 6 4 8 8 6 6 9 7 7 7 5 5 2 0
	5 11 11 8 11 11 8 4 6 2 4 8 8 10 10 5 7 7 3 5 5 2 4 0
	5 11 11 8 11 11 8 6 4 4 2 10 10 8 8 7 5 9 5 3 7 4 2 2 0

j ř l n' m p b f v t' d' s z š ž č k g x h

был бы очень полезен сам по себе, хотя он определил бы только часть избегаемых в языке сочетаний. Остальные недопустимые комбинации, которые в отношении расстояния не нарушают действительных для данного языка пределов, потребуют каких-то дополнительных ограничительных правил.

Другой проблемой, возникающей в связи с фонологическим расстоянием, является установление зависимостей расстояний между парами фонем в последовательностях, состоящих из трех и более элементов, поскольку фонологическое расстояние не обязательно удовлетворяет условию $\rho(a, b) + \rho(b, c) = \rho(a, c)$, где ρ — расстояние, a, b, c — фонемы⁶.

⁶ Хотя оно удовлетворяет условию $\rho(a, b) + \rho(b, c) \geq \rho(a, c)$, как и остальным признакам метрического расстояния.

Таблица 2

Группировка начальных и конечных консонантных пар чешского языка в зависимости от показателя расстояния

Расстояние	Число теор. конс. пар	Число нач. пар	Число кон. пар	Начальные пары	Конечные пары
0	25	1	0	ss	—
1	0	0	0	—	—
2	23	8	0	fp ix vb vh sš zž gb hv	
3	16	14 (12)	4	mn mn' ls vz sf st st' zv zd zd' ep et' žh žk	st et st' xš
4	29	9	6	fk pt px hd' db se gv xv hb	rn rn' mp pt pt' fk
5	50	41 (32)	12 (10)	jn jh rm rt rt' rd rd' ln la' lz maj mr mf' fc fš vž ps bz tr tn dr dn dž sl sv sp sx zl zb zh ek št št' šk žv žd žd' ep et' kš	rm sp rt nt št rt' št' ls ps tá jk jx
6	40	21 (15)	11	rc rz lv ml mk fl ft ft' vl vm vd vd' tk dv sr se zr km kv kt gd	jn lm lf mf ft kt rs re ne js jš
7	50	33 (28)	9 (7)	rv lz fj fr fš vj vr pj pr pš pn pn' pš bj br bf bž tj tn' d'f dn' sk zg cl em ev šl šv žl žb ks xc šp	př tš ep jř rř kš lc sk
8	42	31 (26)	10	js rš rš' lp lb lh mh pl bl tl tm tv tx di dm sj sf sn sn' zj zř zn zn' šr žr žn' xl xm xt' hl hm	dm xm it xt xt' js ns rš nš lx
9	28	19 (17)	5	jd jd' řv řk řn' vř vn vn' sm zm žl žm čv kr kř kn kn' gr ga	sm jt jř rk nk
10	12	7 (6)	2	lk šn šn' žn žn' kl gl	nš lk
11	10	11 (9)	2	mš mš' šm žm xr xř xn' hr hř hn hn'	mš n'x

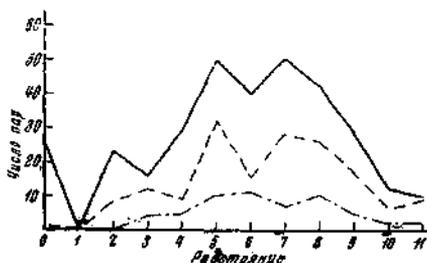


Рис. 2. Зависимость числа консонантных пар с одинаковым расстоянием от величины этого расстояния в чешском языке

III. Русский язык

Матрица парадигматической идентификации согласных русского языка

	j	г	г'	л	л'	п	п'	м	м'	т	т'	д	д'	з	з'	с
1. Согласность	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+
2. Компактность	+	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
3. Периферийность	0	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Непрерывность	0	—	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	—
5. Яркость	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	+
6. Назальность	0	—	—	—	+	+	+	+	—	—	—	—	0	0	0	0
7. Звонкость	0	0	0	0	0	0	0	0	—	+	+	—	—	+	+	—
8. Палатальность	0	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—

	р	р'	б	б'	ф	ф'	в	в'	з	з'	ж	ж'	ц	к	к'	г	г'	х	х'
1. Согласность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Компактность	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3. Периферийность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4. Непрерывность	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—
5. Яркость	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	+	+	0	0	0	0	0	0	0
6. Назальность	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Звонкость	—	—	+	+	—	—	+	+	—	—	+	+	—	—	+	+	—	—	—
8. Палатальность	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—

Иными словами, если расстояние накладывает какие-то ограничения на сочетаемость фонем, то важно было бы определить, действуют ли эти ограничения только в парных сочетаниях или они контролируют также и структуру более протяженных последовательностей.

Разумеется, все перечисленные здесь вопросы имеют смысл лишь при условии, что закономерность, отмеченная Ж. Мулячицем в сербскохорватском и итальянском языках, распространяется и на другие языки и носит, таким образом, типологический или даже универсальный характер.

В настоящей статье гипотеза Ж. Мулячича проверяется на материале пяти славянских языков: польского, чешского, русского, сербскохорватского и болгарского, причем анализу подвергаются только консонантные сочетания, допустимые в этих языках в начале и на конце слова⁷. Расстояние между фонемами измеряется по матрице парадигматической иденти-

⁷ Инвентари начальных и конечных консонантных групп устанавливались на основании следующих источников. Польский язык: М. Bargiełówna, Grupy fonemów spółgłoskowych współczesnej polszczyzny kulturalnej, «Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego», X, 1950; «Słownik języka polskiego» pod red. W. Doroszewskiego, I—VIII, Warszawa, 1958—1966; «Index a tergo do Słownika języka polskiego S. B. Lindęgo», Warszawa, 1965. Чешский язык: «Průčnický slovník jazyka českého», I—VIII, Praha, 1935—1957; «Slovník spisovného jazyka českého», Praha, I—1960, II—1964; «Pravidla českého pravopisu», Praha, 1966; Adam — Jaroš — Holub, «Český slovník pravopisný a tvaroslovný», Praha, 1954. Русский язык: «Словарь русского литературного языка», I—IV, М., 1957—1961; «Русское литературное произношение и ударение», М., 1955; Н. Н. Вильфелдт, Rückläufiges Wörterbuch der russischen Sprache der Gegenwart, Berlin, 1958. Сербскохорватский язык: С. Ристић, Ј. Кандурга, Речник српскохрватског и немачког језика, Београд, 1928; Ј. Дауге, М. Деаковић, Р. Маић и Е. Нраватско-француски рјечник, Загреб, 1956; И. И. Толстой, Сербскохорватско-русский словарь, М., 1958; М. Вујадлија, Лексикон српских речи и израза, Београд, 1954; «Правопис српскохрватскога књижевног језика са правописним речником», Нови Сад — Загреб, 1960; Ј. Матешић, Rückläufiges Wörterbuch des Serbokroatischen, I—1965, II—1966, III, IV—1967. Болгарский язык: «Речник на съвременния български книжовен език», I—III, София, 1955—1959; В. З. Савинков, Обратный словарь болгарского языка, М., 1967 (рукопись).

Матрица расстояний между согласными русского языка

j	0
r	6 0
r'	6 2 0
l	6 2 4 0
l'	6 4 2 2 0
n	6 2 4 4 8 0
n'	6 4 2 6 4 2 0
m	6 4 6 6 8 2 4 0
m'	6 6 4 8 6 4 2 2 0
t	10 4 6 6 8 6 8 8 10 0
t'	10 6 4 8 6 8 6 10 8 2 0
d	10 4 6 6 8 6 8 8 10 2 4 0
d'	10 6 4 8 6 8 6 10 8 4 2 2 0
s	9 7 9 5 7 7 9 9 11 3 5 5 7 0
s'	9 9 7 7 5 9 7 11 9 5 3 7 5 2 0
z	9 7 9 5 7 7 9 9 11 5 7 3 5 2 4 0
z'	9 9 7 7 5 9 7 11 9 7 5 5 3 4 2 2 0
c	8 6 6 8 8 6 6 8 8 4 4 6 6 5 5 7 7 0
p	9 5 7 7 9 7 9 5 7 3 5 5 7 6 8 8 10 5 0
p'	9 7 5 9 7 9 7 7 5 5 3 7 5 8 6 10 8 5 2 0
b	9 5 7 7 9 7 9 5 7 5 7 3 5 8 10 6 8 7 2 4 0
b'	9 7 5 9 7 9 7 7 5 7 5 5 3 10 8 8 6 7 4 2 2 0
f	8 8 10 6 8 8 10 6 8 6 8 8 10 3 5 5 7 6 3 5 5 7 0
f'	8 10 8 8 6 10 8 8 6 8 6 10 8 5 3 7 5 6 5 3 7 5 2 0
v	8 8 10 6 8 8 10 6 8 8 10 6 8 5 7 3 5 8 5 7 3 5 2 4 0
v'	8 10 8 8 6 10 8 8 6 10 8 8 6 7 5 5 3 8 7 5 5 3 4 2 2 0
š	9 9 11 7 9 9 11 11 13 5 7 7 9 2 4 4 6 7 8 10 10 12 5 7 7 9 0
š'	9 11 9 9 7 11 9 13 11 7 5 9 7 4 2 6 4 7 10 8 12 10 7 5 9 7 2 0
ž	9 9 11 7 9 9 11 11 13 7 9 5 7 4 6 2 4 9 10 12 8 10 7 9 5 7 2 4 0
ž'	9 11 9 9 7 11 9 13 11 9 7 7 5 6 4 4 2 9 12 10 10 8 9 7 7 5 4 2 2 0
č	6 8 8 10 10 8 8 10 10 6 6 8 8 7 7 9 9 2 7 7 9 9 8 8 10 10 5 5 7 7 0
č'	8 8 10 10 12 8 10 6 8 6 8 8 10 7 9 9 11 6 3 5 5 7 4 6 6 8 5 7 7 9 4 0
k	8 10 8 12 10 10 8 8 6 8 6 10 8 9 7 11 9 6 5 3 7 5 6 4 8 6 7 5 9 7 4 2 0
g	8 8 10 10 12 8 10 6 8 8 10 6 8 9 11 7 9 8 5 7 3 5 6 8 4 6 7 9 5 7 6 2 4 0
g'	8 10 8 12 10 10 8 8 6 10 8 8 6 11 9 9 7 8 7 5 5 3 8 6 8 4 9 7 7 5 6 4 2 2 0
x	6 10 12 8 10 10 12 8 10 8 10 10 12 5 7 7 9 8 5 7 7 9 2 4 4 6 3 5 5 7 6 2 4 4 6 0
x'	6 12 10 10 8 12 10 10 8 10 8 12 10 7 5 9 7 8 7 5 9 7 4 2 6 4 5 3 7 5 6 4 2 6 4 2 0

j r r' l l' n n' m m' t t' d d' s s' z z' c p p' b b' f f' v v' š š' ž ž' č k k' g g' x x'

фикации тем же способом, что и в работе Ж. Муляница. Для каждого языка приводятся: 1) исходная матрица парадигматической идентификации согласных, 2) матрица расстояний между всеми парами согласных, 3) таблица распределения зафиксированных в языке начальных и конечных консонантных пар по классам в зависимости от показателя расстояния n, наконец, 4) график, сопоставляющий численность полученных классов для начала (пунктир) и конца (штрих-пунктир) слова друг с другом и с соответствующими теоретическими показателями (сплошная линия).

Попытаемся сопоставить полученные по каждому языку данные. В табл. 6 и 7 указано число начальных и конечных консонантных пар каждого языка, характеризующихся расстоянием от нуля до 13.

Таблица 3

Группировка начальных и конечных консонантных пар русского языка в зависимости от показателя расстояния

Расстояние	Число теор. возм. пар	Число нач. пар	Число кон. пар	Начальные пары	Конечные пары
0	37	7	0	ss s's' zz vv v'v' šš žž	
1	0	0	0		
2	44	3	7 (4)	mn nr fx	nr r' ma ra nm xi fx
3	22	13 (10)	5	vb vz dz st s't' sf zv zd z'd' pt fp fs šx	sf pl st pt s't'
4	50	10 (8)	8 (6)	rt l'n' mu' mv' vg tr dr fk gv xv	dr mr tr lr rn' kf rt fk
5	78	26 (24)	15 (11)	vb' vž' vz' dž sv sl sf' sx sc zv' zi pr pt' pf' px hd' br fp' fs' šš žk št šx' žv žg žd	br pr zi sl šf št ls l's' mp rp t'p jp kš tš fš
6	85	33 (30)	32 (27)	rd' rt' r'j l'd' l'j ag ml' mr' vg' vd' vl' vm tk tr' dv' dl' da dr' sp zb ps fl ft fk' fe čt čt' čx čj kv kt gv' gd	je tr' j' dl' tl' j'l' jn da vm gn jm lm rm fm rm' tl' fl' ml' kl' ft lt nt kt čt ps ne re sp tč jx rt' l'v'
7	102	29 (26)	18 (14)	lb lž' l's' tš' sv' sk sl' su sr sx' sč zl' zu zr zg pn pl pr' pč bl br šv šk' šl' šv' žg' žd' žl' gz	br' pr' bl pl šl sl' zn z'n' s'n' ks l's ns še lp r'p rp' št' sk
8	107	44 (38)	32 (27)	rv l'd mg' ml' mx vd' vl' vn vr v'j tv tk' tl' t'm' dv' dl' dv' sp' zb' cv' ps' pš bž fl' fr ft' fč f'j čr' šp žb kv' km' ku kv kt' kj gd' gm' gn gr xl xm l'v'	vr gr fr kr xl vl' gn vn tm xm l'm rf čf l'f j' l'f' t'f' l'č xt mt je l'č šp s'p rč n'č tx lt' ft' nk rk ml'
9	74	22 (21)	14 (11)	rž lb' sk' sm sn' sr' s'j zg' zr' pn' p'j bl' pl' b'j šv' šl' šn šr šj žn žr ks'	bl' pl' šl' zm sm ms js rs' l'p nš rš l'š jš lš'
10	66	24 (22)	14 (12)	rv' lg mx' mč vn' vr' tv' tm' t'm fr' čv čl' čm šp' kl' kn' kr' gl' gn' gr' xl' xm' xn xr	xr gl' kl' gn' d'm dm' rt' jt ps' rx l'x nx jt' ik
11	20	9 (8)	4 (3)	mš sm' zm' šm šn' šr' žn' žm žr'	šm žm mš rš'
12	14	5 (4)	4 (3)	lg' l'g kl' gl' xr'	xr' gl' kl' l'k
13	4	3 (2)	0	mš' šm' žm'	

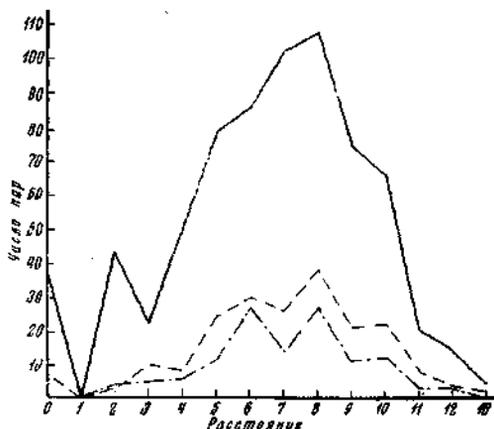


Рис. 3. Зависимость числа консонантных пар с одваковым расстоянием от величины этого расстояния в русском языке

IV. Сербскохорватский язык¹

Матрица парадигматической идентификации согласных сербскохорватского языка

	j	r	l	l'	n	n'	m	p	b	f	v	t	d	s	z	c	š	ž	č	ć	đ	ǰ	k	g	x
1. Согласность	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Компактность	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Периферийность	0	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	
4. Яркость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	+	—	—	—	—	—	+	+	0	0
5. Непрерывность	0	—	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	+
6. Назальность	0	—	—	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Звонкость	0	0	0	0	0	0	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	+
8. Палатадность	0	0	—	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	+	+	0	0	0

¹ Сербскохорватский язык рассматривается в его вкраинском и екавском вариантах. В интересующем нас отношении расхождения между этими вариантами ограничиваются составом начальных консонантных групп, а то время как конечные системы в одном и в другом случае совпадают. Поэтому в дальнейшем описываются две особых начальных системы, противопоставленные одной конечной системе. Отметим, что термины начальная и конечная системы употребляются здесь вслед за Дж. Гриппбергом (см.: Дж. Гриппберг, Некоторые обобщения, касающиеся возможных начальных и конечных последовательностей согласных, ВЯ, 1964, 6).

Как видно из таблиц, наибольшее число консонантных пар (соответствующие диффы в таблицах выделены) приходится в начальной системе на расстояние 7 (польский, сербскохорватский в его обоих вариантах), 8 (русский, болгарский и сербскохорватский екавский) и 5 (чешский); в конечной системе — на расстояние 6 (чешский, русский, болгарский), 7 (польский) и 8 (сербскохорватский и русский). Вообще наибольшей продуктивностью во всех начальных и конечных системах отличаются сочетания с расстоянием от 5 до 10, наименьшей — с расстоянием ниже 5 и выше 10. Таким образом, приведенный здесь материал подтверждает вывод Ж. Муляча о преимущественной реализации сочетаний со средним

Таблица 4 (продолжение)

Расстояние	Число твор. возм. пар	Число нач. пар (ек.)	Число нач. пар (ек.)	Число кон. пар	Начальные пары	Конечные пары
8	41	17	23	16	fr vr tl dl sj sn zj šr šl šl' žr žl čr žy kr gr xm (tj) dl' dj sn' ej žl')	dl rv lt jd ld ns js jz nz je lc rš lš rž rk rg
9	33	11	12	8	pl pl' bl bl' sm čl kn kn' gu gu' xl (xl')	pl bl vu lp nf ms nk ng
10	13	6	6	3	šn šn' žn' žm čv xr	nš nž rx
11	12	6	6	4 (3)	šm žm kl kl' gl gl')	gl kl nx lk

В круглые скобки заключены консонантные пары, известные только сербскому варианту сербскохорватского языка; в косые скобки — пары, специфические для охридского варианта.

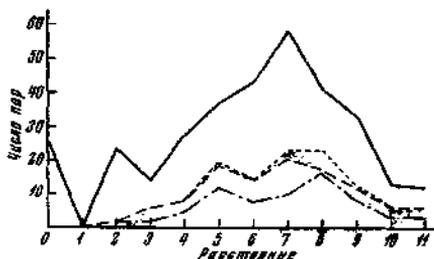


Рис. 4. Зависимость числа консонантных пар с одинаковым расстоянием от величины этого расстояния в сербскохорватском языке

V. Болгарский язык

Матрица парадигматической идентификации согласных болгарского языка

	j	r	r'	l	l'	n	n'	m	m'	p	p'	b	b'	i	f	v	v'	t	č
1. Согласность	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Компактность	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Периферийность	0	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—
4. Непрерывность	0	—	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Назальность	0	—	—	—	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Яркость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
7. Звонкость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	+	+	—	—	+	+	—	—
8. Палатальность	0	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+

	d	d'	s	s'	z	z'	c	c'	ž	ž'	š	š'	k	k'	g	g'	x	x'
1. Согласность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Компактность	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Периферийность	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+
4. Непрерывность	—	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Назальность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Яркость	—	—	—	—	—	+	+	+	—	—	+	+	0	0	0	0	0	0
7. Звонкость	+	+	—	+	+	—	—	—	—	+	+	—	—	+	+	—	—	—
8. Палатальность	—	+	—	+	—	+	—	+	0	0	0	0	0	—	+	—	+	—

Матрица расстояний между согласными болгарского языка

j	0
г	6 0
г'	6 2 0
л	6 2 4 0
л'	6 4 2 2 0
н	6 2 4 4 6 0
н'	6 4 2 6 4 2 0
м	6 4 6 6 8 2 4 0
м'	6 6 4 8 6 4 2 2 0
р	8 6 8 8 10 6 8 4 6 0
р'	8 8 6 10 8 8 6 6 4 2 0
б	8 6 8 8 10 6 8 4 6 2 4 0
б'	8 8 6 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0
ф	8 8 10 6 8 8 10 6 8 2 4 4 6 0
ф'	8 10 8 8 6 10 8 8 6 4 2 6 4 2 0
в	8 8 10 6 8 8 10 6 8 4 6 6 4 2 4 0
в'	8 10 8 8 6 10 8 8 6 6 4 4 6 4 2 2 0
ц	9 5 7 7 9 5 7 7 9 3 5 5 3 5 7 7 9 0
ц'	9 7 5 9 7 7 5 9 7 5 3 3 5 7 5 9 7 2 0
д	9 5 7 7 9 5 7 7 9 5 7 3 5 7 9 5 7 2 4 0
д'	9 7 5 9 7 7 5 9 7 7 5 5 3 9 7 7 5 4 2 2 0
с	9 7 9 5 7 7 9 9 11 5 7 7 9 3 5 5 7 2 4 4 6 0
с'	9 9 7 7 5 9 7 11 9 7 5 9 7 5 3 7 5 4 2 6 4 2 0
з	9 7 9 5 7 7 9 9 11 7 9 5 7 5 7 3 5 4 6 2 4 2 4 0
з'	9 9 7 7 5 9 7 11 9 9 7 7 5 7 5 5 3 6 4 4 2 4 2 2 0
ш	9 5 7 7 9 5 7 7 9 3 5 5 7 5 7 7 9 2 4 4 6 4 6 6 8 0
ш'	9 7 5 9 7 7 5 9 7 5 3 7 5 7 5 9 7 4 2 6 4 6 4 8 6 2 0
ж	8 6 6 8 8 6 6 8 8 6 6 4 4 8 8 6 6 5 5 3 3 7 7 5 5 3 3 0
ж'	6 10 10 8 8 10 10 12 12 8 8 10 10 6 6 8 8 5 5 7 7 3 3 5 5 7 7 8 0
ш	8 10 10 8 8 10 10 12 12 10 10 8 8 8 8 6 6 7 7 5 5 5 3 3 9 9 6 2 0
щ	6 8 8 10 10 8 8 10 10 6 6 8 8 8 8 10 10 5 5 7 7 7 7 9 9 3 3 4 4 6 0
щ'	6 8 8 10 10 8 8 10 10 8 8 6 6 10 10 8 8 7 7 5 5 9 9 7 7 5 5 2 6 4 2 0
к	8 8 10 10 12 8 10 6 8 2 4 4 6 4 6 6 8 5 7 7 9 7 9 9 11 5 7 8 6 8 4 6 0
к'	6 10 8 12 10 10 8 8 6 4 2 8 4 6 4 8 6 7 5 9 7 9 7 11 9 7 5 8 6 8 4 6 2 0
г	6 8 10 10 12 8 10 6 8 4 6 2 4 6 8 4 6 7 9 5 7 9 11 7 9 7 9 8 6 8 6 4 2 4 0
г'	6 10 8 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 8 6 6 4 9 7 7 5 11 9 9 7 9 7 6 8 6 6 4 4 2 2 0
х	6 10 12 8 10 10 12 8 10 4 6 6 8 2 4 4 6 7 9 9 12 5 7 7 9 7 9 10 4 8 6 8 2 4 4 6 0
х'	6 12 10 10 8 12 10 10 8 6 4 8 6 4 2 6 4 0 7 11 9 7 5 9 7 9 7 10 4 6 6 8 4 2 6 4 2 0

j r r' l l' n n' m m' p p' b b' f f' v v' c c' d d' s s' z z' c c' š š' ž ž' k k' g g' x'

Таблица 5

Группировка начальных и конечных консонантных пар болгарского языка в зависимости от показателя расстояния

Расстояние	Число теор. возм. пар	Число нач. пар	Число кон. пар	Начальные пары	Конечные пары
0	38	0	0	—	—
1	0	0	0	—	—
2	50	6	6 (4)	nr mn fp fx st zd	nr rl rn mn nm st
3	22	6 (4)	3	pt bd fs vz sf zv	sf pt sš

Таблица 5 (продолжение)

Расстояние	Число теор. возм. пар	Число лат. пар	Число кон. пар	Начальные пары	Конечные пары
4	74	7 (6)	3	nr vg st' se gv xv lk	ln rm mp
5	72	23 (20)	9	ps hd' ft fs' fe vd tr tk dr da sl sp sv sx zl zb xv' cr št št' kt gd dv	rt nt ft št kt ls ps rc nc
6	117	18 (17)	11	nr' ml pr pa pē br fl fš vl vm vb vž žv' šk žv km kv gm	jl ju jma lm rp lf ml fš mk šk jx
7	104	19	7 (6)	vd' tr' tl tm ty dr' dl sr sl' sn sp' sv' sē sk zr zn zž zg cv	lt xl rs ns ks lc sk
8	106	25 (23)	9	rv ml' pr' pl' pš br' fr l' fē vr v' vn vm' šl šl' šp šv žl čr kr kn gr gn xl xm	vn lp jf rf fš rē wē rk nk
9	72	6	3	sr' sn' sm zr' zm cv'	jt js jc
10	58	16	5	pl' bl' vr' žr šn žr šl čm čv kr' kl gr' gl gu' xr xl'	rš nš lk rx ax
11	10	1	0	sm'	—
12	12	5	0	šm žm žm' kl' xr'	—

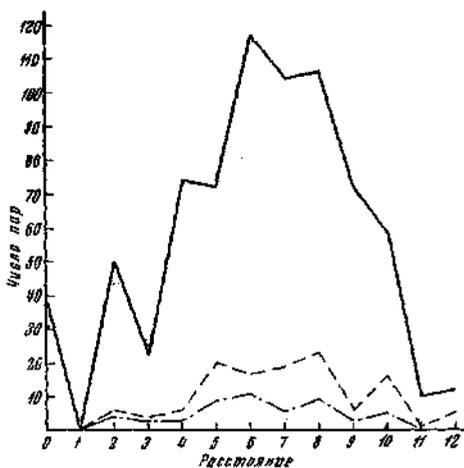


Рис. 5. Зависимость числа неслоговых пар с одинаковым расстоянием от величины этого расстояния в болгарском языке

Таблица 6

		Начало слова												
Расстояние	Язык	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Польский	7	12	8	15	26	20	42	21	29	12	9	2
Чешский	1	8	12	9	32	15	23	26	17	6	9	—	—	
Русский	7	3	10	8	24	30	26	36	21	22	8	4	2	
Серб.-хорв. (ак.)	—	2	6	8	18	14	20	17	11	6	6	—	—	
Серб.-хорв. (вк.)	—	2	6	8	19	14	23	23	12	6	6	—	—	
Болгарский	—	6	4	6	20	17	19	23	6	16	1	5	—	

Таблица 7

		Конец слова												
Расстояние	Язык	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Польский	—	5	6	10	11	10	21	12	19	6	6	2
Чешский	—	—	4	6	10	11	7	10	5	2	2	—	—	
Русский	—	4	5	6	11	27	14	27	11	12	3	3	—	
Серб.-хорв.	—	2	2	5	12	8	10	16	8	3	3	—	—	
Болгарский	—	4	3	3	9	11	6	9	3	5	—	—	—	

показателем расстояния по сравнению с сочетаниями, имеющими минимальный или максимальный показатель. В то же время нельзя не обратить внимания на тот факт, что численное соотношение классов парных консонантных сочетаний, выделенных по общему расстоянию, в целом совпадает с тем, которое устанавливается для всех теоретически возможных в данном языке консонантных пар (ср. графики). Этот факт несколько снижает ценность правила, сформулированного Ж. Муличичем, поскольку он уже не позволяет считать его собственно дистрибутивным ограничением.

М. МОЛЛОВА

ОПЫТ ФОНЕТИЧЕСКОЙ (КОНСОНАНТИЧЕСКОЙ)
КЛАССИФИКАЦИИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ
ОГУЗСКОЙ ГРУППЫ *

Исследуя турецкие га-диалекты на Балканах в их отношениях к прочим тюркским языкам¹, мы уделили преимущественное внимание употреблению веларных гуттуральных в начальной позиции: по этому признаку тюркские языки и диалекты огузской группы можно разделить на две группы — ка- и га-группы.

1. Для га-группы характерно использование начального *g*. К этой группе относятся азербайджанский язык с его диалектами в Советском Союзе и Иране, туркменский и его диалекты, анатолийско-турецкие диалекты, балканско-турецкие га-диалекты (из последних один диалект размещается в Восточных Родопях — в Болгарии и в Греции; другой — в округе Елена, в Балканских горах; третий диалект, переходный между двумя названными группами, — в Тузлуке) и, наконец, турецкий диалект на Кипре.

Звонкость веларного гуттурального в начальной позиции не является, однако, одинаково всеобъемлющей для га-группы, которая по степени распространения этого признака подразделяется на две подгруппы.

1) Подгруппа, характеризующаяся всеохватывающей звонкостью начального гуттурального, включает в себя азербайджанский с его диалектами² (кроме казахского диалекта), анатолийско-турецкие диалекты³

* Настоящая статья основывается на результатах еще не опубликованного исследования турецкого диалекта Восточных Родоп.

¹ M. Mollova, Les ga-dialectes turcs dans les Balkans et leur rapport avec les autres langues turques, «Linguistique Balkanique», IV, Sofia, 1962.

² Азербайджанские диалекты на территории Советского Союза изучены лучше всех других диалектов огузской группы. Из использованных нами работ назовем следующие: М. Ш. Ширванов, Баки диалекти, 2-нчи чыгы, Баки, 1957; е го же, Азербайжан диалектологиясынын اساسлары, Баки, 1962; е го же, Шаббуз шивадаринин фонетикасы, «Труды Ин-та литературы и языка им. Низами [АН АзербССР]», (Серия языкознания), VIII, Баку, 1957; е го же, Azərbaycan dili dialektlerinin Türk dili dialektleri ile müqayiseli öyrənilməsi (fonetik materiallar əsasında), «VIII Türk Dil Kurultayında okunan bilimsel bildirilər. 1957», Ankara, 1960; А. Русевцов, Азербайжан диалектологиясы, Баки, 1958; «Азербайжан дилинин Мугань групу шивадарин», Баки, 1955; А. Г. Велов, Некоторые фонетические особенности переходных говоров азербайджанского языка (На материале географических переходных говоров), «Вопросы диалектологии тюркских языков», II, Баку, 1960; «Азербайджанско-русский словарь», сост. Х. А. Азызов, Баку, 1965; «Азербайжан дилинин диалектологик лугети», редакторлары: Р. Ф. Русевцов, М. Ш. Ширванов, Баки, 1964.

³ Для детального обследования обширных малоазийских территорий размещения анатолийско-турецких диалектов с их дробностью, а с другой стороны — некоторыми унифицирующими чертами, по которым эти диалекты противопоставляются турецкому литературному языку и восточнорумелийским турецким диалектам (за исключением га-диалектов и турецких говоров юго-западной Болгарии), потребуются усилия многих диалектологов. Привлекая и изучению ряд специальных работ, мы, в основном пользовались текстами А. Джафероглу (они, к сожалению, имелись у нас не полностью): А. С. İlergüç, Sivas ve Tokat illeri ağzlarından toplanmalar, İstanbul, 1944; е го же, Doğu illerimiz ağzlarından toplanmalar, İstanbul, 1942; е го же, Kuzey-doğu

(исключение составляют говоры кыпчаков и речь некоторых других национальных меньшинств). Например: *gaga gojuŋ* «черный баран», *gyrŋ* (в Западной Анатолии — *gara, gojuŋ, gyrŋ*).

Гуттуральный звонкий в «диалектах» Кастамону, Нигда, Чанкыры представлен спирантом (*çirt* «волок»); в говоре сел. Арабджабрили (Азербайджан) употребляется вариант щелевого (фрикативного) заднеязычного звонкого *ʀ*, который по происхождению стоит очень близко к звуку «гайн» арабского языка» (*çuz* «девушка»)⁴, в языке некоторых туркменских племен Западной Анатолии тот же звук представлен ларингалом (*ga-gu* «женщина»).

2) Подгруппа, для которой звонкость веларного гуттурального в начальной позиции не является всеобъемлющей, — слова, начинающиеся как на *g*, так и на *q*, имеются в туркменском и его диалектах⁵, в казахском диалекте азербайджанского языка⁶; в балканско-турецких га-диалектах и в турецком диалекте на Кипре⁷ встречаются слова с индивидуальным *k*. Например: *ğara gojuŋ* и *gyrg, kyrg*; на Кипре — *gaga guŝ* «черная птица» и *karu* «дверь».

2. Для ка-группы характерен начальный велопалатальный *k* (*g*- встречается в ониматопах и в заимствованиях). В нее входят турецкий литературный язык⁸, остальные балканско-турецкие диалекты⁹, на-

illerimiz ağızlarından toplamalar, İstanbul, 1946; е г о ж е, Orta-Anadolu ağızlarından derlemeler, İstanbul, 1948; е г о ж е, Anadolu dialektolojisi üzerine malzeme. II, İstanbul, 1941; е г о ж е, Güney-doğu illerimiz ağızlarından toplamalar, İstanbul, 1945. См. также: К. Ф о у, Das Aidinisch-türkische, KŞz, I, 1900, стр. 177—196, 286—307; G. J a s o b, Zur Grammatik des Vulgär-Türkischen, ZDMG, 52, 1898, стр. 698—729; O. A. A k s o y, Gaziantep ağzı. I, İstanbul, 1945; Z. K o r k m a z, Güney-batı Anadolu ağızları. Ses bilgisi (fonetik), Ankara, 1956 («Ankara üniversitesi dil, tarih-coğrafya fakültesi yayınları», 114, Türk dili ve edebiyatı serisi, 11).

⁴ А. Г. Веллев, указ. соч.

⁵ Туркменский язык и его диалекты явились объектом углубленного изучения особенно с точки зрения ассимиляции согласных — здесь можно найти не только богатый фактический материал, но и чрезвычайно тонкие соображения; см.: А. П о д е л у е в с к и й, Фонетика туркменского языка, Ашхабад, 1936; е г о ж е, Диалекты туркменского языка, Ашхабад, 1936; М. Н. Х м д ы р о в, Туркмен дилини тарыхында материаллар, Ашгабат, 1962; М. Н. Х м д ы р о в, К. Б е г е н ж о в, Хазирки заман туркмен дили. Фонетика, Ашгабат, 1960; «Туркмен дилини сфалуги». М. Я. Хамзаевид умуи редакцияси биле, Ашгабат, 1962.

⁶ См.: В. Т. Джангидзе, Диалектальный говор казахского диалекта азербайджанского языка, Баку, 1935; М. Ш. Ш и р а л и е в, Проблема диалектного членения языка, «Вопросы диалектологии тюркских языков», II, стр. 100; е г о ж е, Западная группа диалектов и говоров азербайджанского языка, БЯ, 1961, 2, стр. 151.

⁷ По этому диалекту учитывались фольклорные материалы, опубликованные в работе: Н. Е г е в, Enigmes populaires turques de Chypre, «Acta Orient. Hung.», XI, fasc. 1—3, 1960.

⁸ J. D e n u, Principes de grammaire turque («turk» de Turquie), Paris, 1955, стр. 30—34, 83—87.

⁹ J. E s k m a n n, Razgrad Türk ağzı, «Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar», I, Ankara, 1950; е г о ж е, Die türkische Mundarten von Warna, KCSA, III, 2, 1941; J. N é m e s h, Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens, Sofia, 1956; е г о ж е, Die Türken von Vidin, Budapest, 1965; е г о ж е, Traces of the Turkish language in Albania, «Acta orient. Hung.», XIII, 1—2; T. K o w a l s k i, Osmanisch-türkische Dialekte, «Enzyklopädie des Islâm», IV, Leiden — Leipzig, 1934; е г о ж е, Les turcs et la langue turque de la Bulgarie du Nord-Est, Krakowie, 1933 («Prace Komisji orientalistycznej [PAU]», Nr. 16); J. K ú n o s, Materialien zur Kenntnis des rumelischen Türkisch, I, Türkische Volksmärchen aus Adakale, Leipzig — New York, 1907; G. H a z a i, Textes turcs du Rhodore, «Acta orient. Hung.», X, 2, 1960; е г о ж е, Les dialectes turcs du Rhodore, «Acta orient. Hung.», IX, 1959; Г. Х а з а в, Принос към въпроса за класификацията на балканските турски говори, «Езиковедско-этнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски», София, 1960; е г о ж е, О некоторых актуальных вопросах исследования балканско-турецких диалектов, «Linguistique Balkanique»; В. Г. Г у з е в, Описание турецкого говора села Крещра, «Linguistique Balkanique», V, 2, 1962; J. E t c k m a n n, Dinler (Makedonya) Türk ağzı, «Türk dili araştırmaları yılığı — Belleten», 1960;

Таблица 1

Различия в употреблении *b*-, *p*-; *d*-, *t*-

ка-группа	га-группа				Значение
	болг.-ка- диалекты	анатол.-турецк. диалекты	азерб.	туркм.	
<i>p</i> : <i>parmak</i> ¹ <i>rabuē/rabuē</i>	<i>b</i> : <i>barmak</i> <i>babuē</i>	<i>barmaḥ</i> <i>babuē/babuē</i>	<i>barmaḥ</i> <i>rapuē</i>	<i>barmaq</i> —	«палец» «ступня (без наблука и задника), шле- панцы»
<i>pazar</i> ¹ <i>petmez</i>	<i>bazar</i> <i>betmās</i>	<i>bazar</i> <i>bekmez</i>	<i>bazar</i> <i>bāktmāz</i>	<i>bāzar</i> —	«рынок» сорт винограда
<i>b</i> : <i>baklava</i>	<i>p</i> : <i>paḥlava</i>	<i>paḥlava</i>	<i>paḥlava</i>	—	«широкное из меда и миндаля»
<i>bučak</i> <i>bačyč</i>	<i>pučak</i> <i>pačyč</i>	<i>pučakḥ</i> <i>pačyč</i>	<i>pičakḥ</i> ² <i>ačyč</i>	<i>pubaq</i> <i>pačyq</i>	«нож» «грязь, глина»
<i>t</i> : <i>taban</i> <i>tač-</i>	<i>d</i> : <i>daban</i> <i>dač-</i>	<i>daban</i> <i>dač-/dač-</i>	<i>asban</i> ³ <i>taḥ-</i>	<i>dāban</i> <i>dač-</i>	«подорожа, ступня» «нащеплять; вотки- нуть»
<i>tan</i> <i>lane</i> <i>tarak</i>	<i>dan</i> <i>danā</i> <i>darak</i>	<i>dan</i> <i>dane</i> <i>darakḥ/daraq</i>	<i>dan</i> <i>dānā</i> <i>darakḥ</i>	<i>dān</i> <i>dāne</i> <i>daraq</i>	«заря; утро» «штуки; зерно, семя» «гребень»
<i>taš</i> <i>taš-</i>	<i>daš</i> <i>daš-</i>	<i>daš</i> <i>daš-</i>	<i>daš</i> <i>daš-</i>	<i>dāš</i> <i>dāš-</i>	«камень» «разливаться, вы- ступать на берегов»
<i>tač-/dač-</i> <i>tyrmač-</i> ¹	<i>dat-</i> <i>dyrmač-</i>	<i>dat-</i> <i>dyrmač-</i>	<i>dat-</i> <i>dyrmač-</i>	<i>dāt-</i> <i>dyrnač-</i> <i>dačta-</i>	«пробовать (на вкус)» «царапать, беспоко- ить»
<i>tyrnač</i> ¹	<i>dyrnač</i>	<i>dyrnačḥ/dyrmač</i>	<i>dyrnač</i>	<i>dyrnač</i>	«ноготь»
<i>tyrmyč</i> ¹	<i>dyrmyč</i>	<i>dyrmyčḥ/dyrmyč</i>	<i>dyrmyč</i>	<i>dyrmyč</i>	«царапина; борода»
<i>tuz</i> <i>tuzak</i>	<i>duz</i> <i>duzak</i>	<i>durna</i> <i>duzakḥ/duzak</i>	<i>durna</i> <i>duzakḥ</i>	<i>durna</i> <i>duzak</i>	«журвал» «соль» «ловушка, западня»
<i>d</i> : <i>dik-</i> <i>dök-</i>	<i>t</i> : <i>tik-</i> <i>tök-</i>	<i>tik-</i> <i>tök-</i>	<i>tik-</i> <i>tök-</i>	<i>tik-</i> <i>dök-</i>	1) «смазать»; встав- лять»; 2) «шить» «лить; сыпать»

¹ В турецком диалекте Деллиорана зафиксированы *para*, *paḥai*, *ḥymala*, *ḥyḥa*, *ḥymu*, *ḥyḥa* (е выпадает перед согласным и в конце слова, удлинит при этом предыдущую гласную).

² Наблужский диалект.

³ Турецкому литературному языку свойственно параллельное употребление некоторых слов с начальным *d*- и *t*- (по Türkçe sözlük, TDK, Ankara, 1934): *toḥač/damač* «маскорно; топан/домача» — равнозначные гроба; *toḥuḥ/damač* «бумолаца»; *toḥyḥač/damač* «спирта; топан»; *tök* «стай, насыщенный/до- насыщаться», *načevlač* «догата», *točta/dačta* «мена, обмен», *tač/damač* «коржичка, нийн», *tejer/dačter* «стрель».

⁴ Можно думать, что турецкому диалекту на Кипре свойственны те же особенности (мы могли найти только *dač* «камень», *dyč* «дернать, хватать»).

звучащие еще ка-диалектами, и гагаузский ¹⁰ Например, *kaga*, *kojin*, *kyrk*.

Дальнейшие разыскания в этой области позволяют наметить целый ряд общих черт консонантизма, которые в совокупности могут рассматривать-

S. K a k u k. Le dialecte turc de Kazanlyk, I—II, «Acta orient. Hung.», VIII, 2, 3, 1958, IX, 2, 1959; e e ж е, Die türkische Mundart von Küstendil und Michailowgrad, «Acta linguistica Hung.», XI, 3—4, 1961; а также диалектологические и фольклорные архивы, принадлежавшие Р. Молюову и М. Молловой.

¹⁰ Л. А. П о к р о в с к а я, Грамматика гагаузского языка, М., 1964; V. D r i m b a, Remarques sur les parlers gagaouzes de la Bulgarie du Nord-Est, RO, XXVI, 2, 1963; e r o ж е, Aspecte din fonetica găgăuză, «Fonetica și dialectologie», II, 1960; e r o ж е, Cercetări asupra foneticii găgăuze (I), «Studii și cercetări lingvistice», XII, 3, 1961.

ся как свидетельство того, что близость между языками и диалектами внутри ка- и га-группы неслучайна.

Перечислим эти черты, общие с одной стороны, для ка-группы, а с другой — для га-группы.

1) Употребление начальных *b, p, d, t*¹¹. Несмотря на то, что огузские языки и диалекты в этом отношении весьма единообразны, словам с начальными *b, d* в ка-группе соответствуют слова с *p, t* в га-группе и наоборот. Во всяком случае в га-группе эти согласные употребляются преимущественно в начальной позиции слов веларного класса (в приводимой ниже табл. исключения представляют несколько слов палатального класса — *petmez, dik-, dök-*). Различие по звонкости, разумеется, наиболее отчетливо прослеживается при употреблении начального *g*.

2) Мгновенные (варьируемые и смычно-целевые) согласные в конечной позиции. Для ка-группы характерно употребление только глухих мгновенных согласных в конце слова: *kyrk* «сорок», *ekmek* «хлеб», *dat* «вкус», *sahip* «хозяин» (арабск.), *йё* «три».

В га-группе конечные мгновенные согласные выступают одновременно как глухие, полуглухие или полувзвонкие¹². Например, в балканско-турецком диалекте (Восточные Родопы): *hep/hep*¹³ «все, весь, все», *nap/nađ* «как», *joŋjo* «не имеется; нет», *çoŋ/çoğ* «много; очень; весьма» (*ç/g* встречается еще в конце некоторых служебных слов); в анатолийско-турецких диалектах: *gyrg* «сорок» (Конья), *pöjüg* «большой» (Трабзон), *ekmek/ekmek* «хлеб» (Анкара), *şab* «хозяин» (Гиресун), *güllab* «дверная петля, крюк» (Орду), *gurd* «волк» (Токат); *dad* «вкус» (Трабзон), *tuğ* «бронза» (Сивас, Токат); в азербайджанском: *jaç* «масло, жир» (в конце односложных слов), *patuç* «хлопок, вата» (в восточных говорах), *denğ* «равный» (в последовательности *nğ*), *ägüd* «совет», *ağ* «голодный», *ğorab* «чулок» (*b* в конечной позиции встречается еще в односложных словах, не сохраняя при этом полностью свою звонкость); в туркменском: *bojaq* «краска» (исключения составляют диалекты гарадашлайский и адилийский, где отмечено *bojaq*, а также нохурский, кюрюнджидейский и манышский говор, где наблюдается *bojaħ*), *beç* «бек» (туркм. литерат.), *äđ* «ямья» (текинский диалект), *jaħ* «желоб» (текинский диалект). А. П. Поделуевский отмечает, что *ğ, ħ* обычно встречаются после долгих гласных.

Заметим, что в азербайджанском и его диалектах, а также в кюрюнджидейском диалекте и манышском говоре туркменского языка конечные *ç* и *ğ* в словах веларного класса реализуются как *ħ*; в азербайджанском и в его диалектах *k* в конце слов палатального класса звучит как *ħ*: *çiđäk* [çiđäħ] «цветок» (эти черты характерны также для восточноанатолийских диалектов). Кроме того, во всех азербайджанских диалектах в конце некоторых слов глухие мгновенные аспирированы — *p', t', ğ', k'* : *ip'* «нит-

¹¹ О несоследовательности в совпадении аялаутных гуттуральных и дентальных в огузских языках см.: В. М. И л и ч-С и т ы ч, Алтайские гуттуральные *k', *k', *g, «Этимология. 1964», М., 1965; е г о ж е, Алтайские дентальные: t, d, b, ВП, 1963, 6, где Иллич-Ситыч ищет троякое противопоставление в аялауте сильного глухого, слабого глухого и звонкого. В. М. Ж и р м у н с к и й (см. его «О некоторых вопросах лингвистической географии тюркских диалектов», «Тюркологический сборник», М., 1966, стр. 62—63), считает, что «... границы лексических отражений этих фонем (t, d. — М. М.) требуют каждый раз специального изучения, и в еще большей степени, чем в случае с «джокашем», акцента должна учитывать, наряду с «регулярными» случаями, также примеры на случаи «иррегулярные»».

¹² В соответствии с орфографией тюркских языков в обратном порядке числе слов допускается употребление звонких *d, b, c* [ğ] в конечной позиции (*ad* «ямья», «с голодный», *kab* «желоб») для того, чтобы избежать совпадений с корреспондирующими словами, выходящими на конце на глухие согласные; однако эта звонкость в произношении не соблюдается.

¹³ Полувзвонкие согласные мы обозначаем *g, b, d, k*, полуглухие — *p, t, k*.

ка», *süt* «молоко», *üç* «три» (баннинский диалект), *inek* «корова» (гянджинский диалект).

3) Глухой гуттуральный фрикативный γ . ка-группа этого звука в настоящее время не имеет. В турецком литературном письменном языке γ всего лишь графический знак, указывающий на существование этого звука в прошлом. По характеру реализации γ ка-группа делится на две подгруппы.

а) Подгруппа, где γ исчез, придав часто долготу предшествующему гласному; сюда относятся турецкий литературный язык, гагаузский, турецкие диалекты Восточной Румелии: *aač/äč* < *aγač* «дерево», *jä* < *jaγ* «масло»; жир».

б) Подгруппа, в которой внаутный γ реализуется как *g*, а конечный γ — как *k* и *g*. Сюда относятся западнорумелийские турецкие говоры (по классификации Ю. Немета¹⁴): *agač, jak/jag*.

В га-группе, в общем, γ употребляется, но в различных позициях, в соответствии с чем эту группу можно подразделить на две подгруппы:

а) Подгруппа, где γ этимологический исчез (балканские га-диалекты: *aač, jä*), сохраняясь в то же время как γ позиционный в случае сандхи (*aγaγ* «место, где много движения»), при спряжении имен, оканчивающихся на *-k* (*ajγγals* «мы — бездельники»), изредка в конце односложных слов (*joγ* «не имеется; нет»), в интервокальной позиции в заимствованиях (*vaγut* «время»). В изафетных же конструкциях конечный *-k* основы, за которыми следует морфема, начинающаяся на гласный, переходит в *j* (особенно регулярно в языке фольклора): *da·remin zynγyrdaju* «звон моего бубна» (~ турецк. литерат. *dairemin zynγyrdaju* [zynγyrdaj/zynγyrdāj]).

б) Подгруппа, сохраняющая этимологический γ . — это главным образом туркменский¹⁵ и азербайджанский: туркм. *aγač*, азерб. *aγač* «дерево», туркм., азерб. *oγul* «сын». Что касается диалектов анатолийско-турецких и кипрского, то здесь в одном и том же диалекте γ выпадает в некоторых словах и сохраняется в других. Так, *uγa* «встретиться», но *ölan* «мальчик» и в то же время *oγlu* «его сын» (Сивас), *aγa* «господин», но *ölum* «мой сын» (Карс); *daγ* «гора», *oγlan* «мальчик», но *ölum* (Чорум); *aγa*, но *jit* «молодец» (Газантеп); *biläγinden* «из его руки», но *öar* — «звать» (Багад); *suγγ* «корова», но *ölum* (Карсехир); *doγru* «правильный», но *ölum* (Анкара); *aγa*, но *ölum* (Малатья, Испарта); *daγ* «гора», но *jit* «молодец» (Нонья); *aγuz* «рот», но *ölum* (Килис); *oγlan*, но *ölum* (Нигде) и т. д.; в диалекте Кипра *jaγar* «идет дождь», но *däda* «на горе».

4) Сандхи. В ка-группе, за некоторыми исключениями, сандхи отсутствует, ср.: *ajak ally* «место, где много движения», *üçaj* «три месяца», *kurt izi* «след волка», *sorup al* «спроси, возьми», но ср.: *sarač/sarağ ahmet* [ah-mät]/[ähmät] «Ахмет шорник», *dört/dörd aj* «четыре месяца».

В га-группе, где вообще ауслатный мгновенный гласный может быть полувонким, сандхи чрезвычайно развито: *aγaγ ally*, *üğ aj*, *sarrağ ahmät*, (азерб. *sarrağ ahmät* туркм. *aldaväg adam* «привлекательный человек»), *gurd izi* (туркм. *gürd içi* «внутренность волка»).

5) Последовательность согласных. И той, и другой группе одинаково присущи последовательность сонорного (*l* или *r*) и глухого согласного, наблюдаемая в основах некоторых слов (*ally* «шесть», *arpa* «ячмень»), а также последовательность сонорного и звонкого согласного (*aldym* «я взяла»).

Различия наблюдаются в отношении последовательности глухого и звонкого согласных. В ка-группе последовательность глухого и звонкого

¹⁴ См.: J. N é m e t h, Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens, Sofia, 1956, стр. 19 и сл.

¹⁵ Заметим, что в туркменском, помимо γ , в интервокальной позиции употребительны еще *č* и *p*: *äba* «равновидность палатки, шатра»; *apa* «старшая сестра».

не наблюдается — здесь за глухим согласным может следовать только глухой же: *gitti* «он ушел». В *ga*-группе после глухого согласного допускается употребление звонкого, полувзвонного или полуглухого (т. е. звонкого в весьма незначительной мере) согласных: азерб. *geidi*; в анатолийско-турецких диалектах: *geidi/geidi/geidi* (а в диалекте Газиятеба даже *geddi*); туркм. *gitti*, в восточнородопском турецком диалекте: *gitti/gitti/kitti*.

Из этого явствует, что в *ga*-группе, в основном, не существует явления, называемого гармонией согласных; морфемы, начинающиеся на согласный мгновенный, не имеют здесь глухих вариантов. Это явление широко распространено в азербайджанском и в его диалектах, а также в анатолийско-турецких диалектах. Правда, А. М. Демирчизаде, рассматривая гармонию согласных, отмечает, что она «чрезвычайно ослаблена и постепенно сглаживается в азербайджанском языке»¹⁴. Однако те последовательности согласных, которые А. М. Демирчизаде обозначает в азербайджанском как *gg* (*sagga* «борода»), М. Ш. Ширалиев в бакинском диалекте — как *gg*, *pb*, *td*, В. Т. Джангизде — как *gg*, *dd* (*sagga*, *addar* < *adlar* «имена»), А. Г. Веллев — как *gg*, *bb*, *dd/td* (*mirabba* «варенье», *sadduy* «радость», *kattı* «крестьянин»), «Диалектологический словарь азербайджанского языка» — как *bb*, *dd*, *gg* (*abba* «лейка», *daddyr* «масло с поджареным в нем луком для супа», *dagga* «цистерна»), А. Джафероглу в анатолийско-турецких диалектах — как *td*, *kg*, *sg* (*dakga* «минута», *aşşu* «повар»), З. Коркмаз в юго-западных анатолийско-турецких диалектах — как *td*, *dd* (*müddür* < *mäktür* «писем», *mäddabunuy* < **mäktabunuy* ~ тур. лит. *mektəbinin*), М. Н. Хыдыров в туркменских диалектах — как *gg* и А. П. Поцелуевский в текинском диалекте туркменского языка — как *tt^a*, *pp^b*, в турецком диалекте Восточных Родоп мы предпочитаем давать как *kk/kk*, *kk*, *pp/pp*, *tt/tt* (*japrakka* «яблonya», *çogarra* «чулики»), руководствуясь при этом присущим нам языковым сознанием говорящего и слышащего. Перечисленные обозначения консонантных последовательностей полностью не отвечают способу артикуляции — еще экспериментальные исследования Р. Шор свидетельствовали: «В азербайджанском (туркском) языке, как исчерпывающе наглядно показывают синхронические записи на кимографе, контраст „глухих“ и „звонких“ сводится в действительности к контрасту „придыхательных сильных“ (с аффрицированным придыханием) и „непридыхательных слабых“»¹⁵. А. А. Поцелуевский полагал, что первый согласный в таких консонантных последовательностях имплозивный, в то время как второй — эксплозивный: «По существу в такого рода случаях мы имеем группу из двух взрывных звуков, разделенных краткой паузой смычки, причем первый из них — звук имплозивный, а второй — эксплозивный. Поскольку вообще эксплозия смычных звуков выражена в туркменском языке очень резко, то, по моим наблюдениям, во многих случаях эксплозивный характер второго звука, следующего за акустически довольно отличным от него имплозивным, заставляет говорящих ошибочно принимать эксплозию согласного звука за его голосность»¹⁶. Об *gg* Н. К. Дмитриев писал, что смы имеем собственно не гемпнату, а особый сложный звук с глухой экскурсой и звонкой рекурсой»¹⁷.

¹⁴ А. М. Демирчизаде, Муасир азербайжан дилинин фонетикаси, Баки, 1960, стр. 113.

¹⁵ Р. Шор, К вопросу о так называемых «гемпнатах» (усиленных смычных) в аффрицированных языках Дагестана, сб. «Языки Северного Кавказа и Дагестана», 1, М. — Л., 1935, стр. 138, примеч. 3.

¹⁶ А. П. Поцелуевский, Диалекты туркменского языка, стр. 34.

¹⁷ Н. К. Дмитриев, Двойные согласные в тюркских языках, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. I — Фонетика, М., 1955, стр. 262.

Противопоставление «придыхательные сильные — непридыхательные слабые», столь явно выраженное в азербайджанском языке и в анатолийско-турецких диалектах, не имеет такого действия в туркменском и в турецком диалекте Восточных Родоп, в особенности при стечении согласных одинакового качества. В последнем случае А. П. Поделуевский, а вслед за ним М. Н. Хыдыров и К. Бегенджов говорили о прогрессивной ассимиляции, которая ведет к удлинению согласного: *tutdy > tutty > tut:y* «он схватил», *čekgin > çekkin > çek:in* «тянувший». В турецких диалектах Восточных Родоп сочетания глухих и полувзвонных согласных непрерывно чередуются только с глухими: *torpa-/torpa-* и *torpa-* «собирать».

6) Ассимиляция согласных. С точки зрения гомогенной и гетерогенной (только с коррелятивными согласными) ассимиляции (здесь мы абстрагируемся от случаев неполной ассимиляции, как, например: *ml > ml*) согласных огузские языки и диалекты также делятся на две группы.

В ка-группе ассимиляция согласных имеет весьма ограниченный лексический охват — это всего-навсего переход *nl > nn* (*ğanny < ğanlı* «живой», в Западной Румелии *ğalli*), а в гагаузском языке Молдавской ССР еще и непоследовательная ассимиляция *nd > nn* (*südünnän < südündän* «из твоего/его молока»); sporadически ассимилируется *tl > čč* (*hyzmečči < hyzmetči* «слуга» в гор. Видин), *js > šš* (*aššä < ajsä* — женское личное имя, в дельпорманском диалекте). Переход *zs > ss* можно рассматривать под другим углом зрения, поскольку *z* в конечной позиции почти всегда глухой.

В га-группе ассимиляция согласных весьма развита: помимо переходов *nl > nn*, *nd > nn*, здесь наблюдаются и другие случаи этого явления, присущие любому языку или диалекту. Однако этот вид ассимиляции последовательно проводится только в турецком диалекте Восточных Родоп, в анатолийско-турецких диалектах и в азербайджанских диалектах Шахбуза и Нухи; ассимиляция *rl > rr* наблюдается в речи жителей Терекме (близ Карса, Анатолия), в азербайджанских диалектах — бакинском, казахском, карабахском, нахичеванском и иранском²⁰. Заметим, что фонетическая последовательность *rl* дает, с одной стороны, *ll*, а с другой — *rr*. Аналогичным образом осуществляется ассимиляция в последовательности *nl*; с одной стороны, это *nl > nn*: *ğanny* «живой» — в турецком диалекте Восточных Родоп, в анатолийско-турецких, в азербайджанском и его диалектах, в ашхабадском туркменском произношении; с другой стороны, это *nl > ll*: *ğally* в диалектах туркменского языка — ёмудском, салдырском, сарыкском, текинском, човдурском, эмралийском, гарадашлыском, алилийском, нохурском, кюрюджидейском, в мавышском говоре анауокского диалекта, а также в азербайджанском диалекте Шахбуза. Ассимиляция *nd > nn* характерна для анатолийско-турецких, для азербайджанского и его диалектов, а также для туркменских диалектов — геокленского, ёмудского, текинского, эмралийского, гарадашлыского, нохурского — и мавышского говора. В других случаях консонантной ассимиляции, как это видно из приводимого ниже материала, каждый диалект или группа диалектов ведет себя по-особому²¹.

çč (> kč) > čč: *bačča < bahča < bačca* «сад» — диалекты Юго-Зап. Анатолии;

²⁰ См.: Н. S. Szapcsai, Próby literatury ludowej türków z Azerbajdzianu perskiego, Kraków, 1935 («Prace Komisji orientalistycznej [PAU]», 18).

²¹ О некоторых консонантных ассимиляциях, пока еще не ставших нормой турецкой орфографии, писал недавно М. Мансуроглу (см.: М. Мансуроглу, Türkiye türkçesinde ses uyumu, «Türk dili araştırmaları yillığı» — Beletem, 1959, стр. 92).

zē > zē: aččyk (< azčyk [asčyk]) «немножко» — диалекты Юго-Зап. Анатолии; *ačča (< azča [asča])* «немножко» — карягинские говоры азербайджанского языка; *ğalhočči (< qolhozči)* «колхозник» — муганские, карягинские, шахбузский говоры азербайджанского языка; *ğalhočču* — газакский, нахичеванский, гянджинский, карабахский диалекты азербайджанского языка;

zğ > zğ: ačğa (< azğa) «немножко» — мугавский говор, бакинский, шемахинский диалекты азербайджанского языка;

šē > šē: baččy (< baščy) «начальник» — муганский, карягинские, шахбузский говоры азербайджанского языка;

šğ > šğ: ičği (< išği) «рабочий» — бакинский диалект азербайджанского языка; *javačğa (< javašğa)* «медленно» — бакинский, муганский, казахский, нахичеванский, кубинский, шемахинский говоры и диалекты азербайджанского языка;

sğ > sğ: rušğa (< rusğa) «русский» — бакинский, шемахинский, кубинский, муганские, карабахский, нахичеванский диалекты азербайджанского языка;

ič > čč: aččy (< atčy) «кошевод, конюх» — туркмен.; *kāčči (< kātči)* «крестьянин» (< *kāndči*) — азербайджанский диалекты;

ič/iğ > čč/čğ: aččan/ačgan (< atčan/atgan) «я брошу» — Вост. Родопы;

dī > dd: addy (< adly) «именитый, знаменитый» — азербайджанские диалекты;

rž > žž: bižže (< birže) «немного» — карягинские говоры азербайджанского языка;

hk > kk: mōkkem (< mūkkem) «важный, солидный» — шахбузский говор азербайджанского языка;

kī > kī/kg: japrakka-/japragka (< japraktar) «листья» — Вост. Родопы;

kw > kī/kg: jykkaryn/jykgaryn (< jykwaryn) «я разрушаю» — Вост. Родопы;

ri > r'li: ojna'l'ā·fojnalla (< ojnartar) «они играют» — Вост. Родопы; *ojnallar* — анатолийско-турецкие диалекты;

ki > kī/kg: dājdākkān/dājdākgān so·ra (< dājdāktān so·ra) «после того, как побил» — Вост. Родопы; *kōkgā (< kōtūr gāl)* «заноси и вернись» — нахичеванский диалект азербайджанского языка (межсловная ассимиляция).

rk > kī/kg: vakkan/vakgan (< varkan) «когда было» — Вост. Родопы;

nl > ll: ġally (< ġanly) «живой» — туркменский язык и его диалекты, шахбузский говор азербайджанского языка;

īd > ll: ulluz (< ulduz) «звезда» — аливийский диалект туркменского языка;

mī > mm: adamta (< adamtar) «люди» — Вост. Родопы;

hm > mm: ammad ā (< aħmad ā) «Ахмад ага» — диалекты Юго-Зап. Анатолии;

nm > mm: dimmāz (< dinmāz) «он не перестанет» — азербайджанские диалекты;

vm > mm: āmmizā (< avmizā) «к нам домой» — азербайджанский диалект Ирана;

mv > mm: emme·ri (< emveri) «он сосет» — Вост. Родопы;

nb > mb > mm: sūmmil (< sūmbil < sūnbil) «колос» — муганские говоры, шемахинский диалект азербайджанского языка;

mv > mm: dīlum marudy (< oylum varudy) «у меня был сын» — Нигде (Аватолия); *čat ma' (< čat var)* «есть сосна» — Вост. Родопы; *kutim mar (< kutum var)* «у меня есть коробка» — турецкий диалект Кипра (межсловная ассимиляция);

mb > *mm*: *jigrim mäs* (< *jigrim bäs*) «двадцать пять» — туркм.; *gam-maj* (< *kombajm*) «комбайн» — муганские говоры азербайджанского языка;

yn > *nn*: *inne* (< *iŋne*) «иглолка» — диалекты Юго-Зап. Анатолии (но диахронически возможно *ŋ ~ ñ* и **ñ* > *nn*);

rn > *nr*: *dennijō* (< *dernijō*) «?» — диалекты Юго-Зап. Анатолии; *gannum* (< *garnum*) «мой желудок» — Нигдэ (Анатолия), *binnik* (< болг. *birnik*) «борщик податей» — Вост. Родопы;

nd > *nn*: *sännän* (< *sändän*) «от тебя» — диалекты Юго-Зап. Анатолии, азербайджанский, туркменский диалекты;

nl > *nn*: *ünlä-* (< *ünlä-*) «кричать, звать» — диалекты Юго-Зап. Анатолии; *ganny* (< *ganly*) «живой» — Вост. Родопы, анатолийско-турецкие диалекты, азербайджанский, туркменские диалекты;

nr > *nn*: *tasylannaKdan* (< *tasalanrakdan*) «огорчась» — диалекты Юго-Зап. Анатолии;

nj > *ññ*: *dünña* (< *dünja*) «вселенная, мир» — Килис (Анатолия);

ñm > *ññ*: *jazduñ ny* (< *jazduñ ny*) «писал ли ты?» — диалекты Юго-Зап. Анатолии;

nm > *nn*: *bän ni* (< *bän ni*) «я ли?»²² — Вост. Родопы;

kb > *pp/pb*: *ippal/ıppal* (< *ıkbal*) «удача, судьба» — Вост. Родопы

pl > *pp/pb*: *čorappa/ lčorapba* (< *čoraplar*) «чулки» — Вост. Родопы;

pm > *pp/pb*: *tappaγ* (< *tarmaγ*) «найти» — карягинские говоры азербайджанского языка; *tarbača* (< *tarmača*) «загадка» — азербайджанские диалекты²³;

po > *pp/pb*: *jarrary/ıarbarı* (< *ıarbarı*) «он делает» — Вост. Родопы;

ri > *rr*: *jerreš-ıjerleš-* «разместиться» — Карс (Анатолия); *girri*; (< *girli*) «гряный» — азербайджанские диалекты;

sl > *ss*: *pissig* (< *pislıg*) «грязь» — бакинский диалект, муганские, шахбазский говоры азербайджанского языка;

šs > *ss*: *götürmüjessän* (< * *götürmüjəšsän* < *götürmüjəšaksän*) «ты не унесешь» — карягинские говоры азербайджанского языка;

ls > *ss*: *ossun* (< *olsun*) «пусть он станет» — анатолийско-турецкие диалекты, муганский и карягинские говоры азербайджанского языка; *assyn* (< *alsyn*) «пусть он возьмет» — Вост. Родопы;

ks > *ss*: *jüssek* (< *jüksek*) «высокий» — Вост. Родопы;

ts > *ss*: *sassam* (< *salsam*) «если я продам» — муганский говор азербайджанского языка; анатолийско-турецкие диалекты, туркменский; *jasy* (< *jatsı*) «время через два часа после захода солнца» — Вост. Родопы;

ds > *ss*: *dassys* (< *dadsyz*) «безвкусный» — муганский, карягинские, шахбазский говоры азербайджанского языка;

šs > *ss*: *gelmissin* (< *gelmišsin*) «ты пришел» — Вост. Родопы (ардинский поддиалект); *getmissin* (< *getmišsin*) «ты ушел» — диалекты Юго-Зап. Анатолии, Карсский, Анкарский вилаеты (Анатолия);

ns > *ss*: *hassy* (< *hansı*) «который» — шахбазский говор азербайджанского языка;

šš > *šš*: *guššaγazım* (< *guššaγazım*) «моя птичка» — туркменские диалекты;

šg/šg/šš > *šš*: *jeti ššän* (< *jeti šgän/jeti ščän*) «я достигну» — Вост. Родопы; *aššaγ* (< *aššaγ*) «он откроет» — туркм.;

ks > *šš*: *meneššä* (< *meneššä*) «фиалка» — Вост. Родопы;

ñt > *t/ıd*: *ıttıjar/ıttıjar* (< *ıttıjar*) «старик» — Вост. Родопы;

²² Вопросительная частица *ni* в сознании говорящих существует как часть слова.

²³ *pm* > *pp/pb* диахронически можно представлять как соответствие *pm ~ pp/pb*.

hā > *tā*: *gāldym* (< *gāldym*) «я встал» — казахский и акстафинский диалекты азербайджанского языка;

kt > *tt/tā*: *kāltym/kāldym* (< *kāldym*) «я встал» — Вост. Родопы;

kārtān (< *kārdān*) «ше шубы» — нахичеванский диалект азербайджанского языка;

tl > *tt/tā*: *atdar* (< *atlar*) «кони» — Карс (Анатолия), муганский говор азербайджанского языка; *etiā/etiā* (< *etiār*) «мясо» — Вост. Родопы;

rd > *tā*: *gurtādyū* (< *gurtārdyū*) «ты спас» — Малатья (Анатолия);

fd > *tā*: *alydy* (< *alydy*) «оя взял» — нухиский диалект азербайджанского языка;

lw > *tt/tā*: *sattāryn/satdāryn* (< *satwāryn*) «я продам» — Вост. Родопы;

gz > *zz*: *ezza-nā* (< *eğzānā*) «аптека» — Вост. Родопы;

hz > *zz*: *sezza-dā* (< *sehza-dā*) «принп» — Вост. Родопы;

zd > *zz*: *bizze* (< *bizde*) «у нас» — туркм.; *bizzān* (< *bizdān*) «от нас» — муганский говор азербайджанского языка;

zl > *zz*: *gazzar* (< *gazlar*) «гуси» — муганский, карягинские, шахбужский говоры азербайджанского языка; *gyzzar* (< *gyzlar*) «девушки» — тозлукский диалект.

Таким образом, ассимилирующими согласными являются *b, b̄, ė, g, ğ, d, d̄, ž, k, k̄, l, m, n, ñ, p, p̄, r, s, š, ž, z* в то время как ассимиляции подвергаются согласные *b, ė, d, f, ğ, γ, h, j, k, l, m, n, r, š, t, v, w, z*. Следовательно, одни согласные могут и ассимилировать и быть ассимилированными — это *b, ğ, ė, d, l, m, n, r, š, t, z*; другие могут только ассимилировать: *ñ, s, p, p̄*; наконец, третьи способны только подвергаться действию ассимиляции: *h, v, γ, f, w, j*. Следует отметить, что большая часть консонантных ассимиляций осуществляется спорадически.

7) **Удвоение согласных.** С точки зрения консонантной редупликации вновь подтверждается распределение огузских языков и диалектов на две группы.

В *ka*-группе, в общем, редупликация не проводится. Удвоение согласных здесь бывает либо результатом экспрессивного консонантного удлинения, либо следствием перенесения вокалической долготы на согласный: в балканско-турецких диалектах *hille* «хитрость» < турецк. литерат. *hile* [hīle] (арабск.).

В *ga*-группе консонантная редупликация гораздо более распространена. Особенно богат редулицированными согласными азербайджанский язык: *bb, tt/dd, qq/kk, ll, ff, vv, ss, šš, rr, ğğ, mm, nn, zz* представляют собой удвоения морфологического порядка, они играют дистриктивную роль при различении слов и значений и осознаются как геминированные носителями языка. Из всего этого Ф. Кязимов сделал заключение, что геминированные согласные, имея фонологическую валентность, являются самостоятельными фонемами на том же самом основании, что и простые фонемы²⁴. Заметим, что Ф. Кязимов рассматривает геминированные согласные как гомогенные, тогда как Р. Шор экспериментально показала негомогенность консонантных геминат в азербайджанском; точка зрения Р. Шор, кстати, поддерживается также и транскрипцией диалектологических текстов как в Азербайджане, так и в Туркмении и Турции (*sagga!* «борода»).

В туркменском наблюдаются следующие удвоенные согласные: *q̄q̄, k̄ḡ, t̄d̄, z̄z̄, m̄m̄, r̄r̄, š̄š̄: saq̄q̄al* «борода», *ʔsek̄ḡiz* «девять», в диалектах эрса-

²⁴ См.: Ф. Кязимов, Система согласных фонем современного азербайджанского литературного языка, «Уч. зап. [Азерб. пед. ин-та иностранных языков]», I, Баку, 1959, стр. 51—52 и сл.

рийском, алийском, човдурском, кюрюдждейском *ʔetdi* «семь», в диалектах салырском, алийском *izli* «длинный», в диалектах эрсарийском, алийском, гарадашлийском, кюрюдждейском и в манышском говоре *ʒoggar* «чудок», в текинском (марыйском), алийском, амрелийском, гарадашлийском, кюрюдждейском, атинском и в манышском говоре *aššuy* «влюбленный, возлюбленный», в салырском диалекте *maššin* «машина», в диалектах алийском, амрелийском, гарадашлийском и манышском говоре *maššin*. В анатолийско-турецких диалектах редуплицированы: *šš, kk, jj, bb; aššā* (~ турецк. литерат. *aşay* [ašay/ašā]) «вниз» (Сивас, Анкара, Нигде), *ajjak* (~ тур. лит. *ajak*) «нога» (Газизантеп), *sabbānan* (~ турецк. литерат. *sabahlejin* (из араб.)) «рано утром» (Мараш). В настоящее время в турецком диалекте Восточных Родоп встречаются такие консонантные удвоения: *kg/kk, ll, nn, mm*; например: *kaşykkaval/kaşykkaval* [< турецк. литерат., болг. *kaškaval* (из лат.)] — сорт сыра, *makkamly/makgamly* [< турецк. литерат. *makamly*] «музыкальный тон» (из араб.), *Lällökuva* — название деревни (< болг. *L'u'akovo*), *Se'l'annik* (< турецк. литерат. *Se'l'anik*) — Салоники, *Dramma* — город Драма.

Редупликация может использоваться для того, чтобы привнести воздействие смежных гласных, которые стремятся к стяжению²⁶.

Итак, изложенные выше факты подтверждают разделение огузских языков и диалектов на две группы: 1) *ka*-группа, включающая турецкий литературный язык, гагаузский, балканско-турецкие *ka*-диалекты, и 2) *ga*-группа, куда входят балканско-турецкие *ga*-диалекты, турецкий диалект на Кипре, анатолийско-турецкие диалекты, азербайджанский язык с его диалектами, туркменский и его диалекты. Таким образом, это деление одновременно является и географическим: ареал первой группы находится в Европе, в то время как вторая группа размещается в Азии (исключение здесь составляют только балканско-турецкие *ga*-диалекты); следовательно, носителей этих языков и диалектов можно условно называть соответственно европейскими огузами и азиатскими огузами, а *ka*-группу — европейской огузской группой, *ga*-группу — азиатской.

Те восемь черт, на которых выше было сосредоточено внимание, касались только консонантизма. Можно ожидать, что исследования в области вокализма, просодии и др. подтвердят произведенное общее распределение огузских языков и диалектов на две большие группы, которые в свою очередь могут распадаться на несколько подразделений в соответствии с акцентами лингвистического изучения. Дальнейшие разыскания помогут также определить эпоху и факторы дробления огузов (а их язык, должно быть, всегда был представлен несколькими диалектами). Во всяком случае этнические элементы, опорные для европейских огузов, проникли в Европу северным путем, в то время как турки, носители *ga*-диалектов на Балканах, двинулись с юга. Заселившие Балканы (из Малой Азии) юрки были теми же самыми огузами, которые с точки зрения лингвистической принадлежали к *ka*-группе, или, может быть, со временем (после их переселения — в Европу) их язык сближился с *ka*-группой. Если, однако, судить по кочевому, изолированному образу жизни, который вели до недавнего прошлого юрки (особенно юрки Западных Родоп и Македонии), первое предположение кажется более достоверным.

В то же время язык татар Южного Крыма, а частично и Балкан (имеются в виду живущие в городах Толбухин, Варна, Балчик, Каварна и в некоторых окрестных селениях — мы называем их тато-татарами), который до

²⁶ См.: A. Naudricourt, Quelques principes de phonologie historique. TCLP, 8, 1938, стр. 196.

вольно близок к турецкому²⁶, не является продуктом османизации, как полагали некогда тюркологи, но представляет собой аутентичное ответвление языка европейских огузов, подпавших под лингвистическое влияние татар Центрального Крыма с их языком кыпчакского типа.

В свою очередь, турецкий литературный язык (ранее именовавшийся османским) базируется, главным образом, на ка-диалектах балканских ту-рок, почему его называли не без оснований еще и румелийско-турецким²⁷.

Вышеизложенное позволяет ожидать, что предложенная Н. А. Баскаковым классификация огузских языков и диалектов²⁸ уже в настоящее время может быть существенно уточнена²⁹.

Перевела с французского Г. Ф. Благова

²⁶ Эта близость к турецкому дала основание говорить даже о «крымско-османском языке» — см.: G. D o e f e r, Das Krimosmanische, «Philologie Turcicae Fundamenta», I, Wiesbaden, 1959. К сожалению, мы не располагаем достаточными данными об огузском наречии узбекского языка (см.: В. В. Р е ш е т о в, Узбекский язык, ч. I, Ташкент 1959, стр. 68), где тоже существует «озвонченные» начальные *т* и *к* (но только в словах переднего класса): *дыл* «язык», *эж* «приход».

²⁷ I. В é g é z i e, Recherches sur les dialectes musulmans, «Уч. зап. имп. Казанского ун-та», кн. II, 1849, стр. 26.

²⁸ Н. А. Б а с к а к о в, Тюркские языки, М., 1960, стр. 115.

²⁹ Автор приносит благодарность Г. Ф. Благовой, З. Б. Мухамедовой и М. Рагимову, прочитавшим работу в рукописи и сделавшим ценные критические замечания.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

Э. М. УЛЕНБЕК

ЕЩЕ РАЗ О ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ГРАММАТИКЕ*

("LINGUA", 17, 3, 1967)

I

Настоящая статья является продолжением моей первой работы о трансформационной теории¹; в ней принимаются во внимание изменения, произошедшие в этой теории с 1962 г., особенно по отношению к семантическому аспекту языка, разъясняются и далее разрабатываются положения, сформулированные в моей первой статье. Эта статья должна служить также ответом проф. Хомскому, который трикратно² не только заявлял, что он полностью отвергает мою критику его методов, но также не согласен и с предложенными мной альтернативными приемами синтаксического анализа. В частности, Хомский утверждает, что мне не удалось оправдать своего критического отношения к традиционной грамматике; во-вторых, что синтаксический анализ, который я предлагаю, влечет за собой произвольное ограничение поверхностной структурой; в-третьих, что предложенная мной альтернатива обычного типа анализа по НС сама по себе неприемлема, так как она «противоречит всем известным синтаксическим, фонологическим и семантическим соображениям, являющимся релевантными...»³.

Можно было бы без труда опровергнуть эти положения, показав, что проф. Хомский не только в недостаточной мере осознал природу синтаксического анализа, который я предлагаю⁴, но и что он испытывает определенные трудности адекватно налагать точна зрения, отличные от его собственных⁵. Более того, я мог бы указать, что

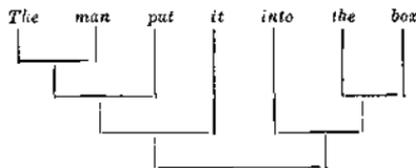
* Приношу свою благодарность Центру по изучению бихевиористских наук, создавшему мне благоприятные условия работы над данной статьей. Следует поблагодарить также У. Вайнрайха, Г. Зайлера и Р. Роммелвейта, которые прочли и обсудили со мной предварительный вариант этой статьи летом 1966 г. Приношу свою благодарность также А. Райхлингу и Б. И. Гоффу за их критические замечания. Наконец, хотя не в последнюю очередь я должен поблагодарить г-жу М. Галлахер за исправления в английском языке и вообще за ее неоценимую редакционную помощь.

¹ «An appraisal of transformation theory», «Lingua», 12, 1963.

² Сначала на IX Конгрессе лингвистов (Кембридж, 1962; см. «Proceedings», ed. H. G. Lund, 1964, стр. 983—994); затем в более обширной форме во второй из четырех лекций проф. Хомского, прочитанных летом 1964 г. в Лингвистическом институте в Блумингтоне (штат Индиана) и опубликованных сейчас под заголовком «Topics in the theory generative grammar» («Current trends in linguistics», 3, 1966) и, наконец, в своей книге «Aspects in the theory of syntax», 1965, стр. 194. Благодарю проф. Хомского за представление мне предварительного варианта своей блумингтонской лекции.

³ «Topics...», стр. 15, примеч.

⁴ См.: «Aspects...», стр. 193, где Хомский пытается применить наш метод к анализу некоторых английских предложений. Структуру отношений внутри предложения *The man put it into the box* можно изобразить на следующем рисунке:



некоторые мои возражения против традиционного синтаксического анализа были уже опубликованы в 1958 г.⁶, так что не было необходимости возвращаться к тем же вопросам в 50-минутной лекции⁷, посвященной другим проблемам, а именно оценке трансформационной теории.

Наконец, можно было бы указать, что возражение Хомского относительно произвольного ограничения предлагаемого мною анализа поверхностной структурой основывается на допущении релевантности различия между поверхностной и глубинной структурой. Если придерживаться синтаксической теории, в которой такого различия не делается, то упрек произвольного ограничения анализа предстает в другом свете. Однако мне кажется, что вряд ли можно добиться чего-то существенного, если дискуссия ведется на подобном низком и непродуктивном уровне. По моему мнению, главное состоит в дальнейшем разъяснении возражений, которые можно выдвигать против трансформационной теории, как в ее современной, так и в более ранней форме. В то же время это позволит заинтересованному читателю глубже разобраться в лингвистических взглядах, развитых Райхлингом и мною⁸.

В следующих четырех разделах будут обсуждены четыре основных вопроса: 1) связь трансформационной теории с традиционной грамматикой; 2) понятие компетентности носителя языка и его отношение к акту речи (performance); 3) позиция трансформационной теории в отношении лингвистического знания; 4) соотношение и границы между синтаксическим и семантическим аспектами языка. В последнем разделе будут резюмированы некоторые наиболее важные различия между трансформационной грамматикой и предлагаемыми нами методами.

II

В нескольких публикациях Хомский подчеркивает, что трансформационную теорию следует рассматривать как возврат к традиционной грамматике и продолжение последней⁹. Видеть до опубликования его недавней книги¹⁰ было нелегко определить, что именно означал термин «традиционная грамматика» в употреблении Хомского. Изучение различных абзацев, в которых есть ссылка на традиционную грамматику, показывает, что Хомский оперирует своеобразной гегельянской концепцией истории лингвистики. Сначала, по его мнению, существовала традиционная грамматика, затем наступила вторая стадия — послебуффалианский структурализм, который полностью порвал с традиционными взглядами. Окончательный синтез, который сочетает в себе основные преимущества двух предыдущих стадий, обнаруживается в трансформационной теории.

Подобная упрощающая концепция неприемлема по крайней мере по трем причинам. Прежде всего, она пренебрегает тем фактом, что раньше существовали да и теперь продолжают существовать, другие типы структурализма, например, Пранская школа,

(«Topics...», стр. 8—9). Лайонс еще в 1958 г. отметил, что Хомский «бездоказательно интерпретирует позицию своих противников» (см. его рец. на кн. Н. Хомского «Syntactic structures», «Litera», 5, стр. 112).

⁶ «Traditionele zinsontleding en syntaxis», «Levende Talen», 193, 1958, стр. 18—30.

⁷ Моя статья 1963, опубликованная в «Lingua», представляет собой лекцию, прочитанную в августе 1962 г.

⁸ В числе наших более ранних публикаций по синтаксису назовем: A. Reichling, *Verzamelde studies over hedendaagse problemen der taalwetenschap*, 3-е изд., 1965, особенно стр. 80—102. Эта часть содержит расширенный и переработанный вариант статьи, которая появилась также по-английски под заголовком «Principles and methods of syntax: cryptanalytical formalism» («Lingua», 10, 1961, стр. 1—17); его же, *Grondbeginselen der hedendaagse taalwetenschap*, «Taalonderzoek in onze tijd», 1962, стр. 6—15, особенно стр. 11—15; его же, *Das Problem der Bedeutung in der Sprachwissenschaft*, «Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft», Sonderheft 19, 1963; A. Reichling, E. M. Uhlenbeck, *Fundamentals of syntax*, «Proceedings of the IX International congress of linguists», ed. by H. Lunt, The Hague, 1964, стр. 166—171; E. M. Uhlenbeck, *De beginselen van het syntactisch onderzoek*, «Taalonderzoek van onze tijd», 1962, стр. 18—37; его же *Betekenis en syntaxis*, «Forum der letteren», 5, 1964, стр. 67—82. См. также публикации, приведенные в примеч. 1 и 6. Некоторые практически примененные нашего метода см.: E. M. Uhlenbeck, *Some preliminary remarks on Javanese syntax*, «Lingua», 15, 1965; его же, *Substantief + substantief in modern algemeen Nederlands, een begin van syntactische beschrijving*, «De nieuwe taalgids», 59, 1966, стр. 294—301.

⁹ См., например: N. Chomsky, *Current issues in linguistic theory*, 1964, стр. 15; «Topics...», стр. 2—3.

¹⁰ «Aspects of the theory of syntax», 1965.

взгляды которой в большей или меньшей мере разделяются лингвистами, живущими за пределами Центральной Европы¹¹. Концепция представителей этих структуралистских школ не только весьма отлична от американского дистрибуционализма, но и занимают иную позицию в отношении деструктурной лингвистики. Во-вторых, концепция Хомского не принимает во внимание фундаментальные успехи, достигнутые примерно в 1928 г. такими структуралистами, как Якобсон, Трубенкопф и Сенир, которые ввели повские фонемы как лингвистическую единицу и сумели преодолеть роковое отнесение лингвистики к психологии, с одной стороны, и к физике и физиологии — с другой. Одним из недостатков рассмотрения Хомским истории лингвистики как традиции является то, что он представляет традиционную грамматику как более или менее монолитную систему широко признанных доктрин. На самом же деле в течение всего XIX в. и вплоть до настоящего времени происходил процесс постепенной эмансипации лингвистики от влияния логики Аристотеля, интерпретируемой в духе учений XVIII в.¹² Можно с удовлетворением отметить, что именно благодаря статье Райхлинга, с положениями которой Хомский в остальном не согласен¹³, он заново «открыл» для себя В. фон Гумбольдта; можно лишь выразить надежду, что подобный процесс повторного открытия не останется на Гумбольдте и в конце концов охватит таких ученых, как Штейнталь¹⁴, фон Габеленц¹⁵, Марти¹⁶, Делакруа¹⁷, Серру¹⁸ и других, обсуждавших различие в соотношении лингвистики и логики.

Однако после опубликования последней книги Хомского можно не останавливаться долго на его мыслях по истории лингвистики, ибо эта книга дает возможность очень конкретно обнаружить характер тех традиционных понятий, которые заимствуются трансформационной теорией. В начале второй главы ясно перечисляется то, что может дать традиционная грамматика для анализа предложения, например, такого, как *Sincerely may frighten the boy*. Согласно Хомскому, это предложение безусловно по существу правильно и важно для оценки того, как используется или осваивается язык¹⁹. Хомский в своем списке нигде даже не делает попытки определить такие из используемых им терминов, как подлежащее, сказуемое, дополнение и т. д. Она, очевидно, принимаются как исходные, не нуждающиеся в дальнейшем определении. Тем не менее в истории лингвистики именно эти термины и понятия, которым они соответствуют, представляли большие трудности для грамматиков²⁰. Одной из таких трудностей является следующее: если определить подлежащее в предложении как агент действия, выраженный сказуемым (например, в таком предложении, как *John beats Paul*, где *John* является подлежащим, а *beats Paul* — сказуемым), то возникает вопрос, как анализировать также предложения, как *Paul is beaten by John*. Применение принятого определения приводит к тому, что *John* здесь является подлежащим, а *Paul*, как и в «активном» предложении, остается дополнением. Подобное решение, однако не находило одобрения среди грамматиков: в подобных случаях они вводят новое различие, а именно различие между грамматическим и логическим подлежащим (субъектом). Было обычным (и до сих пор остается обычным в некоторых кругах) говорить, что в «активном» предложении грамматический и логический субъект совпадают, причем в *Paul is beaten by John*, *John* — это лишь логический субъект, а *Paul* — грамматический субъект.

¹¹ См. статьи Ванка и Данеша в «L'école de Prague d'aujourd'hui, Travaux linguistiques de Prague», I, 1964. См. также: E. M. Uhlenbeck, Enige beschouwingen over Amerikaanse en Nederlandse linguïstiek, «Forum der letteren», 7, 1966, стр. 1—22. Описание taxonomической модели, данное Хомским, обнаруживает уезд его концепции структурной лингвистики.

¹² M. S a n d m a n n, Subject and predicate. A contribution to the theory of syntax, Edinburgh, 1954.

¹³ «Горс...», стр. 13: «Замечания Райхлинга основаны на понимании порождающей грамматики, ничего не имеющей общего с действительной работой, проводимой в этой области». В примечании 4 той же работы (стр. 3) говорится, что статья Райхлинга «обнаруживает полное отсутствие понимания целей, задач и специфики той работы, которую он [Райхлинг] обсуждает» и что его обсуждение основано на таком грубом искажении этой [т. е. Хомского] работы, что какие-либо комментарии вряд ли необходимы.

¹⁴ H. S t e i n t h a l, Grammatik, Logik und Psychologie. Ihre Prinzipien und ihr Verhältnis zu einander, Berlin, 1855. См. его критику положений логики Беккера, особенно стр. 95 и сл.

¹⁵ G. v o n d e r G a b e l e n t z, Die Sprachwissenschaft, 2-te Aufl., Leipzig, 1901.

¹⁶ A. M a r t y, Ueber die Scheidung von grammatischem, logischem und psychologischen Subject resp. Prädicat, «Archiv für systematische Philosophie», 3, 1897.

¹⁷ H. D e l a c r o i x, Le langage et la pensée, Paris, 1930.

¹⁸ Ch. S e r r u s, Le parallélisme logico-grammatical, Paris, 1933.

¹⁹ «Aspects...», стр. 63—64.

²⁰ См.: M. S a n d m a n n, 1954, гл. 1.

Более старое определение субъекта как того, о чем говорится в предложении (греч. τὸ ὑποκείμενον), также ведет к трудностям. В случае такого предложения, как *John came home*, произнесенного как ответ на вопрос *Who came home?*, справедливо отмечалось, что *John* не только не является частью предложения, представляющий собой его «тему», но, наоборот, передает то, что говорится о теме, т. е. о возвращении домой (греч. τὸ ἀπαρτηροῦμενον). Эти соображения привели к введению различия между грамматическим и психологическим субъектом и предикатом. В предложении *John came home*, употребленном в качестве ответа на вопрос *What did John do?*, *John* считался как грамматическим, так и психологическим субъектом, но в *John came home*, употребленном в качестве информации о лице, которое возвратилось домой, *John* назывался грамматическим субъектом и в то же время психологическим предикатом; *came home* считалось грамматическим предикатом и психологическим субъектом.

Нетрудно понять, что подобное «расщепление» понятий субъекта и предиката вызывает серьезные возражения и прежде всего в силу неясности того, что именно рассплевается. Какого рода свойства реально являются общими для грамматического, логического и психологического субъекта? Можно было бы, правда, указать, что различие между тем, что является грамматически правильным, и тем, что является грамматически неправильным (независимо от природы этого последнего), основывается на определенном сознании (хотя и весьма смутном), что предложение можно рассматривать с двух различных углов зрения: в первом случае основное внимание уделяется лингвистической структуре предложения, а во втором — логической²¹. При анализе предложения исследователю имеет дело как с лингвистическими, так и с логическими (или, используя термин, недавно введенный Дюклидом) гносеологико-логическими категориями²². Основное различие между этими двумя типами категорий, находящее оправдание в том факте, что предложение — это не только лингвистическо-грамматический, но также и логический акт, было затменно использованием одной и той же терминологии для обоих типов анализа. Вплоть до наших дней для многих лингвистов остается весьма трудным не отождествлять слово с понятием и предложение — с логическим суждением, или пропозицией. Как показали Зандман²³ и Бенвенист²⁴, это неудивительно в связи с аристотелевским происхождением указанной терминологии. Между категориями аристотелевской логики и греческим языком существует очень тесная связь.

Сделанные замечания были необходимы в качестве введения в мою критику трансформационной теории в части, касающейся ее связи с традиционной грамматикой. Оказалось, что Хомский, обладавший одною традиционной терминологией, в недостаточной мере учел то обстоятельство, что эта терминология отражает точку зрения, не делающую различия между грамматическими, семантическими и логическими соображениями. Для иллюстрации этого разберем некоторые предложения и фразы, которые особенно рассматривались представителями трансформационной теории. Возьмем сначала известную пару предложений (1) *John is easy to please* и (2) *John is eager to please*, о которых Хомский замечает, что в (1) *John* является прямым дополнением к *please*, добавляя в скобках, что слова *John* и *please* грамматически соотносены, как во фразе *This pleases John*²⁵. Как совершенно правильно замечает Данеш²⁶, формулировка «грамматически соотносительный» вряд ли оправдана. Если сравнить предложение *John is easy to please* с предложением *This pleases John*, то при любом виде лингвистического анализа и безусловно при использовании традиционной грамматики мы должны признать, что *r a m a t i c e s k i* соотношение между *John* и *please* совершенно отличается от соотношения между *please* и *John*. Если говорить о том, что имеется общего в обоих предложениях, то это только л о г и ч е с к о е отношение. То же относится и к фразе *the doctor's arrival*. Хотя Хомский заявляет²⁷, что эта фраза отличается от *the doctor's house* тем, что *the doctor's arrival* «содержит субъектно-глагольное отношение»: нельзя не отметить, что здесь мы имеем дело не с грамматической общностью с *doctor arrives*, а с логической. Между двумя этими фразами существует морфологическое различие: *arrival* — это существительное, принадлежащее к тому же классу, что и *arrival*, *return*, *reversal*, *removal*, *approval* и др. Оно имеет полиморфную структуру в отличие от номоформного слова *house*. Именно это различие и является лингвистически релевантным.

²¹ M. D o k u l i l, Zum wechselseitigen Verhältnis zwischen Wortbildung und Syntax, «L'École de Prague d'aujourd'hui, Travaux linguistiques de Prague», I, 1964.

²² M. D o k u l i l, 1964, стр. 218.

²³ S a n d m a n n, 1954, часть I.

²⁴ E. B e n v e n i s t e, Catégories de pensée et catégories de langue, «Les études philosophiques», 4, 1958.

²⁵ C h o m s k y, Current issues, стр. 34.

²⁶ F. D a n e s, A three-level approach to syntax, «L'École de Prague d'aujourd'hui, Travaux linguistiques de Prague», I, 1964, особенно стр. 225—226.

²⁷ C h o m s k y, Current issues, 1964, стр. 29.

Но только в области синтаксиса, но и в морфологии различение лингвистических и нелингвистических категорий оказывается весьма важным. Например, когда лингвист пытается дать морфологическое описание числительных в языке, он должен различать арифметический, или числовой, порядок, с одной стороны, и лингвистический порядок системы, с другой. В современном яванском языке числительные от двух до девяти образуют набор, совершенно отличный от числительных, обозначающих один, десять, двадцать, пятьдесят, шестьдесят, сто, тысяча, десять тысяч и других более крупных чисел²⁸. В этом случае основная задача лингвиста состоит в том, чтобы вскрыть и описать структуру морфологической системы. Он никогда не смог бы это сделать, если бы исходил из числового порядка 1, 2, 3, 4, 5 и т. д. Именно в этом смысле я и использовал термин «чисто лингвистический анализ», который, очевидно, не был понят Хомским²⁹. Вообще основная трудность лингвистического анализа заключается в том факте, что лингвист легко может отвлечься от своих непосредственных задач соображениями, ничего не имеющими общего с исследуемым им материалом. В области фонологии это ясно осознавал покойный Л. Ельмслев, который заявил на II конгрессе фонетических наук: «в связи с тем, что фонемы являются лингвистическими элементами, сущность любой фонемы может быть правильно сформулирована только на основе лингвистических критериев, т. е. при учете ее функции в языке. Никакие экстралингвистические критерии не могут быть релевантными, ни физические, ни физиологические, ни психологические»³⁰. Это не менее правильно и для морфологии, и для синтаксиса.

То обстоятельство, что сторонники трансформационного анализа не делают различия между логическим и лингвистическим аспектами, всегда было завуалировано поистине анекдотичным характером их процедуры. Одни и те же тщательно подобранные фразы и предложения приводятся или снова и снова, причем без всякого доказательства, видимо, предполагается следующее: то, что справедливо в отношении этих фраз, должно быть справедливо и для всех других подобных случаев. Это ставилось очевидным при обсуждении теперь уже знаменитой фразы *the shooting of the hunters*. Согласно недавней формулировке Хомского, «в одном случае эта фраза интерпретируется как содержащая субъектно-глагольное отношение, что справедливо и в применении и *hunters shoot*, в другом случае — как содержащая объектно-глагольное отношение, что справедливо и в применении к этой фразе»³¹. Таким образом Хомский объясняет предполагаемую им двойственность указанной фразы. Прежде чем решить вопрос о справедливости или несправедливости подобной интерпретации, рассмотрим фразу, которая, видимо, очень близка к приводимой Хомским, а именно *the shooting of the soldiers*. Легко можно указать на новую интерпретацию подобной фразы, или, до крайней меры, на интерпретацию, которая до сих пор не привлекала к себе внимания. Эту интерпретацию можно назвать «взаимной»: вполне возможно, что солдаты стреляли друг в друга, как это видно из предложения *the shooting of the soldiers greatly disturbed the peaceful village*. Ясно, что если заменить множественное число *soldiers* на единственное число *soldier*, возможность взаимной интерпретации исключается, однако это не является справедливым для всех существительных в единственном числе, что видно из фразы *the shooting of the gang*, которую можно интерпретировать в том смысле, что члены одной и той же банды стреляли друг в друга. Если привести другие аналогичные фразы, то возникают новые возможности интерпретации. Так, фразе *the touching of the knees* по сравнению с *the broiling of the duck* можно дать целый ряд различных интерпретаций: два колена могут коснуться друг друга, причем колени как одного и того же, так и различных людей, при этом речь может идти о двух парах колен; до колен, принадлежащих одному и тому же или разным лицам, может дотронуться что-то или кто-то; с другой стороны, колени могут дотронуться до кого-то или до чего-то. Существует еще одна возможность интерпретации фразы *the touching of the knees*: речь идет о том случае, когда какое-то постороннее лицо заставило колени коснуться друг друга. Например, в разговоре о недавно просмотренном кинофильме можно сказать: *The touching of the knees* (о молодой паре, осознавшей в первый раз свое взаимное влечение) *was done* (постановщиком фильма) *in such a delicate way that this scene was one of the most moving of the whole picture*. Фразе *the broiling of the duck* с первого взгляда можно дать только одну интерпретацию, хотя нельзя упускать из виду, что в волшебной сказке, в которой роли действительной жизни перевернуты, утки, вместо того, чтобы стать жертвами подобных актов, начинают сами жарить что-то или кого-то. Фраза типа *the broiling of*

²⁸ E. M. Uhlenbeck, De systematiek der Javaanse telwoorden, «Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde», 109, 1953.

²⁹ «Aspects...», стр. 194. Жаль, что Хомский не упомянул в своем примечании, что в действительности я говорю о «чисто лингвистическом анализе...», и е о т я г о щ е н и о м в л и я н и е м л о г и к и («Proceedings», 1964, стр. 982).

³⁰ «Proceedings of the II International congress of phonetic sciences», Cambridge, 1936, стр. 49.

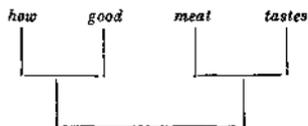
³¹ «Topics...», стр. 14.

the duck может также описывать время, метод или обстоятельства жарения. Она может иметь в виду и процесс, который имел место в течение определенного времени (the broiling of the duck took most of the afternoon или the broiling of the duck was told in great detail).

Возвращаясь к фразе *the shooting of the hunters*, важно отметить, что в кругах, симпатизирующих трансформационному анализу, видно, предполагалась строго определенный контекст подобных предложений: либо имелось в виду, что охотники действительно собрали и сами стреляли, либо в охотничьи стреляли. Нет сомнения в том, что подобные предположения не имеют никаких оснований. Слово *shooting* может относиться к совершенно различным действиям, например, к съемке кинофильма, к фотографированию или даже к очень быстрому движению. Подобным же образом возможно, что *hunters* относятся к собакам, используемым для охоты и привученным к охоте, или относятся к лошадям, используемым в этих же целях³². *The shooting of the hunters* может, таким образом, относиться и к фотографированию определенных собак или лошадей. Но даже, если заранее известно, что речь идет об охоте, организованной людьми, все равно существуют большие возможности различных интерпретаций. Некоторые из них сходны с теми, которые были даны для фраз *a duck* и *knees*; другие — несколько отличны: это объясняется той простой причиной, что «охотники» — не «утки» и не «колени» и что «стрельба по чему-нибудь» отлична от «жарения» и от «прикосновения».

Каковы те выводы, которые можно сделать из всего сказанного? Прежде всего следует согласиться с Дашеком, что трансформационная теория заимствовала термины из традиционной грамматики «без всякой предосторожности и без серьезного стремления к критическому пересмотру»³³. Во-вторых, концепция, согласно которой фразе *the shooting of the hunters* можно дать только «интуитивную» или «адаптивную» интерпретацию, основана на неполном наблюдении фактов, или, если отвлечься от латинского действительного употреблении, на очень сомнительном интуитивном знании со стороны посетителя языка (*native speaker*). В-третьих, оказывается, что действительная интерпретация не совсем определяется синтаксической структурой фразы. В-четвертых, необходимо отметить, что всякая интерпретация в большей мере, хотя и не полностью, зависит от двух лингвистических факторов: а) от лексического значения глагольной формы в существительного и б) от слов, которые одновременно встречаются в предложении. Наконец, имеется и логический фактор, который влияет на лексическое значения, связываемые в данной синтаксической структуре. Слушающий должен решить, каким образом говорящий намеревается взаимосвязать и передать данные лексические значения³⁴.

Упор, который делается на важности «глубинной» структуры, привел трансформационную теорию к определенному игнорированию анализа «поверхностной» структуры. Само по себе это вполне понятно. Если придерживаться взгляда, что лингвистический анализ — это не анализ того, что дано в лингвистической реальности, а главным образом исследование, относящееся к определенным логическим отношениям между терминами, не имеющими непосредственно наблюдаемых соответствий (*counterparts*) в действительных высказываниях (*utterances*), если стремиться к описанию своеобразного интуитивного знания, приписываемого носителю языка, то вряд ли можно интересоваться (по крайней мере глубоко интересоваться) тем, что представляет собой только поверхностную структуру исследуемых объектов. Следующие примеры иллюстрируют эту тенденцию. В своих блумингтонских лекциях Хомский, комментируя предложения (1) *they don't know how good meat tastes* и (2) *they don't know how good meat tastes*, заявляя, что в предложении (1) отношение между *good* и *meat* такое же, как в *meat tastes good*, а в предложении (2) отношение такое же, как в *meat is good*³⁵. Однако если исходить из скромной точки зрения «поверхностного» синтаксиса, то это просто ошибка. В предложении (1) вовсе нет прямого синтаксического соотношения между *good* и *meat*, ибо структура отношений в сегменте *how good meat tastes* следующая:



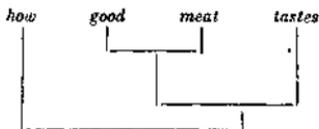
³² Согласно словарю «Websters Collegiate».

³³ Д а ш е к, 1964, стр. 226.

³⁴ Именно этот процесс все еще недостаточно понят. Формулировка, приводимая здесь, носит предварительный характер.

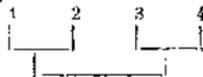
³⁵ «Topics...» стр. 6.

Словосочетания *how good* и *meat tastes* взаимосвязаны в противоположность предложению (2), которое, очевидно, имеет такую структуру отношений:



Для синтаксического анализа, который концентрирует основное внимание на выявлении структуры отношений «поверхностной» структуры, эти предложения не представляют особой трудности. Для лингвистов, не придерживающихся трансформационного анализа, вполне очевидным представляется простой, но многозначительный факт: в английских предложениях *John strikes me as pompous* и *I regard John as pompous* пары *John* и *strikes* и *I* и *regard* тесно связаны между собой; обращает на себя внимание тот факт, что форма *strikes* является обязательной в связи с наличием элемента *John*, а форма *regard* обязательна в связи с наличием предшествующего *I*. Следовательно, независимо от того, что за ними следует, *John* и *strikes* образуют словосочетание. То же относится и к группе *I* и *regard*. Поэтому анализ синтаксической структуры предложения *John strikes me* и *I regard John* показывает, что в обоих случаях эта структура идентична, ибо в каждой группе первые два элемента образуют самостоятельную группу, а эта последняя группа образует другую группу вместе с третьим словом. Конечно, имеются различия между двумя указанными группами. Они сводятся к следующему: имя собственное *John* принадлежит к другому классу слов по сравнению с *I* и *me*, относящихся к местоимениям; далее, значения глаголов *strikes* и *regard* — различны. Особенностью значения *strikes* является то, что он обнаруживает определенное сходство как с *hits*, так и с *gives the impression*. Именно этот семантический фактор обуславливает синтаксические затруднения Хомского³⁶. Однако возникает вопрос, могут ли и должны ли вообще семантические факторы обуславливать синтаксические затруднения. О том, что сторонники трансформационной теории испытывают трудности в случаях, подобных приведенным, свидетельствует их стремление развивать синтаксическую теорию, в то же время не развивая семантической. Если бы они были в состоянии более здраво взглянуть на соотношение между синтаксисом и семантикой и если бы, кроме того, они открыли для себя истинную природу явлений, на которых основывается различие между поверхностной и глубинной структурами, был бы расширен путь для более успешного исследования синтаксиса.

Здесь следует еще несколько остановиться на вопросе об анализе по непосредственно составляющим и на причивах, которые заставили нас усомниться в правильности такого анализа и предложить новую процедуру, отличную от традиционной. Уже тот факт, что применение анализа по НС к различным языкам в общем и целом ведет к одинаковым результатам, делает применение такого анализа весьма сомнительным. Из опыта известно, что как в фонологии, так и в морфологии существует большое разнообразие структур; спрашивается, почему при анализе структуры предложения преобладающей характеристикой является не различие, а единообразие? Более того, даже из нашего ограниченного ознакомления с синтаксическими структурами мы уже хорошо знаем, сколь различны могут быть языки в синтаксическом отношении. Если сравнить, например, латынь (с ее разветвленной системой спряжения и склонения, с ее правилами управления и согласования) с яванским языком, в котором эти явления полностью отсутствуют, кажется невероятным, что очень строгий механизм деления по НС мог в точности отразить совершенно иную синтаксическую реальность. Поэтому мы считаем методически здравым в своих исходных теоретических установках не учитывать принципы, на которых покоится анализ по НС. Нам представляется гораздо целесообразней поставить в центр своего синтаксического подхода универсальное явление группировки и истараться выяснить вопрос, согласно каким правилам и с какими семантическими результатами слова комбинируются в группы, а эти группы — слова в более сложных структурах. В этом основа синтаксиса. Одним из результатов подобного синтаксического подхода является то, что структура отношений фатического (когнатко-устанавливающего) слоя некоторых английских предложений типа *John hits the ball* гораздо лучше отражается графиком



³⁶ «Aspects...» стр. 162—163.

чем отделенная часть 1 от частей 2—4. Основным аргументом в пользу нашего анализа является то, что группировка элементов *John* с *hits* и *the* с *ball* не имеет ничего общего с предложением как таковым. Связи между членами этих двух пар существуют в и у т р и предложении, но не проходят ч е р е з предложение³⁷. Другим преимуществом нашего анализа является следующее: он показывает, что единичный структурный перерыв в предложении проходит между *hits* и *the*, в то время, как при традиционном анализе указывалось бы два таких перерыва, а именно, между *John* и остальной частью предложения и между *hits* и *the*. Более того, в английском языке имеются спонтанные формальные характеристики (-s в *hits*), которые выражают тесную связь между словами *John* и *hits*. Нашим намерением, конечно, вовсе не является доказать, что группы *John hits* и *the ball* синтаксически равноценны. Наоборот, они совершенно различны, не только потому, что члены каждой из этих конструкций принадлежат к различным морфологическим классам, но и потому, что как группы они обладают различными свойствами. Например, во второй группе артикль и существительное могут свободно разъединяться вклинивающимися прилагательными и некоторыми другими словами, в то время как в группе *John hits* слова не могут разъединяться прилагательными.

Для того чтобы избежать недоразумения, следует добавить, что наш анализ не имеет ничего общего с последовательным разбиением предложения на части и этих частей опять на еще более мелкие сегменты. Мы пытаемся лишь исследовать структуру откопшей в предложении, не применяя при этом строгих правил анализа по ИС и не смешивая лингвистические и логические соображения. Вполне может оказаться, что мы придем к выводу о том, что определенное слово соотносится не только с еще одним словом в предложении, но и с рядом других. Например, в таком словосочетании, как *big, red apples* (= яблоки, которые больше и красные) слово *apples* связано как с *big*, так и с *red*. Вполне понятно, что мы никак не сочувствуем упрощенческому взгляду, согласно которому во всех языках существительное или имя собственное с личной формой глагола (если такая имеется) должны всегда группироваться вместе. Это попросту означало бы замену одного плохого обобщения другим, не менее плохим. Мы пытаемся развить синтаксический метод, который в полной мере обнаруживает различия в синтаксической структуре, а не втискивать факты в узкое, заранее созданное прокрустово ложе сомнительного происхождения. Остается еще один источник возможного недоразумения. Мы вовсе не хотим сказать, что наш подход по своей природе является таковым, что мы не ожидаем никаких трудностей в процессе описательного исследования. Как раз наоборот. Прежде всего мы решили исследовать отношения, не делая никаких различий, касающихся природы самих этих отношений. Вполне может оказаться, что на более позднем этапе нашего исследования нам придется вести такие различия; основное состоит в том, что мы вовсе не хотим делать этого, если факты не выйдут нас. Именно такая постепенная и осторожная процедура кажется нам наиболее перспективной.

Хотя читатель, очевидно, уже сумел понять мое отношение к традиционной грамматике и особенно к традиционному синтаксису, для разъяснения моей позиции будет целесообразным добавить некоторые замечания о традиционной концепции морфологии. Кроме синтаксических терминов, таких, как «субъект», «предикат» и «объект», традиционная грамматика оперирует терминами так называемых частей речи³⁸. В то время, когда в лингвистике преобладал нормативный подход, когда изучение классических языков считалось наиболее важным, а лингвисты обычно располагали непосредственным знанием лишь индоевропейских языков, охотно допускали, что во всех языках можно и должно обнаружить примерно одинаковые классы слов. По мере того, как объем лингвистических исследований расширялся и становился доступными более широким лингвистическим данным, лингвисты все более и более осознавали, что традиционная терминология частей речи отражает слишком упрощенный и обобщенный взгляд на факты. Проблема частей речи стала широко дискутироваться и поныне нуждается в дальнейшем разъяснении. Сейчас твердо установлено, что нет ни одной морфологической категории, присутствия которой можно допустить а priori. Это не исключает возможности определенной степени универсальности. В своей более ранней работе³⁹ я пытался показать, каким образом универсальность отдельных классов слов может сосуществовать с индивидуальными особенностями каждого конкретного языка. Практика показала, что с методологической точки зрения в конкретном лингвистическом исследовании целесообразно не исходить из предвзятого, раз на всегда данного понятия существительных, глаголов, прилагательных и т. п. Наиболее надежным методом безусловно является такой, при котором сначала выявляются морфологические категориальные отношения, обнаруживаемые в исследуемом языке и лишь в том случае, если такие имеются, использовать традиционные наименования.

³⁷ См.: A. Reichling, 1965, стр. 99.

³⁸ Обзор разработки различия частей речи см.: V. B r ö d a l, Les parties du discours, 1948, стр. 23—85.

³⁹ E. M. U h l e n b e c k, The study of word classes in Javanese, «Lingua», 3, 1952—1953.

Морфологические исследования не только изменили явную концепцию различения привычных частей речи, но и имели другие позитивные результаты, которые следует кратко упомянуть. Прежде всего они показали, что внутри лексикон многих языков существует ряд словарных пар, характеризующих строго фиксированными различиями как в форме, так и в значении. Такие ряды можно назвать морфологическими категориями. Кроме того, эти морфологические категории образуют системы различной степени сложности. Такие системы можно назвать классами слов. Эти классы слов обычно не являются системами, изолированными друг от друга. Во многих случаях имеют место определенные морфологические или категориальные процессы транспозиции из одного класса слов в другой. Например, англ. *white*, наряду с рядом других слов, стоит, в частности, в категориальном соотношении с *whiter* и *whitest*. Соотношение *white* : *whiter* : *whitest* повторяется, например, в случаях *fat* : *fatter* : *fattest*. Наряду с *white* существует *whiteness*, подобно тому, как *fatness* существует наряду с *fat*. Ясно, что *whiteness* принимает участие в том же наборе соотношений, который существует между *house* : *houses* и рядом других подобных пар. Напротив, ни *house*, ни *houses* не располагают теми морфологическими возможностями, которые присущи *white*, *fat* и многим другим словам. Здесь ясно выступают две различные системы, обычно называемые существительными и прилагательными. Обе эти системы имеют свой внутренний порядок, но взаимосвязаны посредством различных процессов транспозиции, из которых я упомянул лишь аффиксацию с *-ness*. В таких языках, как английский, возможно определить позицию многих элементов словаря по их месту в различных морфологически определенных классах слов. Можно отметить каждый класс слов от смежных с ним классов на основе его внутренней структуры. Сами классы слов различны не только по степени сложности, но могут подразделяться на закрытые и открытые классы. Закрытые классы состоят только из ограниченных наборов слов определенной конфигурации; местоименные системы яванского языка, описанные мной, обладают подобным закрытым характером. Другие системы, как, например, системы английских существительных и прилагательных, являются открытыми, т. е. могут притягивать к себе новые члены. Я не буду входить в детали различной сложности, возникающей при морфологическом описании. Вообще, наиболее трудной частью анализа является семантическое описание внутренней структуры каждой системы. В этой области были получены ценные результаты, в связи с чем следует упомянуть работы Лотца⁴⁰ и Якобсона⁴¹. Различение маркированных и немаркированных категорий имеет огромное значение в изучении семантических величин морфологических систем⁴². В этом отношении традиционная грамматика не создала ничего, кроме ряда пометок типа «прощедшее время», «сложественное число», «сравнительная степень» и т. д. Эти термины не избраны а posteriori, после тщательного исследования семантических свойств морфологической системы изучаемого языка, а просто перенесены из классических языков, причем даже в этих языках ценность этих терминов стала весьма проблематичной. Кроме морфологических категорий, каждый язык обладает рядом синтаксических категорий. Это означает, что в данном языке ряд слов имеет одинаковую валентность, или способность соединяться с другими словами. Например, слова типа английского *house* разделяют общую со словами типа *houses* возможность соединяться с определенными артиклем в случае, если выполняются некоторые условия порядка их следования. Однако слова типа *house* отличаются от слов типа *houses* своей сочетаемостью с неопределенным артиклем. Этот пример показывает, что все ряды слов, которые морфологически принадлежат к одному и тому же классу, вовсе не должны обнаруживать одинаковых синтаксических свойств.

Главной целью этого очень краткого обзора современных морфологических исследований и проблем, которые перед нами встают, является стремление обратить внимание на необходимость очень критического отношения к морфологическим и синтаксическим постулатам, формулируемым Хомским в пункте III его обзора того, что приемлемо в традиционной грамматике⁴³. Следует еще высказать, в какой мере оправдано оперировать такими различиями, как числительные и имена существительные (*count nouns*), существительные, обозначающие массу (*mass nouns*), «душевные существительные», «абстрактные существительные», «человеческие объекты» и т. д. Задачей лингвистического исследования является выяснение вопроса о том, оправдан ли фантомный английский язык традиционный взгляд, согласно которому имена собственные являются подкатегорией в пределах существительных. В равной степени ясно, какова природа семантической реальности, передаваемая такими терминами, как «прощедшее время», «переходные глаголы», «прогрессивный вид». Заявляя, что эти термины передают общезвестную лингвистическую информацию, трансформации

⁴⁰ J. Lotz, The semantic analysis of the nominal basis in Hungarian, TGLC, 5, 1949, стр. 185—196.

⁴¹ H. Jakobson, Shifters, verbal categories and the Russian verb. 1957.

⁴² См. исследование Дак. Гринбергом языковых универсалий («Current trends in linguistics», 3, 1966).

⁴³ «Topics...», стр. 64.

ционная теория проходит мимо ряда вопросов, имеющих первостепенную важность в любом лингвистическом описании. Кроме того, трансформационная теория создает ложное впечатление того, что различия типа инсисливых существительных, «существительные массы» и т. д. непосредственно связаны с предложением как с определенной единицей, хотя в действительности они могут частично или даже полностью носить морфологический характер и относиться к корреляции формы и значения слов.

Вообще мне хотелось бы подчеркнуть целесообразность избрать средний путь. Ни полное отвержение, ни некритическое признание не представляются разумными. Что касается синтаксической теории, то из рассуждения Хомского о том, что можно сказать на основе традиционной грамматики о таких предложениях, как *sincerity may frighten the boy*, я принимаю главным образом следующее: перед нами временная последовательность пяти значимых элементов (в данном случае они все являются словами), которые могут образовать фатический слой предложения, причем эти пять слов принадлежат к различным четырем словарным классам. Не менее, чем в четырех важных отношениях, традиционная грамматика обнаруживает серьезные недостатки. Во-первых, она оперирует двусмысленной, а поэтому ненадежной терминологией; во-вторых, слишком упрощает часто очень сложные морфологические факты; в-третьих, ей не удается выяснить важность интонационной и просодической стороны предложения; в-четвертых, она стремится скорее к сегментации, чем к выявлению связи между элементами фатического (контактообразующего) слоя предложения. В связи с тем, что важным является выяснение лингвистических фактов, представляется целесообразным оперировать полноценным терминологическим аппаратом, который не только может отрицательно повлиять на конечные результаты. Поэтому с самого начала следует воздержаться от использования каких-либо элементов этой терминологии. Желательно также не применять и обычные типы анализа по НС, ибо при таком анализе, по крайней мере в ряде случаев, разделяется то, что является единым, и потому что такой анализ оперирует априорными постулатами (ср., например, первоначальное деление предложения на именную и глагольную фразы, или предпочтение соседних сегментов), для которых не приводится никаких убедительных доказательств. Кроме того, то положение, что традиционный способ рассмотрения предложения («связи времен», не представляется мне достаточно убедительным по следующим соображениям, относящимся к истории лингвистики. Синтаксис является той областью лингвистического исследования, которая вплоть до конца XIX в. существовала в преимущественно индоевропейской фонологии и морфологии Бругмана, он в сравнительном описании и сравнительному синтаксису⁴⁴ жаловался, что не может воспользоваться достаточно компетентной описательной работой по синтаксису различных индоевропейских языков. Нельзя также забывать, что вплоть до середины XIX в. синтаксис сыграл важную роль, интересной более для школьных учителей, чем пригодной для научного исследования⁴⁵. Даже в первые десятилетия нашего века в области изучения синтаксиса не было значительного прогресса. Книга Фиса о синтаксисе, опубликованная в 1894 г., не потеряла своей ценности и в 1927 г.⁴⁶, когда она была перепечатана без изменений. Собрание различных определений предложения, опубликованных Рисом⁴⁷ и Зайденем⁴⁸, вряд ли говорят в пользу того, что в области синтаксиса был достигнут какой-то успех. Не случайно, что структурализм начал с изучения звукового аспекта языка. Именно в этой области, чем в какой-либо другой, почва была лучше подготовлена для значительных новшеств. После 1930 г. структуральная лингвистика начала медленно переходить от изучения более мелких единиц языка к более крупным (добавим, и более важным).

Такие ученые, как фон Кювберг, Иссерлиан и Фейхтваангер выдвинули новые концепции относительно важности интонационного аспекта предложения⁴⁹. Последовали и другие работы, сплавившие возможным подобия к проблемам, поставленным синтаксисом — прежде всего работа Райлинга, посвященная изучению слова⁵⁰, и «Sprachtheorie» Вюлера⁵¹ — две монографии, которые воплощают в себе важный прогресс

⁴⁴ В. Делбрюк, *Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen*, 1 — 1893, 2 — 1897. См. «Введение» к т. 1, стр. 3—88.

⁴⁵ L. Lange, *Andeutungen über Ziel und Methode der syntaktischen Forschung*. «Verh. der 30-ten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Göttingen, 29 Sept. — 2 Oct. 1852».

⁴⁶ J. Ries, *Was ist Syntax*, 2-te Aufl., 1927.

⁴⁷ J. Ries, *Was ist Satz?*, 1931.

⁴⁸ E. Seidel, *Geschichte und Kritik der wichtigsten Satzdefinitionen*, «Jenaer Germanistische Forschungen», 28, 1935.

⁴⁹ См.: «Proceedings of the 1 International congress of phonetic sciences», Amsterdam, 1932.

⁵⁰ A. Reichling, *Het woord, een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik*, 1935.

⁵¹ K. Bühler, *Sprachtheorie*, 1934.

в понимании природы значения слова. Однако по различным причинам⁵² эти публикации не имели влияния на основное направление лингвистики. Период, предшествовавший трансформационной лингвистике, можно частично описать как ряд попыток экстраполировать выводы и методы, полученные в фонологии, в другие области языка, в сожаление, не всегда с полным пониманием специфических особенностей этих областей. Наиболее разительным примером такой плохо обоснованной экстраполяции, безусловно, была разработка морфемки, которая в сочетании с роковой болезнью семеофобией⁵³, преобладавшей в некоторых влиятельных кругах лингвистов, затормозила углубленный анализ соотношения синтаксиса и семантики, хотя, благодаря всему этому лингвистика осознавала важность дистрибуционных фактов. Единственное, что было сделано в синтаксисе — это незначительное усовершенствование давно существующих приемов, обычно преподаваемых в школах и в связи с этим обладающих своего рода непревзойденностью *prima facie*. В то же время мало внимания уделялось слову как лингвистической единице, причем во многих странах лексикология развивалась независимо от лингвистики⁵⁴. В условиях, когда в синтаксисе преобладают традиционные взгляды, когда семантика и лексикология остаются во многих лингвистических центрах пренебрегаемыми областями исследования, есть все основания думать, что только путем преднамеренных действий можно освободиться от существующих методов, только при этом условии можно надеяться, что традиционные приемы дадут возможность пролить новый свет на синтаксические факты. Для нас это означает необходимость возвратиться к изучению конкретного акта речи и на основе тщательно отобранного ряда общих принципов заново исследовать то, что действительно происходит, когда говорящие говорят, а слушающим, очевидно, удастся воспринять передаваемую информацию.

III

Вполне понятно, что трансформационная теория следует по совершенно иному пути. Вместо того, чтобы заново предпринять исследование явления речи, эта теория обращает свое внимание, если можно так выразиться, вовнутрь, т. е. вместо наблюдения действительного речевого поведения, трансформационная теория занялась наблюдением над носителями языка, или, используя обычную трансформационную терминологию, перешла от изучения непосредственного производства акта речи (*performance*) к изучению компетенции.

Понятие компетенции, всегда определяемое как интуитивное знание, присущее взрослому носителю языка, занимает центральное положение в трансформационной теории. Заявляется, что «компетенция создает базу для действительного употребления»⁵⁵, что теория производства речевого акта может быть развита лишь в том случае, если сначала разработана теория компетенции⁵⁶, и что «смысл грамматики заключается в описании внутренней компетенции говорящего и слушающего»⁵⁷. Следует далее отметить, что компетенцией не только считается певью лингвистического описания, но в то же время и надежным источником для контроля лингвистических данных. Этим хотят сказать, что лингвист может и должен обращаться к пятицици носителя языка, причем исходя из того, что носитель языка — хотя он может и ошибаться⁵⁸ — в состоянии судить, является ли предложение грамматически правильным, отклоняющимся от грамматической правильности, или аномальным, в состоянии судить о том, возможно ли то или иное явление в языке или нет⁵⁹. Представители трансформационной теории пытаются иллюстрировать примерами природу подобной компетенции. Подчеркивается, что знание, которым обладает говорящий на своем родном языке, является «весомым» в связи с его обширностью и детализованностью. Тем не менее допускается, что ребенок способен приобрести этот громадный опыт знания до того, как он начинает ходить в школу. Неоднократно говорится о том, что это знание не только

⁵² Книга Райклинга была написана на голландском языке и многим была недоступна; почему работа Бюлера в основном осталась неизвестной, было выяснено Гарвином в его некрологе Бюлеру («*Language*», 40, 1964, стр. 633—634).

⁵³ Этот термин был недавно создан Райклингом. См.: A. Reichling, *Meaning and Introspection*, «*Lingua*», 11, 1962, стр. 333.

⁵⁴ В американской структурной лингвистике понятие слова не приобрело того ключевого значения, которое оно получило, например, в голландской структурной лингвистике. Этой проблеме посвящено немного исследований, что объясняется, очевидно, нежеланием изучать семантический аспект языка. Исключением является великоценная статья Боллингера («*The uniqueness of the word*», «*Lingua*», 12, 1963).

⁵⁵ «*Aspects...*» стр. 9. Если это означает лишь то, что любая речь зависит от способности говорить, то никто, конечно, с этим спорить не станет.

⁵⁶ «*Topics...*», стр. 3.

⁵⁷ «*Aspects...*», стр. 4.

⁵⁸ «*Aspects...*», стр. 8.

⁵⁹ Это — обычная практика сторонников трансформационной теории при обсуждении конкретного языкового материала.

является несознанным и непровольным от явивида, но и таким, который в большинстве случаев нельзя сделать осознанным⁶⁰. То, что носитель языка обладает интуитивным знанием своего языка, вряд ли можно признать постулатом, специфическим только для трансформационной теории. То же мнение выражают и другие лингвисты и некоторые философы. Например, Блумфилд обращался к своему знанию как к опоре при анализе по НС, причем он заявлял, что любой человек, говорящий по-английски, безусловно, скажет, что непосредственно составляющими предложения *John ran away* являются *John* и *ran away*⁶¹.

Необходимо помнить, что допущение интуитивного и непровольного знания со стороны носителя языка является такой гипотезой, доказательства которой в настоящее время отсутствуют. На это указывал в лингвистике Олмстед⁶², а в философии Арне Нес⁶³ и Вексон Мейте⁶⁴. Кроме того, несмотря на заявление Хомского о том, что здесь нет никакого парадокса⁶⁵, допущение, что надежные суждения можно делать на основе знания, находящегося далеко за порогом потенциального сознания, представляет весьма затруднительную проблему для тех, кто принимает указываемую гипотезу Хомского.

Однако независимо от этого, серьезные возражения против этой гипотезы Хомского возникают и по другим соображениям. Для того чтобы повлиять на важность этих возражений следует помнить, что, согласно указанной гипотезе, носитель языка обладает способностью судить о встречаемости высказывания вне какого-либо контекста или ситуации. Тем не менее, в конкретной речи предложения всегда встречаются в определенном контексте и ситуации, причем именно этот контекст и эта ситуация (по крайней мере во многих случаях) определяют правильность высказывания. Другими словами, то, что может казаться отклоняющимся или аномальным вне определенного контекста и ситуации, становится совершенно приемлемым в нормальных как только оно попадает в тот или иной контекст или связывается с конкретной ситуацией. Если спросить носителя английского языка, является ли предложение *the bread opens* отклоняющимся от правильного, то он, видимо, ответит утвердительно. Однако весьма сомнительно, чтобы телезрителю считали предложением *Kilpatrick's bread opens and closes* аномальным или в какой-то мере отклоняющимся от правильного, когда он видит на экране, как крышка хлебницы открывается и опять закрывается. Подобным же образом, если спросить носителя английского языка, является ли *space goodies* возможной комбинацией слов, он, видимо, либо будет отрицать возможность подобной комбинации, либо будет считать ее весьма аномальной. Однако при чтении предложения *the air-force is full of plans for space-interceptors, space spies, space command posts and other space goodies*⁶⁶, он, видимо, не усомнится в правильности или приемлемости этого слова. Важно отметить, что в случае, подобном приведенному, носитель языка или писатель пользуется внутренней продуктивностью своего родного языка.

⁶⁰ См., например, предисловие Хомского к книге: *Roberts, English syntax*, 1964, стр. 10 и «Aspects...», стр. 8. В предисловии к книге Роберта Хомский пишет: «Эти принципы (т. е. принципы образования предложения и его интерпретации, формулируемые в грамматике — У. У.) могут быть вне пределов возможного интроспективного сознания (подобно тому, как это имеет место в случае принципов, лежащих в основе зрительного восприятия)». В «Aspects...» та же концепция выражена еще более ярко: «любая порождающая грамматика, заслуживающая внимания, должна в своем деле иметь дело с умственными процессами, выходящими далеко за пределы действительной или даже потенциальной сознательности».

⁶¹ L. Bloomfield, *Language*, 1963, стр. 161.

⁶² D. L. Olmsted, [ред. на кн.:] «Psycholinguistics», ed. by Ch. Osgood and F. Sebeok, «Languages», 31, 1955, стр. 47: «Самым удивительным улучшением в монографии является то, что автор повторяет одну из наиболее частых ошибок..., а именно, выдвигает суждения, приписываемые взрослому языку, при отсутствии адекватных данных или вообще при полном отсутствии каких-либо данных, если не считать переделки самого исследователя». См. также стр. 48.

⁶³ A. Nae, *Interpretation and preciseness*, 1953. Цитирую из «Предисловия»: «беседы с людьми, философски необразованными, убедили меня в том, что свойственная философски образованным людям интуиция относительно словесного употребления и языков восприятия других людей ведет к путанице и ошибкам».

⁶⁴ B. Mates, *On the verification of statements about ordinary language*, «Inquiry», 1, 1958: «Следует мимоходом упомянуть о точке зрения, или скорее своего рода увертке, которую никак нельзя принять всерьез. Речь идет о внешне удобном утверждении, согласно которому средний взрослый человек накапливает такое громадное количество эмпирической информации об использовании своего родного языка, что он может положиться на свою интуицию или память и не должен предпринимать трудоемкий опрос других людей даже в тех случаях, когда он имеет дело с замысловатыми терминами философии» (стр. 165).

⁶⁵ «Topics...», стр. 4.

⁶⁶ A. E. Tzioni, *The moonoggle*, 1966.

Во многих отношениях моя позиция может дать основания для разного рода недо-разумений. Мне вовсе не хотелось сказать, что слушающий ни при каких обстоятель-ствах не способен ухватить тех или иных особенностей того, о чем сообщает говорящий. Наоборот, хорошо известно, что сравнительно небольшой дифференциальный привязной фоэмы может оказаться достаточным для того, чтобы дать социальную характеристику говорящего. Если говорящий на голландском языке, вместо того, чтобы назвать город *Den Haag*, произносит *De Haag* с гласным пива и без конечного -t, то весьма велика вероятность того, что слушающий во счете его иррациональным и носителям литера-турного произношения голландского языка. в то время, как использовавшие фразы *op zich* вместо *op zich zelf*, во мнении многих говорящих на языке, будет свидетельство-вать о том, что перед нами носитель южных диалектов (возможно, католки). Однако независимо от такого социального диагностирования, вряд ли подлежит сомнению, что слушающий поймет (с удовольствием или раздражением), что говорящий использует какую-то необычную фразу или слово, или метафору, или особое выражение.

Конечно, моим намерением не является и отрицание того, что носитель языка может наблюдать за собственной речью или за речью других, а также может размышлять о том или ином предложении, слове или своем родном языке.

Я не хочу также сказать, что носитель языка никогда не может сделать какие-либо заявления, важные в том или ином плане для характеристики его языка. Я хочу лишь подчеркнуть: 1) что обычно в процессе речевого акта внимание как говорящего, так и слушающего сконцентрировано на том, что находится вне языка; в этих случаях язык функционирует как своего рода инструмент, которому никто не уделяет внимания пока он выполняет свою роль, в 2) что суждения носителя языка сами по себе нельзя считать отражающими релевантные особенности лингвистической структуры без тща-тельной проверки и большого исследования. Когда лингвист спрашивает носителя языка, является ли данное предложение грамматически правильным или нет, возможным или невозможным и т. д., он исходит из того, что говорящий в состоянии обзреть бес-предельное разнообразие обстоятельств, в которых может правильно употребиться предложение или фраза. Если говорящий не знает того факта, что в наши дни сыр иногда продается в бутылках, а вино экспортируется из Франции в банках, как может он решить вопрос о том, является ли предложение *Give me three bottles of cheese and two cans of Beaufolais* отклоняющимся от правильного или нет? Или, если мальчик, умо-ляя 227 на 2 произносит следующую последовательность предложений *two times seven is fourteen, two times two is five and two times two is four* и таким путем получает верное решение задачи, то можно ли сказать, что он произнес предложение, отклоняющееся от правильного? Да, если взять предложение, вырванное из его действительного окруже-ния; но из личного опыта я знаю, что ни мальчик, ни слушатель не осознавали, что в произнесенных ими предложениях было что-то необычное⁶⁷. Странность такого пред-ложения может в большой степени быть лишь продуктом нашего последующего размы-шления. В среду один из моих коллег сказал мне: *I had my Wednesday yesterday*, имея в виду, что он во вторник пригласил свою жену на завтрак в Институте вместо среды, т. е. вместо дня, когда в Институте обычно приглашаются жены. Случаи, подобные это-му, которые наком образом не могут признать исключительными, показывают, что перед носителем языка, выступающим в роли информанта, ставится задача высказать свои суждения о предложениях in abstracto, что во многих случаях не дает возможно-сти принять во внимание небольшие сдвиги в фактических обстоятельствах или изо-бретательность, которая в различной степени присуща носителю языка. Из длительно-го опыта работы с информантами мы знаем, что в пределах одной и той же лингвисти-ческой общности отношения носителя языка к своему родному языку могут в большой мере колебаться. Более того, один и тот же информант может давать неодинаковые от-веты в различные дни опроса, что вполне понятно, ввиду множества факторов, опреде-ляющих его поведение по отношению к своему языку.

Можно легко обнаружить, что целый ряд суждений, сделанных сторонниками трансформационной теории в отношении различных английских примеров, оказывается неприемлемым. Кат и Постал⁶⁸ считают, что словосочетание *honest geraniums* «не име-ет значения»; во разе предложение *I prefer those honest geraniums above these sophisticated looking orchids*, сказанное, например, на выставке цветов, можно в какой-то мере считать неприемлемым или грамматически неправильным? Те же авторы, которые счита-ют, что их суждения о родном языке носят аподиктический характер, заявляют, что такие предложения, как *John hardly likes bourbon, John drank any bourbon and did John drink any bourbon?*, являются аномальными или отклоняющимися от нормы, хотя и здесь совершенно ясно, на чем основан такой вывод⁶⁹. Совершенно удивительные

⁶⁷ Мальчик, о котором идет речь, — мой сын. Последовательность предложений в действительности произносилась на голландском языке.

⁶⁸ J. J. Katz, P. M. Postal, An integrated theory of linguistic descriptions, 1964, стр. 16.

⁶⁹ Katz — Postal, 1964, стр. 111—112. Грамматически совершенно правильными являются и такие предложения: *The paint is silent* (стр. 25), *I request that you*

выводы в этом отношении сделаны Робертсом в его книге «English syntax», написанной в духе трансформационной концепции. Мы узнаем, например, что предложение типа *the cat frightened the salmon* является грамматически правильным, однако как только перед словом *salmon* вставляется слово *called*, указанное предложение становится грамматически неправильным⁷⁰. Неудивительно, что Хомский-информант не мог во всех случаях предоставить Хомскому-лингвисту надежную информацию о синтаксической структуре определенных предложений. В своей недавней книге он признает, что ему как носителю английского языка в течение многих лет не приходило в голову, что между предложениями *I persuaded John to leave* и *I expected John to leave* существует грамматическое различие⁷¹. Независимо от того, является ли его первая реакция более правильной, чем позднейшее суждение, можно было бы вполне ожидать, что подобный опыт заставит его поставить под вопрос целесообразность руководствоваться таким неизвестным и мало изученным свойством, как интуитивное знание носителя языка, и обратиться к анализу отношений между носителем языка и его родным языком.

Мои собственные взгляды на отношение между адекватностью акта речи и компетентности основаны на следующих соображениях. Все лингвисты, независимо от их концепции⁷², признавали необходимость различения между языком и использованием языка. Это различие дает возможность познать тот факт, что язык не является объектом, непосредственно доступным лингвистическому наблюдению. Непосредственно доступна наблюдению лишь речь, т. е. конкретные случаи использования языка. Изучая их и вскрывая их общие свойства, лингвисты пытаются сделать адекватные выводы о языках, которые они собираются описывать.

Хотя лингвисты описывают отдельные языки, их стремления обычно намного шире. В действительности они считают своей конечной целью изучение языка с большой буквы или, другими словами, языка вообще, в его многообразных проявлениях во времени и пространстве.

При любом наблюдении и, конечно, при наблюдении конкретных актов речи, мы сознательно или несознательно, хотим мы этого или нет, опираемся на определенные теоретические соображения или находимся под влиянием таких соображений. Этот тезис, справедливо подчеркиваемый Хомским, был ясно сформулирован Г. Паулем в 1880 г.⁷³ Основной вопрос, на который следует дать ответ, состоит в том, какого рода теорию следует принять за исходную. Именно при ответе на этот вопрос мы сталкиваемся с проблемой лингвистических универсалий. Вся история лингвистики дает целый ряд иллюстраций той опасности, которой подвергается лингвист, руководствующийся в своих суждениях нелингвистическими соображениями, т. е. соображениями, чуждыми объекту нашего изучения. Поэтому для того, чтобы обеспечить успех своих наблюдений, лингвист должен категорически отвергнуть все, что прочно вошло в обиход общей лингвистической теории. Это означает, что только те общие понятия, которые являются универсально бесспорными, должны быть использованы в исходной теории, применяемой в качестве *point de départ* описательного исследования. Некоторые лингвисты, боящиеся каких-либо обобщений, предпочитают этого взгляда, что нет предела различиям между языками. Они полагают, что каждый вновь изучаемый язык, должен оказаться совершенно отличным от всех ранее известных. Однако это противоречит вашему действительному опыту. Нет и тени сомнения в том, что все известные языки обладают рядом основных и взаимосвязанных общих свойств. Тем не менее это, конечно, не означает, что все свойства полностью известны или могут быть непротиворечиво сформулированы. Следует отметить, что универсальная, хотя еще и неполная, модель⁷⁴ языка была намечена в статье Райхлинга, опубликованной в «Первой Нидерландской систематической энциклопедии» и в нашем кратком введении в лингвистику⁷⁵. Здесь достаточно отметить, что наша модель основана на тщательном

believe the claim (стр. 76), *I'll give you a dollar and come here* (стр. 78), *he eats any meat* (стр. 88), *the green way in which John drives the car*. Эти примеры можно было бы во много раз увеличить.

⁷⁰ P. R o b e r t s, *English syntax*, 1964, стр. 360. В уроке 41 этой книги приводятся еще более увлекательные примеры.

⁷¹ «Aspects...», стр. 22.

⁷² Гумбольдт, Табеленти и Соссюр делали различие между языком и использованием языка. Такое различие необходимо для любой лингвистической теории.

⁷³ H. P a u l, *Prinzipien der Sprachgeschichte*, 5-е изд., 1920, стр. 5: «Мы занимаемся самообманом, когда считаем, что самый простой исторический факт можно констатировать без определенной устной обработки (Spekulation)». Бюлер сделал правильное заключение о том, что это утверждение остается в силе, если выдуть слово «исторический».

⁷⁴ Я не говорю здесь о моделях в смысле различных видов описания (расположение элементов, парадигма слова).

⁷⁵ A. R e i c h l i n g, *De taal, haar wetten en haar wezen*, 1947, в кн.: «Eerste Nederlandse systematisch ingerichte encyclopedie», 2; расширенный вариант этой статьи см.:

анализе акта речи со стороны лингвиста, являющегося носителем соответствующего языка. Этим я вовсе не хочу сказать, что разделяю точку зрения, прямо противоположную позиции сторонников трансформационной теории. Наблюдение конкретных актов речи с помощью теории языковых универсалий само по себе еще не является достаточным. Как только лингвист начинает описание языка, перед ним сразу встает еще одна проблема. Вряд ли можно при описании языка полагаться только на наблюдение конкретной речи. Как я говорил ранее⁷⁸, лингвист должен использовать носителей языка в качестве информантов. Необходимость этого обусловлена следующим: данные, собранные только на основе наблюдения использования речи, являются случайными для целей конкретного описания и поэтому в принципе недостаточными. Необходимо обратиться к помощи носителей языка с тем, чтобы получить лингвистические данные, релевантные (или могущие оказаться релевантными) для исследования, проводимого лингвистом. Это означает, что лингвист заставляет информанта размышлять над явлениями, которым он обычно уделяет мало внимания. Для носителя языка размышление над своей речью является необычной операцией. Это справедливо, несмотря на тот факт, что носитель языка время от времени может совершать подобную же операцию, например, когда он хочет или ему необходимо сформулировать что-либо с особой тщательностью и точностью, или когда он пытается переформулировать что-либо, сказанное другими, когда он хочет буквально передать то, что сказали другие, или когда он умеренно желает подействовать на слушающего определенным образом.

Необходимо различать два типа исследования. Речь идет соответственно о случае, когда объектом изучения лингвиста является его родной язык, и о случае, когда он изучает чужой язык. В первом случае лингвист может выступать как свой собственный информант. Это имеет много явных преимуществ, но и создает серьезную проблему: лингвист должен строго ограничивать свою роль как информанта и как лингвиста. Весьма спорно, сможет ли он всегда последовательно проводить такое различие. Как бы то ни было, когда лингвист начинает изучение чужого языка, он должен разработать технику проведения лингвистического опроса. Согласно моему опыту, такая техника должна основываться на следующих общих принципах.

Прежде всего следует провести различие между предложениями, действительно произносимыми информантом, искусственными предложениями, вызванными к жизни под запором лингвиста, и металингвистическими операциями; во-вторых, для расширения возможности наблюдения, опрос должен проводиться на исследуемом языке, в-третьих, следует использовать более одного информанта с тем, чтобы иметь возможность сравнить данные, собранные независимо от каждого из них, и представить лингвистический материал, полученный от одного информанта, другому, в-четвертых, лингвист всегда должен основывать свои выводы на большом количестве материала, с тем чтобы свести к минимуму возможность ошибок; в-пятых, лингвист должен понять, что контакт, существующий между ним и информантом носит не односторонний, а двусторонний характер. Как тот, кто проводит опрос, так и тот, кто подвергается опросу, получают информацию путем взаимного контакта. В результате этого отношение информанта к своему языку должно изменяться по мере проведения сеансов опроса со стороны лингвиста. Задачей лингвиста является руководить информантом в связи с воозникновением этого неизбежного изменения в отношении к языку. Важно далее понять, что лингвистические навыки носителя языка в пределах одной и той же языковой общины развиты неравномерно. Одни индивидуумы более свободно обращаются языком, чем другие. Некоторые обнаруживают большую степень изобретательности, другие же лишены уверенности или более консервативны в своих суждениях. Некоторые оказываются в состоянии построить только весьма тривиальные предложения и не могут представить себе ситуации, в которой данное предложение могло быть произнесено. В качестве критериев лингвистических навыков могут использоваться различия характера и различия в лингвистическом образовании⁷⁹. Поэтому весьма желательно, чтобы лингвист в течение долгого времени работал со своими информантами с тем, чтобы понять их личность, их прошлое и их общее отношение к языковым явлениям. Согласно моему опыту работы с языковыми информантами, наилучшие результаты получаются при работе с носителями языка, обладающими различными способностями, так что один может дополнить другого.

A. Reichling, *Verzamelde studies over hedendaagse problemen der taalwetenschap*, 3-е изд., 1965, стр. 24—58; E. M. Uhlenbeck, *Taalwetenschap, een eerste inleiding*, 1959 (4-е изд., 1965).

⁷⁸ E. M. Uhlenbeck, *De studie der zgn. exotische talen in verband met de algemene taalwetenschap*, «Museum», 61, 1956. Английский вариант этой статьи появился в «Lingua», 9, 1960.

⁷⁹ Необходимо пояснить по крайней мере один сеанс опроса тому, чтобы развить себя в лингвистическом образовании, полученном информантом в школе или где-либо еще. Бывают случаи, когда лингвист не сознает, что информант просто повторяет ему то, чему он учился в школе.

Вряд ли нужно специально останавливаться на том, что следует воздерживаться от слишком прямых вопросов к информантам, например вопросов о том, можно ли считать определенную последовательность возможной или нет, так как понятие возможности предположения является настолько абстрактным и двойственным, что вряд ли можно получить какую-либо пользу от ответов на подобные вопросы. Важно также, чтобы во время вопроса лингвист не использовал технических терминов; например, не рекомендуется спрашивать о том, что является субъектом в предложении или сколько фонем имеется в определенном слове, хотя вполне возможно задать вопрос, рифмуются два слова или нет, предельно вводя понятие рифмы (если требуется с помощью нескольких простых примеров). Вообще надо стремиться по возможности держаться конкретных ситуаций в речи, сверять полученные данные с данными других информантов, считая формулировку обобщений и правил делом лингвиста. На основе результатов лингвистических опросов, а также данных, собранных при наблюдении над конкретной речью и, если возможно, данных письменного языка, лингвист приходит к определенным гипотезам относительно структуры языка. В этом именно и состоит для лингвиста «написание грамматики»⁷⁶. Такие грамматики весьма полезны для дальнейшего совершенствования исходной теории языка, которой оперирует лингвист. Эта теория, обогащенная и развитая на основе данных языкового описания, может в дальнейшем быть использована при изучении отдельных языков. Таким образом, устанавливается постоянное взаимодействие между построением теории и описанием языка.

Я вполне отдаю себе отчет в том, что методические установки, кратко и неполно описанные мной, вряд ли представляют собой вполне строгую процедуру для получения лингвистической информации. Мои цели при изложении этих установок сводились к двум моментам. Прежде всего представлялось важным подчеркнуть, что лингвистический опрос так же, как и опрос в психиатрической практике, требует большого мастерства в терпении⁷⁷. Речь идет о своего рода экзидиорвансии и тщательном исследовании, во имеющем вид чего общего с обычной техникой записи какого-то образца языка большей или меньшей протяженности. Во-вторых, моей целью было показать тот тип методических установок, которые вытекают из определенной концепции соотношения между носителями языка и его родным языком. Именно в этом пункте легко заметить большую разницу между нашей точкой зрения и той, на которой стоят представители трансформационной теории.

Характеристика природы лингвистических способностей носителя языка требует введения термина «навык» (skill)⁷⁸. Правда, речь представляет собой активность, обладающую уникальными свойствами, что, однако, не мешает нам признать, что она в некоторых отношениях сходна с другими сложными формами поведения, например, в том отношении, что действующее лицо обычно не сознает сложности тех действий, которые он производит⁷⁹. Игрок в теннис, который хорошо освоил эту игру, не сознает сложность движений тела, которые он производит при подаче. То же относится и к речи. Носитель языка (за исключением тех случаев, если он является лингвистом) не сознает, что при произнесении звукового отрезка речи он следует сложному набору правил. Он научился определять образцы вести себя в процессе речевого акта, но совершенно игнорирует как лингвистическую систему, которая при этом актуализируется, так и структуру высказывания, которое он производит. Правда, игрок в теннис и говорящий имеют способность (или, лучше, возможность) размышлять о том, что они делают соответственно во время игры в теннис или при использовании языка. Однако этот процесс размышления вряд ли автоматически и обязательно ведет к надежным результатам.

Высказывания, сознательно составленные по просьбе лингвиста, и особенно высказывания информантов о производстве своей собственной речи должны проверяться на основе данных, полученных при непосредственном наблюдении, т. е. на основе данных, которые можно собрать при наблюдении над игроком в теннис и говорящим соответственно в момент игры в теннис и в процессе речевого акта.

Мы слишком упростили бы существо дела, если бы заключили, что термин «навык» является достаточным для полной характеристики способности носителя языка. С этим связаны также различные виды знания. Анализ этого знания — весьма нелегкая задача. Для его определения следует с самого начала сделать по крайней мере два различия: различие между языком и использованием языка и различие между логи-

⁷⁶ См. великолепные замечания по этому вопросу Л. Лискера, Ф. С. Купера и А. М. Либермана («The uses of experiment in language description», «Word», 18, 1962).

⁷⁷ H. S. S i l l i v a n, *The psychiatric interview*, 1954. Эта книга очень полезна для тех лингвистов, которые хотят работать с информантами.

⁷⁸ Этот термин употребляется также Миллером. См.: G. A. M i l l e r, *Some psychological studies of grammar*, «American psychologist», 1962, стр. 748: «Мой подход, издаваемый здесь, состоит в том, что я рассматриваю язык как чрезвычайно сложный человеческий навык».

⁷⁹ В e n v e n i s t e, стр. 419: «Если не считать собственно лингвистического исследования, то мы обычно имеем очень слабое и поверхностное представление о тех операциях, которые мы производим в процессе акта речи».

ческим и семантическим компонентам знания. В последнем случае имеется в виду, что семантический компонент всегда является знанием, непосредственно и полно связанным с элементами языка, чего нельзя сказать о логическом компоненте.

Что касается языка, то каждый его носитель приобретает определенное количество знаний об определенном числе лексических элементов определенного типа. Тройственное ограничение, сделанное в нашей формулировке, необходимо по следующим причинам. Анализ семантического аспекта языка показал, что семантические явления намного более разнообразны, чем это обычно считается. Как указало Райхлинга и мной в более ранних публикациях⁶², необходимо различать прежде всего различные единицы. Семантическая природа слов отличается от семантической характеристики словосочетаний и предложений, с одной стороны, и от семантической значимости аффиксов и вообще всех морфем, с другой (этот термин применяется здесь ко всем самостоятельным элементам в пределах слова). Семантическая картина далее усложняется тем фактом, что не все слова имеют одинаковый семантический статус. Большинство слов имеет присущую им семантическую характеристику, но некоторые слова, такие, как *it* в *it rains*, такой характеристики не имеют. Те слова, которые обладают постоянной семантической характеристикой, распадаются на две группы: в первую группу входят такие слова, которые имеют независимое значение, а во вторую те, которые такого значения не имеют (например, английские артикли). Слова с независимым значением также не являются однородными; можно различить по крайней мере четыре различных класса: апеллятивы, деиктические слова, собственные имена и грамматическо-технические слова. Даже этот перечень различий может оказаться недостаточным для того, чтобы принять во внимание все семантическое разнообразие элементов, с которыми мы встречаемся при анализе контактустанавливающей функции предложения.

Что касается знания, которым обладает носитель языка, то нам кажется наиболее целесообразным (по крайней мере в настоящий момент) допустить, что носитель языка в определенной мере знает значение слов в этих четырех группах⁶³, хотя вовсе не обязательно, что его познания во всех четырех группах качественно одинаковы.

Второе ограничение («определенное количество») необходимо, ибо вовсе необязательно, что носитель языка обладает полным знанием лексических элементов, подлежащих исследованию. Его знание может быть не только полным, но и частичным; например, мало вероятно, что все носители английского языка знают, что слово *hunter* может относиться к собакам и лошадям, специально подготовленным для охоты. Особенно в отношении слов, имеющих разветвленную сеть значений (глаголов типа *to kill* или *to take* или существительных типа *use* и *class*), необходимо считаться с возможностью, что не все носители языка знают все различные оттенки их значения.

Третье ограничение («определенное число») требуется в связи с тем, что носитель языка не знает всех лексических элементов своего языка. Все, что совмещается, могут употребляться в правдальности этого, прочитав небольшую часть словаря своего родного языка⁶⁴.

Обращаясь к семантическому знанию, связанному с актом речи, можно заметить, что носитель языка, использующий такое предложение, как *the shooting of the hunters was very disappointing*, осознает оттенки смысла, входящие в значение *shooting* и *hunters*, которые он актуализирует. Кроме того, он знает то, что он говорит. Он знает, что посредством данного предложения он хочет информировать слушающего о том, что, по его мнению, собаки были плохо подготовлены к охоте, и что, как ему кажется, некоторые охотники оказались плохими стрелками. Задача слушающего состоит в том, чтобы различить, что именно говорящий хочет сообщить ему посредством данного предложения. Само по себе высказывание дает в его распоряжение целый ряд возможностей в этом отношении. Например, синтаксическая структура показывает, что лексическое значение *shooting* должно в определенной мере соотноситься с лексическим значением *hunters*. Наличие артикля перед обоими словами показывает, что говорящий, очевидно, что-то знает о предшествующей «стрельбе» и о каких-то «охотниках», связанных с этой «стрельбой». Хотя слушающий знает, по крайней мере в некоторой степени, лексические значения слов *shooting* и *hunters*, он еще не представляет себе, какие оттенки смысла обоих слов следует соотнести именно в данном случае. Это можно сделать только, если понять, какой референт служил точкой отсчета для говорящего. Другими словами, для правильной интерпретации, т. е. для интерпретации, ведущей именно к тому результату, который имел в виду говорящий, слушающий должен рассматривать семантическую информацию предложения «в правильном свете». Именно эта окончательная интерпретация и составляет логический аспект знания, связанного с актом речи. Возьмем еще один более простой пример. Если кто-либо скажет *I bought a newspaper*, то слушающий

⁶² Для тех, кому недоступны голландские публикации, я рекомендую статью А. Райхлинга в «*linguistic Beiträge*».

⁶³ См.: Reichling — Uhlenbeck. 1964, стр. 166—171 и статью, указанную в примеч. 82.

⁶⁴ Следует, очевидно, сделать и такие различия как, например, различия между «активными» и «пассивными» знаниями, т. е. способностью самостоятельно использовать слово и понимать его значение, когда оно употреблено другим.

должен звать, какой оттенок смысла слова *newspaper* следует применять. Сплетаченная структура предложения не может дать ему какую-либо информацию в этом отношении. Остается выяснить, хотел ли слушающий сообщить, что он купил экземпляр газеты «New York Times», или закупил издание газеты «New York Times».

В трансформационной теории различия, обсуждавшегося выше (язык, противопоставленный различным типам знания), не делаются. Представители этой теории употребляют только термин «знание», иногда квалифицируя его как «сознательное», «интуитивное» или «присущее акту речи» (*performative*). Все возражение против подобного рода практик сводится к тому, что в данном случае может произойти опасное смешение. Кап и Postal утверждают⁸⁵, что для любого говорящего на английском языке, вполне очевидно, что в предложениях *John drank the milk* и *the milk was drunk by John* отношение как *John*, так и *the milk* и глаголу *drank/drank* одинаково, т. е. в каждом случае *John* является «субъектом» глагола, а *the milk* — «объектом». Для говорящего на английском языке можно считать очевидным лишь то, что в обоих случаях речь идет о питье молока Джоном, но для него вовсе не является очевидным, какие синтаксические отношения между словами имеют место в обоих предложениях. В равной мере для него остается неизвестным точный семантический «склад» таких элементов предложения, как *the* и *by*.

Точка зрения, изложенная выше, дает возможность совершенно по-иному подойти к исследованию процесса усваивания ребенком своего родного языка. Хомский считает⁸⁶, что ребенок получает обширные знания своего языка еще до того, как он начинает ходить в школу. В другом месте он заявляет, что взрослый носитель языка полностью овладевает своим языком⁸⁷. Я считаю, что оба эти заявления являются грубыми преувеличениями. В соответствии с тем, что можно в действительности наблюдать, мы допускаем, что шестилетний ребенок получает навыки фонологического и грамматического порядка; однако, что касается семантического аспекта языка, то ребенок находится скорее в начале, чем в конце процесса освоения языка. Природа значения лексических элементов такова, что она допускает процесс постоянного обогащения и совершенствования, который может продолжаться в течение всей жизни. Это вполне созвучно еще Выготскому более 30 лет тому назад⁸⁸. То же подчеркивал и Мулен в своем замечательном исследовании общих проблем перевода⁸⁹. В возрасте шести лет ребенок еще не имеет опыта пользования всем разнообразием семантических средств, находящихся в его распоряжении, не имеет опыта правильно интерпретировать семантически сложные высказывания своего взрослого окружения. В рамках трансформационной теории, которая пытается максимально развить синтаксический аспект и свести к минимуму семантический аспект языка, процесс освоения языка нормальным ребенком превращается в своего рода чудо. Языку приписывается чрезвычайная сложность, выражающаяся в громадном ряде (все еще не сформулированных) правил, которые, несмотря на всю их сложность, якобы усваиваются маленьким ребенком в относительно короткое время. С нашей точки зрения, язык, хотя он и является комплексным, нельзя считать настолько комплексным, как это считают трансформационисты; более того, мы считаем, что процесс освоения языка не может быть завершен столь ранним возрастом.

(Продолжение в следующем номере)

Перевел с английского М. М. Миховский

⁸⁵ Katz — Postal, 1964, стр. 33. Подобным же образом в случае, когда Хомский заявляет: «любой носитель английского языка знает, что в предложении *John impresses Bill as incompetent* слово *incompetent* определяет *John*, а в предложении *John regards Bill as incompetent* слово *incompetent* определяет *Bill*, он прав в том отношении, что носитель английского языка знает значение обоих предложений. Однако говорящему неизвестна структура предложения. Не сразу можно понять, что задачей грамматики, и особенно, синтаксиса, является объяснение того факта, что в первом предложении *John* считается «некомпетентным», а во втором — *Bill*.

⁸⁶ N. Chomsky, *Some methodological remarks on generative grammar*, «Words», 17, 1961.

⁸⁷ N. Chomsky, G. L. Miller, «Handbook of mathematical psychology», ed. by R. D. Luce, R. R. Bush, E. Galanter, 1963, гл. 11 — «Introduction to the formal analysis of natural languages», стр. 275: «В связи с вопросом о том, как образом ребенок, не получивший никакого образования, может так быстро полностью освоить язык, перед педагогами-теоретиками возникают трудные проблемы, и далее на той же странице: «...Лингвистическое описание естественного языка является попыткой вскрыть природу овладения этим языком бегло говорящим на нем человеком».

⁸⁸ L. S. Vygotsky, *Thought and language*, 1962, стр. 124: «Открытие того факта, что значения слов представляют эволюцию, выводит научные мысли и речи из тупика. Значения слов являются скорее диалектическими, чем статическими образованиями. Они меняются по мере того, как развивается ребенок; они изменяются также параллельно различным путем функционирования мысли; стр. 115: «для того чтобы понять речь другого человека, недостаточно понять его слова, а надо понять его мысль».

⁸⁹ G. M. Colin, *Les problèmes théoriques de la traduction*, 1963, см. особенно гл. 9.

КОНСУЛЬТАЦИИ

Е. С. КУБРЯКОВА

О ПОНЯТИЯХ СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ

Обсуждению проблем, связанных с определением понятий синхронии и диахронии и разграничением областей и задач синхронических и диахронических исследований, в лингвистической литературе отводится особое место, и это не случайно. Указанные проблемы будут всегда входить в число тех кардинальных проблем языкознания, от правильного понимания которых зависит не только общее направление всей массы частных описаний отдельных языков, но в значительной степени и эффективность этой практической работы. Судя по публикациям последнего десятилетия, вопросы синхронии — диахронии продолжают интенсивно разрабатываться как у нас в стране, так и за рубежом. Отражением этого факта является как появление целой серии специальных монографий и статей на тему¹, так и вынесение данного вопроса на различные сессии и конференции². Рассмотрение вопроса занимает важное место и в ряде общетеоретических публикаций³. Естественно, таким образом, что в освещении и трактовке вопроса появилось много нового материала, который позволяет показать внутреннюю связь, существующую между известной ревизией прежних взглядов на соотношение синхронии и диахронии, и теми общими изменениями, которые произошли за последнее время в теории языка в целом.

По определению Соссюра, синхрония есть такой статус или такое состояние языка, для которого основными являются отношения, связывающие

¹ См., например: Э. Косерлу, *Синхрония, диахрония и история* (Проблема языкового изменения), «Новое в лингвистике», III, М., 1963; В. М. Жирмунский, *О синхронии и диахронии в языкознании*, ВЯ, 1958, 5; М. М. Гухман, *Понятие системы в синхронии и диахронии*, ВЯ, 1962, 4; Р. А. Будагов, Фердинанд де Соссюр и современное языкознание, «Р. яз. в шк.», 1966, 3; A. Sommerfelt, *Points de vue diachronique, synchronique et panchronique en linguistique générale*, 1962, стр. 59 и сл.; A. Martinet, *Linguistique structurale et grammaire comparée*, «Travaux de l'Institut linguistique», I, Paris, 1956; J. L. Trim, *Historical, descriptive and dynamic linguistics*, «Language and speech», 2, pt. 1, 1959; ср. еще: Г. А. Климов, *Синхрония — диахрония в статике — динамика*, сб. «Проблемы языкознания», М., 1967.

² Ср., например, материалы московской дискуссии 1957 г., опубликованные в виде сб. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков» (М., 1960); материалы Самаркандской Всесоюзной конференции по общему языкознанию на тему «Основные проблемы эволюции языка» (Самарканд, 1966, т. 1—2); принятые издание материалов симпозиума по исторической лингвистике в Техасском университете (авг. 1966 г.) и др. Пленарным докладом Б. Мальберга на тему о синхронии и диахронии был открыт последний Международный конгресс лингвистов, недавно состоявшийся в Бухаресте. См.: В. Мальберг, *Synchronie et diachronie*, Bucharest, 1967.

³ См., например: В. А. Успенский, *Структурная типология языков*, М., 1965, стр. 23 и сл.; Р. А. Будагов, *Проблемы развития языка*, М.—Л., 1965, стр. 16 и сл.; H. M. Hoenigswald, *Language change and linguistic reconstruction*, Chicago, 1960; W. P. Lehmann, *Historical linguistics*, New York, 1962, в др.

существующие элементы языка и образующие систему; напротив, для диахронии, или фаз эволюции языка, существенны другие отношения — связывающие элементы языка в порядке их последовательности и потому не воспринимаемые одним и тем же коллективным сознанием. В отличие от отношений первого типа эти связи системы не образуют⁴. Как тонко подметил еще Г. Шухардт, противопоставление синхронии и диахронии нередко совпадает у Соссюра и с оппозицией языка — речи⁵. За синхронией и диахронией стоят также разные области исследования: диахроническая лингвистика занимается в основном фонетикой, синхроническая же — общей грамматикой⁶. Более того. Лингвистика синхронная противопоставляется диахронической как наука о статике — науке о динамике⁷.

Если теперь свести эти взгляды в единую систему, окажется, что разграничение синхронии и диахронии основывается для Соссюра тем, что эти понятия включены в целую сеть противопоставлений и противопостоят друг другу по пяти признакам: 1) как статика — динамика, 2) системность — беспорядочность, 3) язык — речь, 4) грамматика — фонетика и, наконец, 5) одновременность — последовательность. Строгая дихотомия понятий строится для него не только на контрадикторности указанных явлений, но и на тесной взаимообусловленности самих противопоставляемых явлений внутри соответствующего понятия. Это побудило Соссюра прийти к окончательному выводу о том, что «противопоставление двух точек зрения — синхронной и диахронной — совершенно абсолютно и не терпит компромисса»⁸.

После более чем полувековой разработки этой концепции стало совершенно очевидным, насколько плодотворной была сама идея строгого размежевания двух планов рассмотрения языка и какие серьезные последствия имела она для совершенствования разных методов описания языка. Это не означает, однако, что признание целесообразности разграничения синхронии и диахронии ведет к полному признанию концепции в целом или всех отдельных пунктов теории. Можно полагать поэтому, что подлинное соотношение синхронии и диахронии предстает в нем свете как из-за того, что некоторые из указанных выше признаков не оказались по отношению к рассматриваемым понятиям взаимоисключающими (см. признаки 1 и 4), так и вследствие того, что часть из них вовсе не оказалась обязательно взаимосвязанными или сопряженными (см. признаки 1, 2 и 3 группы). Наконец, совершенно иная интерпретация такого признака языка, как системность, тоже поставила под сомнение релевантность критерия упорядоченности ~ неупорядоченности для дифференциации понятий синхронии и диахронии.

По всей вероятности, тезис Соссюра о бессистемности языковых изменений первым вызвал сомнения и справедливые возражения. Понимание развития языка как истории изолированных и случайных сдвигов было унаследовано Соссюром непосредственно от младограмматиков⁹, и оно во многом предопределило скепсис к возможностям исторических исследований как у самого Соссюра, так и за пределами женеvской школы.

⁴ См.: Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 103 и 89.

⁵ См.: Г. Шухардт, О книге Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики», в кн.: Г. Шухардт, Избранные статьи по языкознанию, М., 1950, стр. 191.

⁶ Ср.: W. P. Lehmann, Saussure's dichotomy between descriptive and historical linguistics, стр. 7 (ротапринтное изд. материалов Тихасского симпозиума по исторической лингвистике).

⁷ См.: Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 89.

⁸ См. там же, стр. 90.

⁹ Ср.: R. Jakobson, The concept of the sound law and the teleological criterion, в кн.: R. Jakobson, Selected writings, I, 's-Gravenhage, 1962, стр. 2.

Еще в 1928 г. Л. Ельмслев продолжал считать, что понятия языкового развития и системы языка несовместимы¹⁰. Однако уже большинство ранних фонологов, подчеркивает А. Мартине, начинают, вопреки Соссюру, рассматривать эволюцию звукового строя различных языков как эволюцию системы¹¹. Прагские лингвисты обобщают это положение, распространяя его и на другие области диахронической лингвистики. Сихронии и диахронии, — утверждают они в своих Тезисах, — в равной мере присущ системный характер, и это положение нельзя не признать одним из крупнейших достижений ученых этого направления¹². Дальнейшие исследования позволяют не только подтвердить правильность этого положения, но и существенно углубить его. В силу известной автономности узловых подсистем языка некоторые частные виды изменений (типа метатез, ассимиляций, переосмыслений в значениях слов и т. п.) приводят не к разрушению старой системы и даже не к перестройке всей системы в целом, а к перераспределению элементов и связей внутри отдельных подсистем¹³. Действие подобных изменений может являться поэтому весьма ограниченным и на первых порах связанным лишь с изменением в суммативных характеристиках системы. Общий системный принцип организации языка не исключает, таким образом, некоторой независимости системы en globe от переустройства внутри частных ее подсистем и, наоборот, независимости целого ряда сепаратных преобразований от основной конфигурации связей и элементов внутри системы.

Вместе с тем, определение языка как системы, т. е. как упорядоченного и целостного единства, означает, что нет и не может быть таких изменений в языке, которые произошли бы в о м и м о системы и которые так или иначе не затронули бы — отраженно и не сразу, иногда спустя длительное время и через множество промежуточных ступеней — общей системной организации языка¹⁴.

«Каждое преобразование, — пишет в этой связи Р. Якобсон, — ...оценивается лишь по той роли, которую оно играет в данной системе»¹⁵. Если распространить тезис о том, что «функционирование самонастраивающейся системы достигается за счет согласованного взаимодействия элементов, ярусов и подсистем системы, между которыми распределены частные функции», на язык¹⁶ и относить его в равной степени к синхроническому и диахроническому состоянию, придется признать, что само согласование взаимодействий может явиться и целью перестройки, и ее резуль-

¹⁰ L. Hjelmslev, Principes de grammaire générale, Copenhague, 1928, стр. 54.

¹¹ См.: А. Мартине, La phonologie synchronique et diachronique, стр. 2 (принятое над. материалов Венского конгресса по фонологии).

¹² Ср.: Э. А. Макаев, Сихронии и диахронии и вопросы реконструкции, сб. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», М., 1960, стр. 145 и Т. В. Булыгина, Прагская лингвистическая школа, в кн.: «Основные направления структурализма», М., 1964, стр. 50—52 и 84.

¹³ См.: Э. А. Макаев, К вопросу о соотношении фонетической и грамматической структуры в языке, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ] IX, 1956, стр. 205 и сл.; Б. А. Семенович, Об относительной самостоятельности развития системы языка, М., 1967 (в печати).

¹⁴ О сущности подобных опосредованных диахронических связей см., например: Э. А. Макаев, Понятие системы языка, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ], XI, 1957, стр. 11 и сл.; М. М. Гухман, Понятие системы в синхронии и диахронии, стр. 28 и сл.; Н. Н. Юр, Linguistic and cultural change, в кн.: «Language in culture and society. A reader in linguistics and anthropology», New York, 1964, стр. 459—460.

¹⁵ Р. Якобсон, Principes de phonologie historique, в кн.: R. Jakobson, Selected writings, I, стр. 203; ср. также: Е. Курлович, О методах внутренней реконструкции, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 404. См. также рассмотрение сдвигов у О. Семереньи sub specie systematis в работе: O. Szemerényi, Trends and tasks in comparative philology, London, 1962, стр. 7.

¹⁶ См.: Г. П. Мельник, Системная лингвистика и ее отношение к структурной, сб. «Проблемы языкознания», М., 1967, стр. 98.

татом, и, наконец, обоснованием или причиной последующих сдвигов. Изменение, таким образом, с одной стороны, служит источником информации о системе¹⁷ и сигнализирует о перераспределении частных функций и в том или ином звене системы; с другой стороны, оно вызывает к жизни новые преобразования и оказывается тем импульсом, который мотивирует дальнейшие изменения. Разумеется, охарактеризовать понятие системы применительно к развивающемуся объекту несравненно труднее, чем по отношению к объекту статическому¹⁸. Тем не менее оно совсем не кажется нам таким бессодержательным, как это представляется отдельным лингвистам¹⁹, и современное языковедение сделало уже очень много, чтобы раскрыть суть этого понятия и в диахронии.

Значительный интерес в плане такого уяснения понятия представляет, например, изучение членов системы через изучение их функциональной нагрузки и доказательство того, что в эволюции элементов эта последняя играет существенную роль²⁰. Плодотворными представляются и попытки чешских лингвистов объяснить различные изменения в области исторической фонологии с помощью понятия внутренней (динамической) солидарности; впоследствии это понятие было с успехом распространено и на объяснение взаимосвязи, наблюдаемой в диахронии между фонетической, грамматической и лексической «частными системами»²¹. Следует, наконец, особо отметить и работы советских лингвистов, в которых было раскрыто понятие давления системы и конкретизировано, в чем именно может заключаться роль системы языка в его диахронических преобразованиях²².

Важно в то же время подчеркнуть, что внедрение системного принципа в историю языка ознаменовалось новыми успехами не только в изучении о р г а н и з а ц и и я з ы к а как динамической системы, но позволило сделать серьезный шаг вперед в поисках п р и ч и н языковых изменений.

По мысли Соссюра, эволюция языка всегда начинается с эволюции его фонетического строя и потому диахроническая лингвистика исчерпывается по существу исторической фонетикой²³. Но если революционизирующий характер в общем изменении системы нельзя приписать только одному ее звену — фонетическому²⁴, противопоставление синхронной лингвистики лингвистике диахронной, основанное на отведении им разных областей исследования, тоже отпадает. Ни синхрония не исчерпывается одной

¹⁷ Ср.: W. P. Lehmann, Types of sound change, «Proceedings of the IX International congress of Linguists», London, 1964, стр. 662.

¹⁸ Ср.: Н. Д. Андреев, Полихрония и таутохрония, сб. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», стр. 52.

¹⁹ См., например: М. И. Стеблян-Каменицкий, О симметрии в фонологических решениях и их неединственности, ВЯ, 1964, 2, стр. 52.

²⁰ Ср. работы А. Мартина и особенно его «Принципы экономики в фонетических изменениях» (М., 1960), стр. 78 и сл.

²¹ См. подробнее: Т. В. Булыгина, указ. соч., стр. 87 и сл.; A. Martinet, La phonologie synchronique et diachronique, стр. 9.

²² Помимо работ, указанных выше, см. также: Э. А. Макаев, Понятие давления системы и иерархия языковых единиц, ВЯ, 1962, 5; А. А. Реформатский, О соотношении фонетики и грамматики (морфологии), сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955; В. Н. Яцева, К вопросу об историческом развитии системы языка, сб. «Вопросы теории и истории языка», М., 1952; В. Е. Виноградов, Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, там же; А. А. Уфимцева, Опыт изучения лексики как системы, ч. III, М., 1962.

²³ См.: Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 134.

²⁴ О возможном влиянии других уровней на изменения в области фонетики и фонологии см. в обзоре: Г. С. Ильичов, Развитие диахронической фонологии за последние годы, ВЯ, 1962, 4; см. также: П. Вахек, Пражские фонологические исследования сегодня, сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 105—110; Я. Б. Крупатки, Две проблемы исторической фонологии, ВЯ, 1958, 6, стр. 36 и сл.

грамматикой, ни диахрония — одной фонетикой. Частичное решение задач исторической лингвистики под новым углом зрения — с точки зрения соотносительности всех элементов языковой системы на любом этапе развития языка — уже позволяет сделать некоторые выводы и относительно самого понятия «система языка». Так, центральным ядром данного понятия можно, по-видимому, считать не столько некие статичные признаки ее упорядоченности или регулярности (типа симметрии, принципа заполнения пустых клеток и т. п.), но признаки единства и целостности, т. е. организацию объекта по принципу оптимальной согласованности структуры и субстанции, а отсюда и организацию *ou tout se tient*. Именно в таком понимании система безусловно присутствует в диахронии и даже предопределяет в известной мере направление развития языка.

Исходя из предпосылки об общей согласованности языковых явлений в любом состоянии языка, мы можем предусмотреть, что будет с тем или иным элементом системы, если данный изменится определенным образом: структурные модели, основанные на данном принципе, позволяют поэтому установить (и сократить) число допустимых переходов от одного состояния к другому²⁵. Создание подобных моделей означает реальную возможность представить историю языка как цепь трансформаций последовательных состояний языка, связанных сеткой закономерных переходов²⁶.

В целом, таким образом, уже можно считать доказанным, что «в любой „хронии“ язык всегда остается системой и структурой» и что «факты» языка обладают подлинной исторической реальностью как члены системы и структуры²⁷.

Противопоставление синхронии и диахронии, по Соссюру, как бы повторяет, с одной стороны, наиболее существенное для оппозиции языка — речи противопоставление социального индивидуальному (ибо все изменения носят индивидуальный, частный и случайный характер), с другой стороны, это противопоставление дублирует отношения статики и динамики. «Все диахроническое в языке, — утверждает Соссюр, — является таковым через речь»²⁸. Иначе говоря, эволюционирует исключительно речь, язык же остается вне этого процесса и лишь опосредованно отражает его. Полемизируя по данному поводу с Ф. де Соссюром, Э. Косериу правильно указывает, однако, что «не только все диахроническое, но также и все синхронное в языке является таковым только благодаря речи, хотя речь в свою очередь существует только благодаря языку»²⁹. Таким образом, поскольку все явления языка базируется в конечном итоге на явлениях речи, а речь изменчива, со временем меняется и язык. Эволюционирует, однако, и система языка, ибо, как мы видели, и в ней самой заложены известные предпосылки будущих преобразований.

В то же время любое познание языка опирается на познание речи³⁰. Вместе с тем характер умозаключений о языке зависит от того, какую цель преследует исследователь, анализируя речь: один и тот же материал, непосредственная данность, может служить источником разных сведений.

²⁵ См.: В. Н. Топоров, О структурном изучении языка, «Р. яз. в нац. шк.», 1961, 1, стр. 78; ср. также: R o d o l f J a k o b s o n, Diachronic studies in transformational terms, «Résumés des communications du X Congrès International des Linguistes», Bucarest, 1967, стр. 161.

²⁶ Ср.: В. Н. Топоров, О некоторых архаизмах в системе балтийского глагола, «Intern. Journal of Slavic linguistics and poetics», V, 1962, стр. 31.

²⁷ А. А. Реформатский, Принципы синхронного описания языка, сб. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», стр. 38.

²⁸ Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 102.

²⁹ Э. Косериу, Синхрония, диахрония и история, стр. 157.

³⁰ См.: А. И. Смирницкий, Объективность существования языка, М., 1954, стр. 19.

Явление получает различную интерпретацию в соответствии с выбранной заранее точкой зрения на предмет. Подобными различными точками зрения являются и синхрония — диахрония. Однако определение их только как двух условных точек зрения (или планов рассмотрения) односторонне и потому недостаточно. Ведь в принципе любое явление действительности можно рассматривать и с точки зрения его происхождения, и с точки зрения его назначения, и с точки зрения его состава, и с точки зрения его конфигурации и т. п., и для менее сложных объектов обычно бывает достаточно одного из таких подходов. Для адекватного познания языка это исключено. При его изучении мы никак не можем ограничиться какой-либо одной из указанных точек зрения. Сложность объекта вызывает не только требование всестороннего его исследования (и субстанционального, и системного, и функционального, и структурного, и генетического), но диктует зачастую и требование сочетать эти разные типы подходов. В то же время уже познанные — пусть и в самом общем виде — онтологические свойства языка предопределяют не только пути и направления познания (планы рассмотрения), но и наиболее рациональные формы анализа.

Системность языка требует его изучения как системы. Особое значение языка — быть средством коммуникации — ставит неурегулированным условием в изучении языка его рассмотрение как целенаправленной системы и как системы знаков. Наконец, изменчивость языка обуславливает необходимость его анализа как динамической системы, а особый характер развития этой системы — темпы ее преобразования и неравномерности перестройки отдельных звеньев системы — ведет в конечном счете к необходимости рааграничить методы изучения разных «состояний» языка. В одном случае мы описываем состояние языка в том его виде, в каком он существует для его носителей. В другом — тоже как часть объективной истории его существования, но под другим углом зрения — происхождения и генезиса систем. Для разграничения этих случаев основное — типы наблюдающихся оттошений (см. ниже), но, по всей вероятности, немаловажное значение имеют здесь и формы наблюдающегося движения.

Соссюр выразил эту мысль, подчеркивая, что синхрония — это статика, а диахрония — динамика. Поскольку, однако, было абсолютно ясно, что язык никогда не перестает развиваться, тезис этот стали истолковывать в том смысле, что синхронный подход условен, что он означает изучение языка в «составленном», т. е. искусственном состоянии, что при этом мы полностью абстрагируемся от любой динамики. Началось целое движение за внедрение в синхронное понятие эволюции, тенденций развития, активных процессов и т. д. Прежде чем попытаться раскрыть подлинный смысл соссюрского тезиса о статике и динамике, надо, однако, указать на двусмысленность понятия статикн применительно к языку. Конечно, можно понимать статику более широко, как абсолютную противоположность динамике и потому полное отсутствие движения. Можно, однако, подразумевать под статикой и отсутствием изменений, что отнюдь не одно и то же. Опирируя понятие статикн, Соссюр имел в виду именно второе значение термина. Но тогда все сказанное в теории языка о несовпадении синхронии и статикн хотя, безусловно, и правильно, не имеет все же прямого отношения к критике соссюрских позиций.

На наш взгляд, описание языка в синхронии (определенном состоянии) есть описание известного куска объективной действительности, среза, выбранного из общего потока развития языка (истории) на основании ряда определенных признаков, в частности, по отсутствию изменений. В то же время отсутствие изменений не означает отсутствия движения и нельзя провести знака равенства между подвижностью (динамикой) языка и его изменчивостью.

В силу своего назначения язык может существовать только как объект, нестатический по своей природе³¹ — это общезвестно. Язык должен удовлетворять изменяющимся нуждам своих носителей, и потому, чтобы обеспечить обмен информацией, ее передачу и хранение, он должен развиваться вместе с развитием того общества, которое он обслуживает. Но главное свойство языка — служить адекватным средством коммуникации — налагает на систему языка не только вполне определенные требования в смысле постоянного приспособления к новым нуждам и потребностям, но и вполне определенные ограничения. Так, интересы общества требуют прежде всего, чтобы никакие преобразования, происходящие в языке, не нарушали возможности взаимопонимания между членами коллектива, принадлежащими к разным возрастным или социальным группировкам. Тем самым, реальные возможности и пределы перемен в языке всегда не только социально обусловлены, но и социально ограничены. Эволюция языка мыслима поэтому «лишь как сумма из многих небольших сдвигов, накопившихся за несколько веков или даже тысячелетий, на протяжении которых каждый отдельный этап или каждый отдельный случай преемственной передачи языка (от поколения к поколению) привносил только неощутительное или мало ощутительное изменение языковой системы»³². В таком состоянии «мало ощутительных» или даже совсем «неощутительных» перемен и существует язык для его носителей.

Развитие языка осуществляется как чрезвычайно медленный процесс, попеременно затрагивающий разные звенья языковой системы, и положение о том, что язык непрерывно изменяется, следует, по всей видимости, понимать лишь в том смысле, что процесс совершенствования и создания системы языка никогда не прекращается. Это не означает, однако, что язык — весь и беспрестанно — постоянно перекраивается. Динамика составляет абсолютное, но ограниченное в своих пределах качество живого языка, статика же — свойство относительное, но неограниченное и, главное, временное. О последнем с предельной ясностью писал еще Боуэн де Куртенэ³³. Но определение тех или иных явлений как устойчивых или, напротив, как нестабильных, подвижных, обязательно предполагает их рассмотрение в определенных исторических границах. Как правильно утверждал Э. Косериу, «статичность», хотя это и может показаться парадоксальным, является не синхроническим, а диахроническим фактом: чтобы обнаружить ее, надо рассматривать язык во временной перспективе»³⁴.

Как только, однако, мы начинаем рассматривать язык указанным способом, мы наблюдаем два рода явлений — воспроизводящихся без изменений, с одной стороны, и модифицируемых, с другой. Это обстоятельство, хорошо известное чисто эмпирически, еще недооценивается в теоретическом плане. Одностороннее понимание эволюции только как изменчивости приводит к тому, что диахроническую лингвистику начинают определять как учение о языковом изменении³⁵. Не возражая по существу против возможности выделить эту область исследования в самостоятельную дисциплину, мы, однако, не можем согласиться с тем, чтобы свести

³¹ Ср.: Г. А. Климов, *Синхрония — диахрония и статика — динамика*, стр. 31.

³² См.: Е. Д. Поливанов, *За марксистское языкознание*. Сб. статей, М., 1931, стр. 41.

³³ И. А. Боуэн де Куртенэ, *Некоторые из общих положений, к которым довел Боуэна его наблюдения и исследования явлений языка*, в кн.: И. А. Боуэн де Куртенэ, *Избранные труды по общему языкознанию*, I, М., 1963, стр. 349.

³⁴ Э. Косериу, *указ. соч.*, стр. 322.

³⁵ Ср.: Н. М. Ноепигсвальд, *Language change and linguistic reconstruction*, Chicago, 1960, стр. 3.

всю диахроническую (или историческую) лингвистику к изучению заменений. По всей вероятности, и здесь наступило время обратиться к исследованию наиболее устойчивого и константного. Ведь даже чисто априорно можно предположить, что сама сохранность тех или иных явлений на протяжении длительного периода свидетельствует о спелости их роли в системе данного языка и что их резистентность по отношению ко всякого рода воздействиям как-то обусловлена. Именно поэтому наблюдения за тем, какие из звеньев системы (и почему именно они) характеризуются значительной устойчивостью, могли бы пролить свет на то, какие элементы языка являются наиболее фундаментальными для его структуры³⁵. О том, что в диахронии всегда присутствуют элементы статичности, косвенно свидетельствуют и показания самих говорящих. Так, у носителей языка, которые, как правило, чутко реагируют на любые отклонения от нормы в речи окружающих, никогда не возникает ощущения, что язык, на котором они говорят и который слышат вокруг себя, перестает являться идентичным самому себе³⁷. Обоснования этого интуитивного ощущения коренятся, безусловно, в объективной действительности. Но если диахрония не только динамична, но и статична, то при анализе синхронии важно показать обратное, а именно, что синхрония не только статична, но и динамична, т. е. она не только не лишена движения, но и проявляет его в самых различных формах³⁸.

Уже отмечалось неоднократно, что черты динамики отражаются в синхронии в виде различий между продуктивными и непродуктивными образованиями, между формами «живыми» и «мертвыми», между архаизмами и неологизмами и т. п. Быть может, следовало бы отметить особо и то обстоятельство, что динамизм в языке связан и с понятием процесса, которое, вопреки усилиям лингвистов целого направления, так и не смогли устранить из синхронного описания языка и которое, по мысли представителей другого направления, составляет неотъемлемую черту динамических синхронных моделей. Не случайно поэтому сильные стороны того или иного синхронного описания усматривают как раз в том, что оно строится не как голая схема, а как отражение реальной языковой данности, т. е. с учетом тенденций развития³⁶, с учетом нерегулярных форм, всякого рода маргинальных образований и пристальным вниманием к единицам с неустойчивым и неопределенным статусом. Адекватный синхронный анализ обязательно предполагает не только описание стратификации явлений (сетки оппозиций), но и правильную ретроспективную и проспективную ее оценку, выявление «слабых» и «сильных» позиций в системе⁴⁰.

Обычно считается, что невозможность исключить понятие эволюции из синхронии была впервые подчеркнута пражскими лингвистами и особенно Р. Якобсоном, который, действительно, неоднократно говорил о несопадении синхронии и статичности⁴¹. Справедливости ради следует, од-

³⁵ Ср.: W. Cowgill, A search for universals in Indo-European diachronic morphology, сб. «Universals of languages», Cambridge, Mass., 1963, стр. 91; J. A. Fishman, Language maintenance and language shift as a field of inquiry, «Linguistics», 9, 1964.

³⁷ Ср.: А. Мартинэ, Основы общей лингвистики, «Новое в лингвистике», II, М., 1963, стр. 529.

³⁸ Ср.: С. К. Шаумян, Структурная лингвистика, М., 1965, стр. 14—17; V. Guiraud, Synchronie et diachronie dans l'étude de la langue, «Résultats des communications...», стр. 133.

³⁹ Ср.: В. М. Жирмунский, О синхронии и диахронии в языкознании, стр. 47 и след.; Р. А. Будагов, Фердинанд де Соссюр и современное языкознание, стр. 13 и сл.; E. Pulgram, French [ə]: statics and dynamics of linguistic subcodes, «Lingua», X, 3, 1962.

⁴⁰ См.: В. Н. Ярцева, Диахроническое изучение системы языка, сб. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», стр. 39.

⁴¹ См. подробнее: Т. В. Булыгина, указ. соч., стр. 50—52.

нако, отметить, что аналогичные взгляды еще до пращев высказывал Бодуэн де Куртене⁴³ и почти одновременно с ними — Е. Д. Поливанов. Так, в 1933 г. он писал о том, что в современных языках представлены целые ряды «неразрешимых диалектических противоречий», в силу чего «мы вынуждены здесь рассматривать относящиеся сюда явления не чисто в статическом (описательном) аспекте, но именно как явления т е к у ч и е и п е р е х о д и м ы е...»⁴³. Не вызывает сомнения, однако, что, описывая подобные явления, мы все же не вступаем в область диахронии.

Итак, хотя синхронно и диахронно и нельзя противопоставить прямолинейно как статику (абсолютную неподвижность) — динамике, противопоставление их по формам наблюдающегося движения необходимо. «Проблема устойчивости, статики во времени, становится неотъемлемой проблемой диахронической лингвистики, в то время как динамика, взаимодействие субкодов внутри языка в целом, вырастает в один из центральных вопросов лингвистической синхронии», — указывает Р. Якобсон⁴⁴.

Исходя из всего вышесказанного, можно также полагать, что основными формами движения в языке являются и з м е н ч и в о с т ь, п е р е и т е г р а ц и я и в а р ь и р о в а н и е. Динамика — не только в конечных результатах преобразований, но и в их протекании, в ходе подготовки изменения и его распространения, в формировании одних единиц и устаревании других, в процессе проведения изменения и й. Изменение же как результат этого процесса, как нарушение тождества единицы подготавливается в синхронии, но не происходит внутри нее; чтобы обнаружить изменение в собственном смысле этого слова, необходимо сравнить по крайней мере два синхронных среза. Переинтеграция и варьирование подготавливают изменение.

Представляя собой и результат предшествующей истории языка, и предпосылку предстоящего изменения, варьирование, как и переинтеграция, демонстрирует разные формы движения, отличные от изменений. Так, переинтеграция не означает нарушения материального тождества, знаменуя только распределение единиц на новых началах. Варьирование же, в отличие от изменения, характеризуется н е о т н о ш е н и я м и з а м е щ е н и я, а о т н о ш е н и я м и р я д о п о л о ж н о с т и, с о с у щ е с т в о в а н и я.

Именно это фундаментальное различие двух разных типов отношений между языковыми элементами и определяет различие синхронии и диахронии. Наиболее четко сформулировал это различие Ф. де Соссюр, но еще и до него о том же писали Н. Я. Крушевский и Бодуэн. Н. В. Крушевский говорит о связях двух рядков — порядка сосуществования и порядка последовательности⁴⁵; Бодуэн подчеркивает расхождение между оценкой того, что существует рядомположно, *Nebeneinander*, и характеристикой того, что существует *Nacheinander*, т. е. сменяя одно другим⁴⁶; наконец, Соссюр предлагает ввести для определения статуса языкового

⁴³ И. А. Бодуэн де Куртене, Заметки на полях сочинения В. Е. Радлова, в кн.: И. А. Бодуэн де Куртене, Избранные труды... II, М., 1963, стр. 186.

⁴⁴ См.: Е. Д. Поливанов, Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком, Ташкент, 1933, стр. 17.

⁴⁵ Р. Якобсон, Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языковедение, «Новое в лингвистике», III, стр. 104; см. также предисловие Д. Хаймса к разделу о языковых изменениях в хрестоматии «Language in culture and society», стр. 451.

⁴⁶ См.: Н. В. Крушевский, Очерк науки о языке (1883 г.), в кн.: В. А. Звегиндов, История языковедения XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. I, М., 1960, стр. 254.

⁴⁷ Ср.: J. Baudouin de Courtenay, Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen, Strassburg, 1895.

явления особую систему координат, в которой ось одновременности противопоставит оси последовательности⁴⁷. Оставляя в стороне вопрос о пригодности самой системы координат, предложенной Соссюром⁴⁸, отметим лишь, что идеи названных ученых позволяют рассматривать синхронную и диахронную как разные системы измерения. В одной из этих систем измерения мы устанавливаем отношения между сосуществующими элементами и, анализируя текст как непосредственную данность, определяем распределение элементов и их функциональную нагрузку по соотносительности вычлеченных единиц. В другой системе измерения, сравнивая одну непосредственную данность с другой, мы устанавливаем отношения преемственности или отношения замещения и начинаем судить о языковых элементах в терминах их взаимозависимости во временном следовании.

Некоторые лингвисты еще продолжают считать, что указанные системы измерений радикально различны друг от друга в своем отношении к фактору времени. Это не совсем точно. Основной принцип синхронного рассмотрения — это не минимум времени, а минимум изменения. Основной принцип диахронии — это тоже не установление абсолютного (астрономического) времени, а определение относительной хронологии событий, синхронизация установленных слоев, определение порядка следования или характеристика явления в терминах первичности и вторичности. В то же время в диахронии обязательный учет относительной хронологии означает и релевантность времени как такового, и время выступает как главный параметр этой системы измерения. Мерой же синхронии является истинное время, которое само определяется скоростью изменения языковой системы⁴⁹.

Время по отношению и синхронии вторично и потому, собственно, иррелевантно: мы сперва из исторического континуума выбираем вполне объективно такую протяженность, такое «состояние», которое характеризуется отсутствием изменений или может быть описано вне изменений (ср. системы с выключенным временем у Р. И. Аванесова), впоследствии можем уточнить, к какому периоду времени это состояние относится, т. е. в какие временные рамки оно укладывается (десятилетие, несколько веков или даже целую эпоху). О возможности такого повимания синхрония (состояния языка) свидетельствует и одно примечательное замечание Соссюра: «В действительности. — пишет он, — „состояние“ языка не есть математическая точка, но более или менее длинный промежуток времени, в течение которого сумма происходящих видоизменений остается ничтожно малой»⁵⁰. Синхронный подход предполагает поэтому выбор такого отрезка времени, на протяжении которого изменениями, происходящими в языке, можно пренебречь точно так же, как в некоторых математических расчетах можно пренебречь бесконечно малыми величинами. Возможность же такого абстрагирования корней в объективных свойствах языка — сугубой постепенности происходящих изменений, чрезвычайно медленных темпах преобразования языка во всем, что касается его структуры и системы (обратите в этой связи внимание на то, что даже радикальные изменения в материальном облике единиц не обязательно коррелируют непосредственно

⁴⁷ См.: Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 88.

⁴⁸ См. выступление В. Н. Топорова на дискуссии 1957 г., сб. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», стр. 85.

⁴⁹ Ср.: В. Я. Ч. В. С. Иванов, «Вероятностное определение лингвистического времени», сб. «Вопросы статистики речи», Л., стр. 68; ср. также указ. выше выступление В. Н. Топорова, стр. 84.

⁵⁰ См.: Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 104.

с наступлением системных или структурных сдвигов — ср. великий сдвиг гласных в истории английского языка или акты передвижения согласных в развитии германских языков).

В связи с высказанными здесь соображениями представляется необходимым обратить внимание еще на одно обстоятельство. Наиболее общей тенденцией, обнаруживаемой сейчас при анализе проблемы синхронии — диахронии, является попытка связать ее решение с разработкой методологии нашей науки. Иначе говоря, вопрос о соотношении этих понятий нередко переносится в методологическую плоскость и рассматривается как вопрос о разграничении двух научных условных приемов описания языка. Отсюда полемика по вопросу об эффективности одного метода по сравнению с другим, длительная дискуссия о примате того или другого, спор о принципиальной возможности использования диахронических данных при синхронном исследовании языка и т. п. Вместе с тем, хотя указанные вопросы и не лишены самостоятельного значения в методике описания, они отнюдь не исчерпывают сущности проблемы. Скорее наоборот: то или иное решение поднятых вопросов может явиться лишь следствием решения кардинальных для всей проблемы вопросов о сущности исходных понятий и их соотношении с объективными свойствами языка. Акцентирование же методических и методологических аспектов рассматриваемой проблемы подменяет вопрос о сущности явления вопросом о приемах его описания.

Не избежал этой односторонности и автор интересного и во многом почетного исследования о синхронии и диахронии Э. Косериу. Настойчиво проводя мысль о том, что разграничение синхронии и диахронии отнюдь не коренится в свойствах объекта, а относится к теории лингвистики и методам изучения языка⁵¹, он приходит к неправильному, на наш взгляд, положению о том, что синхрония вообще является «не исторической действительностью состояния языка, а проекцией этого состояния на неподвижный экран исследований»⁵².

Падающего человека можно изобразить на фотографии так, чтобы казалось, будто он летит. Вне зависимости, однако, от данного снимка человек все же падает. Язык можно тоже описать «остановленным», но реально существует он только в движении. Синхронию и диахронию следует уподоблять не моментальному снимку, а кинолентке, на которой можно запечатлеть и покой, и движение⁵³.

Указание Косериу правильно лишь в том смысле, что разграничение синхронии и диахронии не вытекает непосредственно из исследуемого материала, но ведь и такие онтологические свойства, как системность и структурность, тоже не вытекают непосредственно из текста, хотя и «даны» в нем.

В специальной литературе еще встречается иногда мнение о том, что противопоставление синхронии и диахронии влечет за собой различие в целях и методах лингвистического исследования⁵⁴. Не правильное ли было бы, однако, полагать *vice versa*, что специфика материала, с одной стороны, и расхождения в конкретных целях анализа, с другой, заставляют предпочесть один определенный метод и что, следовательно, выбор

⁵¹ О книге Э. Косериу см. подробнее в работе: В. А. Звегинцева, Теоретические аспекты причинности языковых изменений, «Новое в лингвистике», III, стр. 135 и сл.

⁵² См.: Э. Косериу, Синхрония, диахрония и история, стр. 148.

⁵³ Сравнение синхронного среза с моментальным фотографическим снимком, а диахронического — с кино восходит, по-видимому, к Г. Шухардту (см. указ. соч., стр. 189), ср. также: Е. Pulgram, указ. соч., стр. 323—324.

⁵⁴ См.: Е. Курдюкович, О методах внутренней реконструкции, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 401.

метода обусловлен особенностями задач данного описания и тем, что существует для лингвиста как непосредственная данность, на основании которой он может строить свои умозаключения? Приведем только один пример. Применение метода внутренней реконструкции равно продиктовано и необходимостью сделать выводы диахронического порядка и задачам реконструкции, и тем материалом, который имеется в распоряжении лингвиста, т. е. невозможностью в данном случае обратиться для объяснения формы «яи к ее сравнению, ни к лингвистической географии, ни к „ареальной лингвистике“, ни к глоттохронологии»⁴⁵.

Сложный и подчас опосредованный характер подобных связей — связей между объективными свойствами языка и материалом, который наиболее наглядно обнаруживает эти свойства, между особенностями существования языка в тот или иной отрезок исторической действительности и планами их рассмотрения, между наиболее рациональными для данной ситуации способами описания и его конечными целями. — заставляет нас признать, что проблема разграничения синхронии и диахронии есть проблема не только методологическая, но и онтологическая.

⁴⁵ Там же, стр. 400.

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Р. Р. МИНВАНИ

ЗАМЕЧАНИЕ К МОДЕЛИ ОБЩЕГО ИСЧИСЛЕНИЯ ДИСТРИБУЦИИ
ФОНЕМ

Предложенный Ф. Херари и Х. Пейпером метод общего исчисления дистрибуции фонем позволяет приписывать некоторым комбинаторным свойствам лингвистических единиц численные индексы, характеризующие дистрибутивные свойства языковой системы¹.

Универсальный характер аппарата исчисления дистрибуции привлек внимание лингвистов². Особенно содержательным с точки зрения лингвистики представляется понятие полноты дистрибуции. Однако квалификация степени полноты дистрибуции отдельной фонемы в модели Ф. Херари и Х. Пейпера нуждается, на наш взгляд, в уточнении.

Рассматриваемый метод количественной оценки различных свойств отношения, связывающего лингвистические элементы в пары, можно вкратце представить следующим образом. Из исходного множества объектов P (список фонем в частном случае) с помощью заданного отношения R , определяемого как «непосредственно следует за...», строится квадрат множества $P \times P$, представляющий множество всех теоретически возможных пар элементов (т. е. множество упорядоченных пар).

Отношение R во множестве $P \times P$ обладает некоторыми свойствами (симметричности, транзитивности и др.). Существующие в реальном языке дистрибутивные правила выделяют во множестве $P \times P$ подмножества R допустимых в данном языке пар. Ясно, что во множестве R утверждения, касающиеся свойств отношения R , теряют универсальность, и приходится говорить о «частичной симметричности», «частичной транзитивности» и т. д. (Херари и Пейпер говорят о частичности — «locality» — только транзитивности, но это следовало сказать о всех рассматриваемых свойствах отношения R , иначе их квалификация была бы в принципе невозможна). Таким образом, появляется возможность сопоставить подмножества допустимых в данном языке пар, где отношения частичны, с соответствующими подмножествами $P \times P$. При этом чем меньше дистрибутивных ограничений в языке, тем больше будет совпадение.

Следовательно, абстрактное множество упорядоченных пар $P \times P$ служит неким внутренним эталоном при описании дистрибутивных особенностей отдельных языков. В исчислении дистрибуции рассмотренное $P \times P$ именно как эталон логически необходимо (хотя бы при квалификации различных свойств отношения R), однако Ф. Херари и Х. Пейпер не вводят понятие эталона в явном виде и не всегда последовательно его применяют, что приводит авторов к случайному определению понятия и формулы двусторонней полноты дистрибуции отдельной фонемы.

Согласно определению, эта величина вычисляется по формуле:

$$K_{\tau x} = \frac{n\tau x}{n^2 P},$$

где $n\tau x$ есть число элементов в τ -поле фонемы x (τx — теоретико-множественное объединение множества фонем, предшествующих фонеме x в парах (τx) , со множеством фонем, следующих за фонемой x в парах $(x\tau)$, т. е. $\tau x = \tau x \cup x\tau$); $n^2 P$ — число элементов во всем множестве фонем). Такой метод оценки не учитывает места элемента в паре, поэтому он непригоден для систем, в которых порядок следования релевантен и в которых отношение R может быть симметричным (т. е. могут быть маркированными одновременно пары вида $x\tau$ и τx): формула одинаково оценит полноту дистрибуции элемента, независимо от того, насколько симметрично данный элемент взаимодействует с элементами своего τ -поля. Рассмотрим две системы с равной свободой ди-

¹ F. N. H. A. G. U. N. P. A. R. E. T. Toward a general calculus of phonemic distribution, «Linguage», 33, 2, 1957 (русский перевод в сб. «Математическая лингвистика», М., 1964).

² См., в частности: И. И. Р. E. V. I. N. I. Модели языка, М., 1959; В. Н. Т. O. P. O. B. Материалы для дистрибуции графем в письменной форме языка, сб. «Структурная типология языков», М., 1966.

стрибуция, для которых предложена Ф. Херард и Х. Пейлером формула дает дифференцированные оценки.

1. Дано исходное множество элементов P с числом элементов, равным nP . Рассмотрим дистрибуцию элемента x на P ($x \in P$). Допустим, что αx — непустое множество, а βx — пусто; $\alpha x \neq \emptyset$, $\beta x = \emptyset$. Число элементов в αx обозначим через a , число элементов в βx через b . В данном случае $a \neq 0$, $b = 0$. Число элементов в τx обозначим через m . Тогда формула примет вид:

$$K\tau x = \frac{m}{nP}$$

По определению $\tau x = \alpha x \cup \beta x$; так как в нашем случае $\beta x = \emptyset$, то $\tau x = \alpha x$, следовательно, $m = a$. Отсюда:

$$K\tau x = \frac{a}{nP}$$

2. Рассмотрим случай, когда множества P и αx также же, как в случае 1, а распределение x полностью симметрично: если встречаются пары вида xu , то встречаются и ux , и наоборот.

Поле полного бинарного взаимодействия обозначим τ' ; в этом случае $\alpha x = \beta x \neq \emptyset$, поэтому в $\tau'x$ вместо βx можно подставить αx :

$$\tau'x = \alpha x \cup \alpha x = \alpha x.$$

Следовательно, число элементов в $\tau'x$ равно числу элементов в αx , т. е. $m' = a$, и степень полноты в этом случае

$$K\tau'x = \frac{m'}{nP} = \frac{a}{nP}.$$

Оценки двусторонней полноты в обоих случаях совпали: $K\tau x = K\tau'x$, хотя ясно, что во втором случае дистрибуция x в два раза свободнее, так как в первом случае $b = 0$, а во втором $b = a$ ($a \neq 0$).

Точно учесть степень свободы дистрибуции элемента возможно, если соотнести число реально зафиксированных в языке пар, в которых участвует данный элемент, с тем, что служит эталоном, т. е. с числом теоретически возможных пар на $P \times P$, в которых он также участвует. Для этого вместо числа элементов в теоретико-множественном объединении τ следует рассматривать арифметическую сумму чисел элементов в α - и β -полях. Число пар, в которых x стоит на втором месте, равно числу элементов в его α -поле; соответственно, число пар, в которых x стоит на первом месте, равно числу элементов в β -поле; а общее число пар, в которых участвует x , и есть указанная сумма: $\alpha x + \beta x$. В $P \times P$ $\alpha x = \beta x = P$. Тогда число соответствующих пар в теоретическом множестве упорядоченных пар (т. е. при полной свободе дистрибуции) есть $2nP - 1$. Единицу следует вычесть, так как в $2nP$ пара xx учитывается дважды. Кроме того, чтобы в описываемом языке не учитывать рефлексивную пару дважды (если таковая имеется), в числитель следует ввести переменную Gx (по определению авторов, индекс рефлексивности $Gx = 1$, если пара вида xx встречается; $Gx = 0$, если такая пара не встречается). Тогда формула степени двусторонней полноты элемента примет вид:

$$Kx = \frac{\alpha x + \beta x - Gx}{2nP - 1}$$

Проверим ее эффективность в рассмотренных выше случаях 1 и 2; для простоты положим $Gx = 0$.

1. Напомним, что

$$\alpha x \neq \emptyset, \alpha x = a, (a \neq 0)$$

$$\beta x = \emptyset, \beta x = b, (b = 0)$$

тогда:

$$Kx = \frac{a}{2nP - 1}$$

2. Во втором случае: $\alpha x = \beta x$. Поскольку отсюда следует, что $a = b$, то подставим a вместо b в формулу, которая даст следующую оценку:

$$Kx = \frac{a + a}{2nP - 1} = 2 \cdot \frac{a}{2nP - 1},$$

т. е. степень полноты в этом случае в два раза выше степени полноты, полученной для случая 1. Предложенная формула дает дифференцированный результат при оценке полноты во всех случаях, если анализируемый элемент взаимодействует симметрично хотя бы с одним из элементов исходного множества.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

«ГЕОГРАФИЯ СЛОВ» И ЛЕКСИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ГЕРМАНСКИХ
ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ

Научное рассмотрение языка с самого начала характеризовалось неодинаковым подходом к различным языковым уровням: элементы фонологического и морфологического уровней, строго ограниченные и в принципе обмеримые количественно и качественно, обычно использовались как надежные и непрерываемые критерии при сравнительно-историческом и ареально-лингвистическом анализе¹, лексический же материал, понимаемый как «открытое множество» сравнительно быстро изменяющихся элементов, трудно поддающихся системной интерпретации, либо вообще не принимался во внимание в качестве самостоятельного критерия, либо использовался с крайней осторожностью как дополнительный, вспомогательный аппарат, призванный подтвердить выводы, полученные на основе фонетического и морфологического исследования. Не случайно, что почти во всех стандартных руководствах по германским языкам обычно всегда приводятся длинные списки отличительных черт различных ветвей этих языков в области фонетики и грамматики, но никаких отличительных черт в области лексики. Показательно также, что известные классификации и сближения германских языков основаны исключительно на фонетических и грамматических данных².

В первом издании своих «Принципов истории языков» Г. Пауль писал: «Профилирующим критерием для вычленения диалектов определяющего целостного аре-

ала безусловно должна остаться фонетика»³. С этим интересно сопоставить сравнительно недавнее высказывание Ф. Маурера: «Необходимо отметить, что соответствия в лексике, хотя они также могут быть интересными и свидетельствовать о близких отношениях рассматриваемых языков, никогда не могут использоваться в качестве окончательных доказательств»⁴.

С Ф. Маурером принципиально согласен Р. Шюцайхель, усматривающий в лексических соответствиях лишь дополнительный, особый критерий по отношению к фонетическому и грамматическому⁵. При этом Р. Шюцайхель выдвигает справедливое требование подтверждать данные, полученные на основе лингвистических исследований, комплексом свидетельств смежных наук — археологии, этнографии, топонимики, антропониимики, истории⁶, хотя только на основе этих последних никак нельзя делать выводов о лингвистических языках. А. Мейс считал, что лексические изоглоссы, в отличие от фонетических, ничего не говорят о родственных отношениях двух или нескольких групп индоевропейских языков и свидетельствуют лишь об их общей социальной структуре⁷; он считал необходимым разграничить зоны распространения фонетических изоглосс и зоны распространения лексичес-

¹ H. Paul, *Prinzipien der Sprachgeschichte*. Halle, 1880, стр. 242.

² F. Maurer, *Nordgermanen und Alemannen*, Bern — München, 1942, стр. 64.

³ См.: R. Schützeichel, *Die Grundlagen des westlichen Mitteldeutschen*, Tübingen, 1961.

⁴ Ср. также: Э. А. Макаев, *Проблемы и методы сравнительно-исторического языкознания*, сб. «Проблемы сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков. Тезисы докладов», М., 1964, стр. 5.

⁵ A. Meillet, *Les dialectes indoeuropéens*, Paris, 1922, стр. 1—49.

¹ Фундаментальное исследование немецких диалектов и плане фонетики и фонологии см.: В. М. Жирмунский, *Немецкая диалектология*, М.—Л., 1956.

² Подробное изложение различных концепций близости отдельных германских языков см. в кн.: В. М. Жирмунский, *Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков*, М.—Л., 1964.

ких изоглосс. По мнению Х. Педерсена, лексические изоглоссы могут учитываться лишь при анализе двух или более языков, находящихся в географически смежных (контактирующих) ареалах⁸.

В. М. Жирмунский очень осторожно подходит к использованию лексических параллелей в сравнительно-историческом анализе. По его мнению, лексические параллели могут быть спорными уже потому, что лексика диалектов, в том числе и современных, содержащих немало архаизмов, еще плохо обследована, а там, где имеются обширные и многочисленные областные словари (как в странах немецкого языка), они остаются недостаточно обзорными для исследователя, даже являющегося специалистом по немецкой диалектологии, поскольку словарный состав немецких диалектов до сих пор не сведен вообще ни в общем справочном указателе, ни тем более в этимологическом словаре. С другой стороны, как справедливо замечает В. М. Жирмунский, такие архаизмы, сохранившиеся в том или ином современном диалекте, часто являются реликтами, распространенными в прошлом на гораздо более широкой территории. Значительно большую доказательность, как указывает В. М. Жирмунский, представляют лексические различия, особенно в сочетании с грамматическими (типа др.-сев. *himil* — л.-в.-нем. *himil*; *got fön*, др.-сев. *fun*, по англо-сакс. *fūr* и т. д.), а также совместные новообразования в родственных языках⁹.

Многие лингвисты еще в начале нашего века преодолели атомизм ученых, приписывавших роль лексика в лингвистическом анализе, хотя они и не выработали строгой и вполне законченной методологической системы использования этого критерия, позволяющей определить его роль по отношению к фонетическому и грамматическому исследованию. Р. Боненбергер в 1901 г. выступил со специальной работой в защиту «географии слов» как самостоятельного критерия диалектологического анализа. В этой работе он, в частности, писал: «В настоящее время не может быть никакого сомнения в том, что исследование и выявление диалектов, изучение истории племен и населенных ими областей не может строиться

на одностороннем выборе или предпочтении отдельных более или менее „подходящих“ языковых явлений, а должно покоиться на учете в с е х с т о р о н я з ы к а, каждой в соответствии с ее значением для жизни языка как целостной категории»¹⁰. Э. Крайцмайер сравнительно недавно указал на то, что «... историческая диалектология все более убеждает нас в несравненно большей древности диалектной лексики по отношению к звуковому составу... В связи с этим при исследовании обширных языковых ареалов, например, баварского, было бы целесообразно отдать предпочтение именно лексике, а не фонетике»¹¹. Э. Крайцмайер выделяет так называемые «опорные слова» (*Keinwörter*), служащие как бы эталоном, точкой отсчета для определенного, более или менее ограниченного языкового ареала, хотя выделение этих опорных слов, основанное на учете синхронного наличия или отсутствия лексем в определенном ареале или на определенном языковом срезе, не достаточно убедительно (Э. Крайцмайер выделяет восточногерманские лексические заимствования, общегерманские реликты и баварские инновации.)

Важной для решения изучаемых нами проблем представляется книга Э. А. Макаева «Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики» (М.—Л., 1964). В этой работе Э. А. Макаев, указывая на несомненную ценность и равноправность лексических изоглосс наряду с фонетическими и грамматическими, подробно исследует случаи невозможности включения в них определенных лексических элементов. Он справедливо указывает, что из лексических изоглосс должны быть исключены: 1) заимствованные слова; 2) слова сакральной и поэтической лексики; 3) образования, родственные лишь типологически. Э. А. Макаев указывает на следующие особенности словарного материала при установлении лексических ареальных изоглосс: 1) возможность искомого наличия лексемы в определенном языке, которая в ходе развития данного языка оказалась утерянной или замененной другими образованиями, что часто может привести к ложным выводам при установлении родственных отношений двух или нескольких групп языков на основе словарных данных; 2) спорность и ненадежность этимологии, на основе которых строятся лексические ареальные изоглоссы.

⁸ *Reallexikon der Vorgeschichte*, hrsg. von M. Ebert, I, Berlin, 1924, стр. 233 и сл.

⁹ См.: В. М. Жирмунский, Племенные диалекты древних германцев, в кн. «Сравнительная грамматика германских языков», I, М., 1962, стр. 131—132; его же, О племенных диалектах древних германцев, сб. «Вопросы германского языкознания. Материалы Второй научной сессии по вопросам германского языкознания», М.—Л., 1961, стр. 14—16.

¹⁰ См.: R. Bohnenberger, Zur Wortgeographie, «Zeitschrift für deutsche Wortforschung», 2, 1901, стр. 1—2.

¹¹ E. Krautzmaier, Die bairischen Kennwörter und ihre Geschichte, Wien, 1960, стр. 7. Ср.: K. Gleissner, «Mitteldeutsche Studien», 16, 1956, стр. 91.

Нет сомнения в том, что лексический материал не только не должен игнорироваться при лингвогеографическом исследовании, но только не должен превращаться во вспомогательный критерий при фонологическом и грамматическом анализе, но и может представлять большой самостоятельный интерес для сравнительно-исторических исследований. Для этого имеются вполне определенные основания, наиболее важные из которых сводятся к следующему:

1. Системные отношения в лексике имеют качественно иной характер по сравнению с системностью в фонетике и морфологии. Как мы пытались показать в других работах¹², решающими моментами системности в лексике, присущими только этому языковому уровню, в отличие от фонетики и морфологии, являются соответственно не оппозиция и не различные парадигматические отношения, а входящие лексемы, с одной стороны, в определенный, структурно ограниченный лексико-семантический макронабор, а с другой — в тот или иной микроряд данного макронабора, место данной лексемы (центральное, маргинальное) в том или ином лексико-семантическом макро- и микронаборе.

Вследствие этого построение лексико-семантических систем или уравнивание лексик различных ареалов на основе только фонетических или морфологических данных неизбежно ведет к смешению совершенно разнородных и неравноценных явлений, при котором закономерности одной качественно определенной системы выдаются за закономерности другой. Следует учесть, в частности, что лексемы, претерпевшие одинаковые или сходные изменения фонетической или грамматической структуры в двух или более сравниваемых языках, могут иметь неодинаковый статус («месс») в пределах лексико-семантической системы каждого из сопоставляемых языков.

2. Темп развития лексических явлений, с одной стороны, и фонетических или грамматических, с другой, не одинаков. При смене различных фонетических и грамматических явлений большая часть лексик обычно остается неизменной.

3. Лексемы того или иного языка подвержены вторичным фонетическим или морфологическим изменениям. Например, в том или ином слове в результате действия процессов аналогии, рифмованного словообразования или давления системы может возникнуть определенное фонетическое или морфологическое явление, хотя первоначально данному слову указанное явление не было

свойственно. Вследствие этого наличие определенных фонетических или морфологических явлений, равно как и их отсутствие, сами по себе не могут явиться надежным основанием для построения лексико-семантических систем и для установления лексических изоглосс между двумя и более языками¹³. Можно указать также на то, что действие фонетических процессов нередко затемняется возникновением разного рода дублетов.

4. Фонетический анализ при рассмотрении древних текстов неадекватен: слово, генетически являющееся неотъемлемой частью одного диалекта, в рукописях нередко имеет фонетическую оболочку другого диалекта. Не менее шаткими часто оказываются и данные грамматики (ср., например, типичную для английских диалектов анокону косвенного я — в инфинитиве, а также сопоставительном наклонении, в слабом склонении прилагательных — не только в английских, но и в усекских памятниках, например, в «Sura Pastoralis»).

Таким образом, лексика (в том случае, конечно, если ее использование вообще не исключается теми или иными обстоятельствами) нельзя признать вспомогательным средством исследования ни на одном языковом уровне, причем фонетические, морфологические и лексические данные могут не совпадать и не должны подменяться друг другом при анализе. Совпадение лексических, фонетических или морфологических данных не более показательнее, чем их несовпадение: каждый языковой феномен следует рассматривать не только и не столько в плане его синхронного статуса, но главным образом с точки зрения того диахронического переплетения и взаимодействия явлений различных уровней, которое привело именно к данному синхронному языковому состоянию, с точки зрения влияния явлений одного уровня на последовательные изменения в другом. В связи с этим в соответствии с характером исследуемого материала и с используемыми методами анализа основным критерием анализа должны явиться соответственно или фонетичес-

¹² См.: М. М. Маковский, Теория лексической аттракции, ВЯ, 1965, 6; его же, Идентификация элементов лексико-семантических структур, ВЯ, 1966, 6.

¹³ Многочисленные примеры этого см. в кн.: E. K r a n z m a y e r, Historische Lautgeographie der gesamthairischen Dialektraumes, Wien, 1956, особенно § 20, 26a и др.; R. S c h ü t z e i c h e l, Unter Fettehennen. Zur Geschichte unverschobener Wortformen im hochdeutschen Raum, «Festschrift Josef Quintz, hrsg. von H. Moser, R. Schützeichel, K. Stackmann, Bonn, 1964, стр. 203 и сл. Ср. интересные теоретические положения в ст.: В. М. Жирмунский, Общие тенденции фонетического развития германских языков, ВЯ, 1965, 1.

кие, или грамматические, или лексические данные, или разумная комбинация всех или некоторых из этих данных.

В настоящем обзоре будут критически рассмотрены наиболее значительные работы, в которых, независимо от конкретных концепций отдельных исследователей, сделана попытка использовать лексический материал в качестве самостоятельного критерия сравнительно-исторического и ареального-диалектического анализа. Это в свою очередь даст возможность выделить и критически оценить те методические приемы, которыми пользовались соответствующие лингвисты и которые до сих пор применяются при исследовании лексик в плане лингвогеографии.

В своей книге «Северные германцы и алеманцы» Ф. Маурер на основе примеров, попернутых из работ Л. Тоблера¹⁴ (в частности, швед. *gramen* «krieschen» — швед. диалект. *gramme* «greifen»; швед. *gramse* «mit voller Hand betasten» — швед. *gränna*; швед. *Lamm* «Wasserschluck» — швед. *lämma*; швед. *Hist* «Kornalgeln» — норв. *hesje*; швед. *räschen* «zusammencaffeln» — норв. *raska thop*; швед. *Hars* «hartgefrorener Schnee» — др.-исл. *hjern*; швед. *Chilt* «Abendzusammenkunft» — др.-сев. *kveid*; швед. *Egt* «Zucht» — гот. *agis*, норв. *age*, швед. *aga* и др.), пытается установить лексические связи северногерманского и алеманского ареалов.

Концепция Ф. Маурера была поддержана Э. Шварцем, Т. Фрингом и другими учеными. Э. Шварц пишет: «Готы и баварцы объединяет общность наиболее древних, догерманских языковых отношений»¹⁵. Э. Шварц расширяет на несколько слов список приводимых

Ф. Маурером примеров, вводя в них древнеанглийские параллели: др.-сев. *tīmi* «время», др.-англ. *tīma*, швед. *Zīma*; др.-сев. *stibbi* «сень», др.-англ. *stubb*, ср.-н.-нем. *stuppe*, вльзас. *Stubbe*; др.-сев. *grōr* «горный ручей», алем. *Grueren* «углубление», др.-англ. *grōr*. Т. Фрингс, указывает на то, что такие баварские слова, как *Dult* «ярмарка», *Pfist* «кожеда», *Maut* «скалок, сбор», *Obse* «вестабиль в храме» и некоторые другие находят соответствие в готском¹⁶.

Однако Г.-Ф. Розенфельд на широком лингвогеографическом материале блестяще показал, что все приводимые Ф. Маурером лексические соответствия не ограничены постулируемым им узким алеманско-скандинавским ареалом и встречаются в пределах всей германской языковой территории¹⁷. После критики Г.-Ф. Розенфельда Ф. Маурер в последующем издании своей книги снял алеманско-скандинавские лексические соответствия, приведявшиеся им в первом издании.

Я. де Фриз в специальной работе пытается установить лексические связи северногерманского (особенно готского, относимого им к этому последнему) и западногерманского (главным образом древнеанглийского)¹⁸. Методологически Я. де Фриз, как и многие его предшественники, ограничивается сопоставлением отдельных слов соответствующих древнегерманских языков, не обращаясь к данным современной и сравнительно-исторической диалектологии, не исследуя временную и ареальную стратифику анализируемых им слов в синхронии и диахронии, их реликтовость или ограниченность в пространстве и времени. Он приводит 17 примеров готско-северногерманского единства (имс — *imr ewolf*; *lund* — *lund saards*), 140 готско-западногерманских параллелей (типа гот. *waitilo* — др.-англ. *weleras*; гот. *laugnjan* — др.-англ. *lēgnan*; гот. *gaidw* — др.-англ.

Язык древнейших рунических надписей, М., 1963, стр. 25 и сл.

¹⁶ См.: Т. Н. Фрингс, *Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache*, Halle (Saale), 1950, стр. 35; ег о ж е, *Got. *(h)rausa «Kruste»*, *Zeitschrift für Mundartforschung*, XXIII, 1955; ср. Н. Eggers, *Gotisches in der althairischen Beichte*, *Zeitschrift für Mundartforschung*, XXII, 1954. Подобные же примеры приводили, как известно, Ф. Клуге, Г. Бесене, Г. Бранкмайр и др.

¹⁷ Н.-Ф. Розенфельд, *Zu den alemannisch-nordgermanischen Wortvergleichen*, «Neuphilologische Mitteilungen», 51, 3-4, 1950.

¹⁸ См.: J. de Vries, *De Gotische woordschaat vergeleken met die van het Noord-en-Westgermaans*, «Levenszè Bijdragen», XLVI, 1-2, 1956-1957.

¹⁴ См.: L. T o b l e r, *Die lexikalischen Unterschiede der deutschen Dialekte mit besonderer Rücksicht auf die Schweiz*, «Festschrift zur Begrüssung der XXXIX. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner», Zürich, 1897. Как известно, Л. Тоблер выдвинул ставшее впоследствии программным положением о необходимости изучать такую швейцарскую лексику, которая не встречается в немецком ареале, но крайней мере в той же форме и значении, но может быть обнаружена в других районах германского языкового ареала...

¹⁵ E. S c h w a r z, *Goten, Nordgermanen, Angelsachsen*, Berg — München, 1951, стр. 87. См. обоснованную критику В. М. Жирмунским постулируемого Э. Шварцем единого готско-скандинавского праязыка (В. М. Ж и р м у н с к и й, Введение в сравнительно-историческое исследование германских языков, стр. 53 и сл.); ср. также: Э. А. Макаев,

gād, др.-фрз. *gād* и др.) и 16 бургундско-западнogerманских параллелей (типа бургундск. **walks* — др.-англ. *wolcen*, англ. *wolk*, др.-в.-нем. *wulk* (an); бургундск. **hroms* — др.-англ. *hrōt*, др.-в.-нем. *hrum*; бургундск. **quilfi* — др.-англ. *sciefel*), расклассифицированных по различным понятийным группам.

Э. Кольб, ученик Э. Дита, выпустил специальную монографию, в которой на основе анализа алеманско-скандинавских соответствий пытался оправдать гипотезу Ф. Маурера¹⁹ (в предисловии к своей книге он подчеркивает, что в ней отобран только такой материал, который, в отличие от соответствий Маурера, «может выдержать самую строгую критику»). В книге Э. Кольба приводятся почти 170 соответствий, причем из параллелей, известных из работ Зигера и Маурера, у Кольба осталось только две (*Hist. Chilt*); около 40 соответствий подробно исследуются Э. Кольбом; остальные кратко рассматриваются в приложениях. Оспорила, как и его предшественника, методом ареальной представленности лексем (ср., например, стр. 42 его книги), Э. Кольб одновременно с алеманско-скандинавскими совпадениями не приводит обширного материала, свидетельствующего о наличии разобранных им лексем и на большей части прочих территорий, входящих в германскую языковую область (например, в австрийском). Вместе с тем Э. Кольб не пытается проследить и проанализировать возникновение, историческое становление, взаимодействие и переплетение изучаемой им лексики как в пределах алеманской и скандинавской языковой области, так и прочих германских языковых территорий, рассматривая ее только в статическом, ливейном плане и только с одной заранее сформулированной им точки зрения. Все это неизменно создает впечатление произвольности и определенной тенденциозности анализа. Фактический материал, часть которого Э. Кольб вынужден привести в своей книге, нередко стоит в яром противоречии с постулируемой им алеманско-скандинавской гипотезой. В связи с чем Э. Кольб часто либо вовсе не дает английские или нидерландские соответствия разобранных им слов (таковы швейц. *Nuele*, *Ansbaum*, *Bing*, *Mugel*, *Imen*, *Gimlen*), *suchen*, *Flanggen* и многие другие), либо толкует языковые факты в выгодном для его концепции плане (в частности, объявляет все английские соответствия «алеманско-скандинавских» слов, например, швейц. *Chilt* — др.-англ. *ceyld*, швейц. *Naggi* —

англ. *nag*, швейц. *Galz* — англ. диалект. *galt*, швейц. *Zig* — др.-англ. *titi* и др., заимствованиями из скандинавского, не доказывая это в отношении конкретных слов — см. стр. 12—13 его книги), декларирует центральное положение алеманско-скандинавской гипотезы и поочередно всех остальных, дает произвольные этимологические и звуковые объяснения нижнегерманских параллелей к «алеманско-скандинавским» словам с целью отвлечения первых от этих последних (ср. стр. 25 его книги).

В книге Э. Кольба не исследуется направление заимствований в пределах германского ареала и их хронология в отдельных областях, в связи с чем не совсем ясно, когда мы имеем дело с английскими заимствованиями в скандинавском, скандинавскими в английском, скандинавскими в алеманском и алеманскими в скандинавском и вообще какие из названных «заимствований» вполне оправданы, а какие нет²⁰. По мнению Э. Крайцмайера, исходящего из так называемой «эсипологии лексик» (*Wortseziologie*), большинство скандинавско-алеманских соответствий являются не искомыми, некогда общими обоим этим диалектам, а «восточно-германскими культурными заимствованиями» в базарском. Большинство рецензентов книги Э. Кольба (опубликовано 11 рецензий) справедливо подчеркивают неадекватность и рискованность его выводов (сам Э. Кольб пишет на стр. 10: «исследование, подобное моему, всегда будет оставаться рискованным предприятием»), недостаточность приводимого им материала для столь широких обобщений. Что касается частных вопросов, то наиболее суровой, но безусловно справедливой критике положения Э. Кольба подверг Г. Кун²¹. Г. Кун указывает, что многие слова, приводимые Э. Кольбом, засвидетельствованы впервые лишь в словарях XIX—XX вв. (особенно в северных языках). Г. Кун сомневается, были ли «алеманско-северные» соответствия Э. Кольба таковыми на всем протяжении истории германских языков; в связи с этим он указывает, что многие слова в скандинавских языках заимствованы из нижнегерманского. Многие лексические ареалы остались вне поля зрения Э. Кольба (например, лексика Гёттингена и Мюнстера, богато представленная в соответствующих лексикографических пособиях). В результате, как указывает Г. Кун, многие соответствия Э. Кольба должны отпасть. Круг слов, исследуемых Э. Кольбом, как указывается в рецензии Г. Куна, весьма случаен и почти не включает

¹⁹ E. K o l b, *Alemannisch-nordgermanisches Wortgut*, Frauenfeld, 1956; ср.: M. S z a d r o w s k y, *Nordische und alemannische Wortpaare*, «Beiträge zur Sprachwissenschaft und Volkskunde», Festschrift E. Oehs, Labr. 1951.

²⁰ Ср.: P. A l t o, *Verwandschaft, Entlehnung, Zufall*, «Kratylos», Jg. 10, 2, 1965.

²¹ См.: «Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Literatur», 88, 4, 1958.

обиходно-бытовой лексики (слова, обозначающие дом, домашнюю утварь, обычае, последовательные действия и т. д.), которая в этом случае была бы наиболее показательной. В частности, было бы очень желательно провести исследование в плане Wörter und Sachen. Г. Кун подчеркивает, что Э. Коэльб в своей книге исходит из старой схемы раннего географического распределения древних германцев — постулирует давно изживший себя тезис о готско-скандинавском единстве, о тесном контакте алеманов и северных германцев в районе побережья Северного моря, о контакте между алеманами и континентальными англо-саксами и т. д. Однако об англосаксах в собственном смысле можно говорить, как указывает Г. Кун, лишь после их переселения на Британские острова, подобно тому, как о бурах можно говорить лишь после переселения голландцев в Южную Африку. Г. Кун допускает возможность шествия алеманов в Скандинавию.

В своей книге «Готы, северные германцы, англо-саксы» Э. Шварц специально рассматривает готскую и древнеанглийскую географию слов (соответственно § 9, стр. 120 и § 19, стр. 201—214) в плане соотношения их словаря с лексикой прочих древнегерманских диалектов. Устанавливая различные изломы древнеанглийской лексики (др.-англ. — др.-сакс., др.-фриз. — др.-англ., др.-англ. — др.-в.-нем., др.-англ. — готско-сканд.) и т. д. — эти соотношения впоследствии реконструируются им в процентах). Э. Шварц приходит к выводу, что древнеанглийский словарь обнаруживает связи как с севером, так и с югом, что дает ему основание считать англо-саксонскую прародиную территорию, расположенную между Ютландским полуостровом и побережьем Северного моря. Готская лексика, по Э. Шварцу, тяготеет к скандинавской, особенно на территории современной Швеции, а древнеанглийская — к древнесаксонскому, древнефризскому и древне-верхнемецкому.

Необходимо отметить, что приводимый Э. Шварцем материал слишком узок для того, чтобы делать какие-либо далеко идущие выводы. К тому же материал этот подается заведомо односторонне: как, правда, голландские, фризианские и нижнемецкие соответствия, Э. Шварц нигде не приводит соответствий разбуряемых им слов на других территориях (в частности, совсем не используется им материал современных южнонемецких, английских и скандинавских диалектов). Что же касается уравнивания слов, встречаемых в памятниках различных древнегерманских языков (Э. Шварц оперирует преимущественно такими примерами), то они сами по себе, конечно, никак не могут служить основанием для выводов о связях тех или иных языков без

предварительной филологической обработки рукописей и без «развертывания» словарных соответствий в диахронической плоскости. Это видно, например, из рассмотрения следующих параллелей, приводимых Э. Шварцем: др.-англ. *æled* «голова», др.-сакс. *ēid*, др.-сев. *ēidr*; др.-англ. *malserung* «Zauber, Vorzeichen», др.-сакс. *estolze*, видерл. *malsch* «mürbe, zart», по гот. *untilmaksks* «unbesonnen» (единство северных языков с древне-английским, древне-саксонским и древне-фризским), др.-англ. *hnoll* «Scheitel», по др.-в.-нем. *hnöll*, ср.-нем. *null* «Hinterkopf»; др.-англ. *þfor* «bitter», по др.-в.-нем. *eibur*, *eiver* «bitter» (древне-английские — древне-верхнемецкие параллели); др.-англ. *fið* «dicke Milch», швед. норв. *fil(e)* — то же; др.-англ. *fiþel* «Riese», иссл. *fiþl* «Tropf» (ср. *fimbal* «stark, gross») — древне-английские — северногерманские параллели; др.-англ. *adze* «Axt, Beil» (ср. *adze*), *bled* «Getreide», *biadu* «Schüssel» (слова, не имеющие соответствий в других германских языках) и др.

Интересную попытку установить лексические сходства в английском и шведском сравнительно недавно сделал Э. Рюгер, хотя приводимые им единичные примеры, сами по себе весьма интересные, носят случайный характер и в сущности не могут являться веским доказательством постулируемого им тезиса²².

Исследование латвиско-нивеюнского взаимовлияния на материале лексики современных диалектов проведено Г. Тойхертом²³. Он приводит, например, следующие соответствия: нижнефризск. *Beine* «Haut» — видерл. *ben*, *benne* «geflochtener Korb, Krippe»; нижнефризск. *Liesen* «Fettschichten an den Rippen und Nieren der Schweine und Gänse» — видерл. *lies* (др.-англ. *leossa*, др.-сев. *liosse*); нижнефризск. *Fliese* «Haut» — видерл. *vlus* «Haut»; входят соответствия в видерландском также нижнефризск. *Pütte* «gemauerte Brunnen», *Riue* «Harke, Rechen», *Kade* «Gräben» и др.

Совершенно недавно Г. Лерхнером была сделана попытка доказать концепцию Т. Франка на обширном лексическом материале древних и новых германских языков и диалектов²⁴. Как известно,

²² См.: E. Ruegger, *Englisch und Schweizerdeutsch*, «Orbis», III, 2, 1954, стр. 440—452. Ср.: E. Schwarz, *Goten, Nordgermanen, Angelsachsen*, стр. 207.

²³ См.: H. Teuchert, *Niederländisches Sprachgut in den Mark Brandenburg*, «Festschrift für F. Kluge», Tübingen, 1926 (ср. «Brandenburgia», 41, 1932), Ср.: F. Maurer, «Inwäandmismen» in *Alemannischen, in erte n. «Dichtung und Sprache des Mittelalters. Gesammelte Aufsätze*, Bern — München, 1933.

²⁴ См.: G. Lerchner, *Studien zum Nordwestgermanischen Wortschatz*. Ein

Т. Фрингс считает, что Нидерланды, как и Швейцария, являются центром, сохраняющим, в отличие от остального германского языкового ареала, древнейшие языковые черты западногерманской и франкско-саксонской (общенитвеоской), в отличие от собственно нитвеоской северноморского побережья) языковой общности. Именно из этого «центра» («Strahlpunkt»), по Фрингсу, исходят изоглоссы к северу и к югу в пределах германской языковой общности. Приводя целый ряд комплексных изоглосс с центром в Нидерландах, Т. Фрингс утверждает, что Нидерланды представляют собой как бы «мост между английским и немецким»²⁵.

В полном соответствии с этими положениями Т. Фрингса, Г. Лерхнер дает широкий анализ северозападногерманских лексик (этот анализ занимает 243 страницы из 380 страниц в книге Г. Лерхнера), опираясь, кроме того, на лингвотурбо-исторические и этнографические данные²⁶. Подобно тому, как Т. Фрингс делал это на фонетическом или морфологическом (в очень небольшой степени — лексическом) материале, Г. Лерхнер постулирует пять основных изоглосс, центром («Schlüsselstellung») которых так или иначе являются именно Нидерланды. Изоглоссы эти следующие: 1) изоглосса, объединяющая германские диалекты побережья Северного моря: английский — фризский, нидерландский — «бергогов» нижненемецкий (древнесаксонский), а также северные

языки; 2) изоглосса, объединяющая диалекты континентальной северо-западной средине Германии: нидерландский — нижнерейнский — вестфальский (без береговых диалектов); 3) изоглосса, объединяющая береговые диалекты и диалекты средней Германии: (северный) — английский — фризский — нидерландский — нижнерейнский — нижненемецкий; 4) изоглосса, объединяющая диалекты от побережья Северного моря до Везера и Эльбы: нидерландский — (нижне)рейнский — нижненемецкий; 5) изоглосса, объединяющая диалекты побережья Северного моря со средней частью Нидерландов и идущая вдоль Рейна (но исключаяющая нижненемецкий). Это деление вполне соответствует классификации на: 1) основной нитвеоский (Kernindwönisch); 2) нитвеоско-саксонский; 3) нитвеоско-фризский (Нидерланды — Нижняя Рейн — Вестфалия); 4) нитвеоско-истеоский (общинитвеоский) — от Англии до Трара; 5) общенитвеоский. Методологический труд Г. Лерхнера строится следующим образом: все слова, независимо от того в какую изоглоссу они впоследствии попадают, даются в алфавитном порядке, причем главным словом являются нидерландское. Г. Лерхнер, кроме того, выделяет северозападногерманскую лексику на основе: 1) специфически северозападногерманских корней типа *brein* «Geht»; 2) специфического расширения корня: голл. *kruijen* vs. нем. *kriechen*; голл. *velm*, *vilm*, vs. нем. *Fell*, лат. *pellis*; 3) определенной ступени афлаута: голл. *oest* vs. нем. *Ast*; 4) различия в роде: голл. *beke f.* «Ваще» vs. нем. *Bach m.*; голл. *vlas n.* «Flachs» vs. нем. *Flachs m.*; 5) различного выбора слов, существовавших в прагерманском, в верхнеинменном и в северозападногерманском: голл. *wiel*, vs. *rad* и др.

Следует отметить, прежде всего, что постулируемый Г. Лерхнером «центр иррадиации» лексических изоглосс — Нидерланды остается в его работе фактически недоказанным. (Т. Фрингс более удачно делал это на материале других уровней языка.) В самом деле, используя изоглоссы Г. Лерхнера, включающие, например, английский, не представляя труда постулировать в качестве «центра иррадиации» именно английский, а не нидерландский ареал²⁷. Во всяком случае, это было бы не менее доказательно, чем постулируемый Г. Лерхнером на основе того же материала «центр» в Нидерландах. Это ставилось особенно очевидным, если учесть, что в ряде случаев Г. Лерхнер, совершенно не считаясь с ареальной и временной стратиграфией

Beitrag zu den Fragen um Aufbau und Gliederung des Germanischen, Halle/Saale, 1965; е го же, Zum Ingwäonismenproblem aus historisch-wortgeographischer Sicht, «Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena», Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 3, Jg. 14, 1965; ср.: К. Неег-о-ма, «Niederdeutsches Jahrbuch», 87, 1967; Е. Лёфштедт, «Niederdeutsche Mitteilungen», 19—21, 1963—1965; е го же, «Niederdeutsche Mitteilungen», 2, 1946; 4, 1948.

²⁵ См.: Th. Frings, Die Stellung der Niederlande im Aufbau des Germanischen, Halle, 1941; е го же, Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache, 3-te Aufl., Halle, 1957; е го же, Sprache und Geschichte, I—III, Halle, 1957. Ср. рецензии на работы Т. Фрингса: Н. Кюхн, (рек. на кн.): Т. Фрингс, Grundlegung einer Geschichte..., «Anzeiger für deutsches Altertum», 65, 1951; е го же, Nochmals zur Grundlegung, die keinen Grund legt, «Zeitschrift für deutsches Altertum», 87, 1956—1957.

²⁶ Ср. например, используемую Г. Лерхнером работу: В. Шефер, Skandinavisch-englisch-deutsche Kulturverflechtung im Bereich des Flurwesens. Ein Beitrag zu den volkkundlichen Ingwäonismen Nordwestdeutschlands, Halle, 1963.

²⁷ Ср.: А. А. Веijnen, Oude Engels-Nederlands parallelen, «Verslagen en Mededelingen v. d. Kon. Vlaams Akad. van taal-en letterkunde», N. R., 2, 1965.

последнего им слова; приводя на стр. 210 «английско-нидерландскую» изоглоссу *negge* («Klein»)raards, он не учитывает швед. *Nägge* в том же значении; приводя на стр. 138: «северно-английско-фризско-нидерландско-нижнегерманскую» изоглоссу *kink, kinkel* «Klumpen», он не учитывает швед.-баварск.-швабск. *Käns* в том же значении; приводя на стр. 134 «северно-английско-нидерландскую» изоглоссу *liere* «vluezig deel van het been», он не учитывает нем. *Läre* в том же значении; приводя на стр. 82 *goelen* («nur in Niederländisch - Rheinisch») «wetter, smijten», он не учитывает, что тот же корень широко представлен в английских диалектах и в алеманском; приводя на стр. 72 *eeet* «droogoven», он не учитывает, что тот же корень в аналогичном значении представлен в алеманском.

Вполне понятно, что при подобных методах всегда открывается возможность «построить» те изоглоссы, которые наилучшим образом, отвечают теоретической ориентации исследователя, тем более, если учесть, что Г. Лерхнер редко считается с общегерманской лексикой²⁸. Нередко одинаковые изоглоссы строятся Г. Лерхнером на материале, относящемся к самым различным временным срезам развитая языка, причем совершенно не учитываются (и соответственно уравниваются) различные языковые микроареалы внутри отдельных территорий (южно- и североанглийский, северно-, восточно- и западнофризский, ост- и вестфальский и др.). Нередко же Г. Лерхнер прибегает к субъективным толкованиям материала, не улавливающегося в полной мере в его схему или нарушающего ее.

Все это в немалой степени способствует искусственности подобных построений. Так, Э. Кольб (стр. 133) др.-сев. *mygla* в алем. *Migel* объединяет в алеманско-северогерманскую лексическую изоглоссу, а Г. Лерхнер (стр. 202) для того же корня устанавливает «скандинавско-английско-фризско-нидерландско-нижнерейнско-вижнегерманскую» изоглоссу, игнорируя при этом алем. *Migel*. На стр. 130—132 Г. Лерхнер строит «английско-фризско-нидерландско-нижнерейнскую» изоглоссу *kei*, несмотря на то, что в английском в фризском этот корень означает «ключ», а в нидерландском — нижнерейнском («продолговатая») кость. Любопытно, с другой стороны, что на стр. 41—44 при построении изоглоссы *vinck, donck* Г. Лерхнер обнаружил наличие рассматриваемого корня в южногерманском ареале, в связи с чем он сначала объявляет его «загадкой» (стр. 41), а затем искус-

ственно отделяет южногерманскую область от всех остальных на основе «отклоняющегося значения». Хотя общность значения в английском-фризско-нидерландской области и в южногерманском вполне очевидна («verstaate Schiffsladung» — «Menge, Fülle» — «Klumpen, Brocken» — «Hebung, Wulst»). Следует отметить, однако, что приводимый Г. Лерхнером фактический материал отличается широтой и тщателью подбором. Ср., например, анализ следующих слов, приводимых Лерхнером (дается с небольшим сокращением):

1. *Bies* «ispeus, scilpuz». Встречается в древне-немецком, хотя ни в одном из этих случаев нельзя доказать его верхнегерманское происхождение: Ahd. Gl. 3, 106, 49; 3, 388, 10. В лотарингском *Bies*: Follmann 42; мозельско-франко-люксембургск. *Be's*, *Kisch* 33. Несмотря на встречаемость указанного слова в верхнегерманском, Г. Лерхнер строит далее фризско-нидерландско-рейнско-нижнегерманскую изоглоссу разбираемого слова, приводя в каждом случае обилие материала и указывая пункты распространения.

2. *Naaf* «schepnet». Северный: др.-сев. *hæf* m., др.-швед. *hæver*, швед. *häv*, норв. *haav*, др.-дат. и дат. диалекты. *hæv*; а н г л и й с к и й: англ. диалекты. *haaf* та rock-net, sea-net. Уолл (Anglia, X, 105) и Бьерман I, 95 из фонетических соображений связывает это слово заимствованием. Ср. de Vries 201; нидерландский: ср.-н.-идерл. *hāwens* pl., Verwijs — Verdam III, 185; нидерл. *heef* m. eehn schepnet aau een langē, gaffelvormigen stoks. Первые примеры — 1658, 1752; Boekenloogen, 300. Р е й н с к и й: *Hief*, *Ref* f. «Fischnetz»; в Люксембурге: Lux. Wh. 172, Bruch II, 155, хотя здесь встречается отклоняющееся (вторичное?) словообразование, получившее выражение в фонетике и в родовом различии.

3. *Vaag* «golf». Северный: др.-сев. *bāra* «Welle»; норв. *daara*, ново-нсл., фарерск. *bāra*. А н г л и й с к и й: др.-англ. *bære*, ср.-англ. *bāre* (а вместо ожидаемого *ē* указывает на заимствование из северного: Björkman I, 88; de Vries 25). Ф р и з с к и й: зап.-фризск. *bare*, *beaz*, уменьш. *sunda*, *baer*, *golf*: Dijkstra I, 86, 88, van der Koog, 45. Н и д е р л а н д с к и й: ср.-нидерл. *bare* f. «storm, hoog water». Согласно словарям, это слово типично для юго-восточной Фландрии: Teirlinck, I, 101, на Шельде: Maerevoet 27, Bass-Joos 85; на Зеланде: Ghijzen 52. Н и ж н е г е р м а н с к и й: ограничено бареговой линией: NsWb I, 650. Brem Wb I, 50 дает *Bere* «eine Welle»; в вост.-фризск. *bar* «Woge, Welle», ten Doornkaat—Koolmann I, 101. Ср. Benzler 43. В остальной части германской языковой области почти это отсутствует, ср. Vercoillie 18

²⁸ См.: Э. Макаев, Структура и стратиграфия общегерманской лексики, ВЯ, 1965, 5.

Как видно из изложенного, исследование денсических изоглосс германских языков наталкивается на серьезные трудности. Отсутствие надежных методов, неопределенность и неустойчивость основных понятий ареальной лексикологии, атомарный подход к лексике, рассмотрение ее как бесконечное беспорядочное множество — вот те моменты, которые в настоящее время наиболее характерны для исследования ареальных связей германских языков; моменты, которые мешают удовлетворительной разработке этой важнейшей проблемы германистики, создавая благоприятные условия для прозавольных интерпретаций.

Все сказанное дает возможность следующим образом резюмировать памятные приемы анализа лексических связей и построения лексико-семантических изоглосс (хотя эти методы во многих случаях специально не разрабатываются соответствующими авторами).

1. Устанавливаются изоглоссы между двумя или более лексемами (пра обязательного фонетического соответствия) в различных современных диалектах, с одной стороны, и между лексемами древних и современных диалектов — с другой. При этом обе указанные изоглоссы обычно уравниваются по своей доказательной силе, хотя возможности и условия такого уравнивания в каждом отдельном случае не обосновываются (Э. Шварц, Э. Кольб). В этой связи Р. Шюахель справедливо выступает против перенесения диалектологического метода на более древние эпохи и возражает Т. Фрингеу, заявляющему в своей работе «Культурные движения и культурные области на Рейне», что основные языковые особенности и сдвиги современных германских диалектов сформировались еще в средние века и потому отражены уже в древних памятниках²⁸.

Авторы молчаливо исходят из того, что область синхронной манифестации лексемы будто бы является для нее исконной²⁹ и должна противопоставляться

областям, где та же лексема отсутствует. Считается, что реликтовость или переликтовость той или иной лексемы находится в прямой зависимости соответственно от узости или широты территории, которой присуща эта лексема, от объема ее функциональной нагрузки в данном ареале³⁰. Часто не учитываются возможные инновации и смещения диалектных границ, не считаются с тем, что архаизм — это не всегда реликт, а реликт — не всегда архаизм³¹. Поназательно, что критерии синхронного отсутствия или наличия тех или иных лексических элементов и диалектах используются не только для доказательства их реликтовости характера, но и для доказательства их исконной принадлежности определенной территории (Э. Кольб). Интересно в этой связи замечание Э. Крашмайера, что в случае, если слова, считающиеся им восточногерманскими заимствованиями, будут обнаружены в других ареалах (фризском, английском), то их можно будет считать реликтами и наоборот, слова, объявляемые им реликтами, превратятся в восточногерманские заимствования³². Исследователи обычно обращают недостаточно внимания на выяснение вопроса об общегерманском характере исследуемой ими лексемы. В этой связи важно отметить, что наличие определенной лексемы во всех древних германских языках еще не является доказательством того, что она может быть приписана общегерманскому состоянию³³.

Одним из крупных недостатков использования лексемы для выяснения ареаль-

nach der Altersbestimmung der Dialektgrenzen, *ZfdPh*, XXXIX, 1907.

²⁸ Ср.: J. Müller, *Restwerte und ihre Probleme*, *Zeitschrift für deutsche Mundarten*, I, 1921; J. B. Voyle's, *Some Gothic etymologies and the theory of "Restwörter"*, *JEGPh*, 66, 2, 1967; M. Schönbeld, *OE. Relikte in Holland en Zeeland*, *Mededelingen van konigl. Akad. van Wetenschappen*, 73, A1, 1932; M. Horgung, *Mhd. *in* als mittelbairisches Reliktwort für "Honingtau"*, *Zeitschrift für Mundartforschung*, XXVII, 4, 1961; E. Krauzmaier, *Die bairischen Kennwörter und ihre Geschichte*.

²⁹ Ср.: М. М. Маковский, Пути анализа лексических реликтов и инноваций при установлении изоглосс, ВЯ, 1965, 1. Основные возможности и результаты исследования архаизмов и инноваций в области фонетики и грамматики рассматриваются Э. А. Макаевым (Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики), стр. 25 и сл.).

³⁰ См.: E. Krauzmaier, *Die bairischen Kennwörter...*, стр. 22, примеч. 83.

³¹ См.: Э. А. Макаев, Структура и стратиграфия общегерманской лексики, стр. 3.

²⁸ См.: T. Frings, *Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden*, Halle, 1963; ср.: R. Schützeichel, *указ. соч.*, стр. 12; егo же, *Mundart, Urgundensprache und Schriftsprache*, Bonn, 1960; ср.: В. М. Ж р м у н с к и й, *Введение...*, стр. 289 и сл. Уместно было бы рассмотреть также вопрос о доказательной силе разного рода лексических сопоставлений в плане *erendende Belege* A. Гётце. См.: A. Götze, *Redende Belege*, *Zeitschrift für deutsche Wortforschung*, 2, 190, стр. 277 и сл.

²⁹ См.: K. Heger, *Kriterien zur Bewertung der lexikalischen Sonderstellung einer Sprachlandschaft*, *ZfPh*, 80, 1—2, 1964; ср.: F. Kaufmann, *Zur Frage*

ных взаимоотношений германских языков нередко является то обстоятельство, что на основе небольшого количества случайно подобранных слов (Ф. Маурер, Г. Фрингс, Э. Шварц) или даже одного слова²³ делаются далеко идущие выводы в отношении не только соответствующих языков, но и истории племей, носителями которых они являются. Исследователи обычно не учитывают того факта, что отдельные лексемы претерпевают в процессе своей истории неоднократные изменения и перемещения в пространстве и во времени и вследствие этого не равноценны между собой, хотя они могут быть представлены или не представлены одновременно в определенном ареале на том или ином временном срезе развития языка. Именно поэтому при подобных исследованиях часто не учитывается различный структурный «вес» и неодинаковые связи отдельных компонентов словаря в пределах одного и того же или различных языковых континуумов. Только учет этих моментов может вскрыть возможность сближения соответствующих слов под определенным углом зрения или исключить их сближение в другой плоскости на данном временном срезе. Игнорирование этого ведет нередко к тому, что чисто внешние, мнимые соответствия принимаются за действительные и, наоборот, реально существующие языковые связи либо вовсе не учитываются, либо интерпретируются превратно. Именно поэтому количественное преобладание лексических единиц, обнаруживающих те или иные структуры (resp. ареалы,

временные) признаки, должно даваться одним из минимальных и вместе с тем необходимых и достаточных условий использования лексик как критерия сравнительно-исторического языковедения.

II. Устанавливаются нагласы только между лексемами древних языковых памятников (они обычно неодинаковы по времени своего написания, жанровой окраске используемой ими лексике и т. д.) — Э. Гутмакер, В. Кругман, Г. Шабрам).

При этом не учитывается, что распределение (или отсутствие) лексем в древних памятниках объясняется не обязательно той или иной их диалектной принадлежностью, но в ряде случаев может обуславливаться часто текстологическими моментами (история переписки текстов, эвендаци и т. д.) или вообще фрагментарностью дошедшей до нас древнегерманской письменности. Отсутствие тех или иных лексем в памятниках еще не говорит о том, что они были чужды им и особенно тем языковым ареалам, откуда происходят эти памятники. Кроме того, следует отметить сопоставление слов, относящихся к определенному семантическому полюсу в различных ареалах (этот метод представлен в работах лингвистов Иельской школы, особенно у Швабе, Арнольдсона, Креша и др.).

Несмотря на трудности выработки надежной методики при сравнительно-историческом исследовании связей лексик, нельзя не отметить того многозначительного факта, что лексический материал, которым некогда пренебрегали как недоказательным при лингвогеографическом анализе, ныне прочно введен в научный обиход как вполне самостоятельный и полноценный критерий научного аппарата диалектолога.

М. М. Маковский

²³ Ср.: O. K i e s e r. *Wagenstange*, «Forschungen und Fortschritte», 1963, 3, 37, стр. 90 и сл.; H. T e u s c h e r t. *Die Sprachreste der niederländischen Siedlungen des 12 Jh.*, Neumünster, 1944, см. особенно «Nachträge», PBB, 70: Gamme.

РЕЦЕНЗИИ

W. Krause (mit Beiträgen von H. Jankuhn). Die Runenschriften im älteren Futhark. I — Text, II — Tafeln («Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge, № 65»). — Göttingen, 1966. I — XX + 328 стр., II — VIII + 72 табл.

Монография В. Краузе, вышедшая впервые в 1937 г.¹, нашла сразу живой отклик и сочувствие среди специалистов — рунологов, германистов, компаративистов, преподавателей и студентов. В многочисленных рецензиях² отмечалась бесспорная достоверность этой книги, которой суждено было стать настоящим руководством и незаменимым справочником по всем вопросам чтения и толкования старших рунических надписей на протяжении трех десятилетий. За время, прошедшее после выхода в свет первого издания монографии В. Краузе, во многом изменились наши представления о рунологии, было открыто много новых рунических надписей, выполненных 24-значным футарком, видоизменились и усовершенствовались приемы чтения и интерпретации рунических надписей, в значительной степени углубились наши представления о дописьменной истории древних германских языков³, в связи со всем этим, перед автором встал законный вопрос о втором издании монографии. Подготавливая книгу к новому изданию, В. Краузе пришел к убеждению, что изменения, которые было необходимо внести в новое издание книги, были столь значительными, что в конечном счете речь должна была пойти не о переиздании книги, а, по сути дела, о создании нового произведения. В. Краузе указывает на эти изменения⁴:

1. В первом издании было представлено и интерпретировано (при этом не всегда с достаточной полнотой) 100 наиболее значительных рунических надписей. В настоящем издании количество интерпретированных надписей (под собственным номером) доведено до 167; всего упоминается в настоящем издании 222 рунических надписей (в издании 1937 г. упоминалось 181 руническая надпись).

2. В издании 1937 г. как филологическая, так и археологическая интерпретация рунических надписей давалась с точки зрения филолога и языковеда. Современное состояние археологии⁵ с самостоятельностью диктует необходимость в разобранной интерпретации рунических надписей: со стороны филолога и археолога. В настоящем издании археологическая датировка рунических надписей выполнена Г. Янкуном.

3. Композиция издания 1966 г. существенно отличается от композиции первого издания 1937 г. Материал рунических надписей в издании 1937 г. располагался по смысловым группам (рунические алфавиты, рунические формулы, рунические мастера, магия и ритуал, надгробные надписи, посвященные надписи и пр.). Рецензенты⁶ уже указывали на то, что с чисто рунологической точки зрения было бы более разумно давать рунические надписи по месту их нахождения. В настоящем издании выдерживается смешанный, локально-смысловой, порядок расположения материала: в главе I рассматриваются рунические алфавиты, в главе II даются надписи на скандинавских пряжках, в главе III даются преимущественно датские древнейшие надписи, в главе IV даются надписи скандинавского и восточногерманского происхождения на древке копья и на его острие, в главе V даются надписи скандинавского и восточногерманского происхождения на дереве, кости, металле и камне, в главе VI даю-

¹ W. Krause, Runenschriften im älteren Futhark, Halle (Saale), 1937, XV + 258 стр.

² «Arkiv för nordisk filologi», 54, 1938 (E. Moltke); «Danske Studier», 1941 (K. M. Nielsen); остальные рецензии см. в ин.: Н. А г н т з, Bibliographie der Runenkunde, Leipzig, 1937, стр. 111; рецензии указываются в «Berichte zur Runenforschung», I, 1, 1939, стр. 44.

³ См. об этом подробнее в кн.: Э. А. Макаев, Язык древнейших рунических надписей, М., 1965, стр. 5—18.

⁴ W. Krause, Die Runenschriften..., стр. III—VI.

⁵ См.: Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 12—15.

⁶ K. M. Nielsen, указ. соч., стр. 144.

ся наскальные надписи, в главе VII даются надписи на камне без орнамента, в главе VIII даются надписи на орнаментальных камнях, в главе IX приводятся бракетты, в главе X приводятся рунические надписи южногерманского происхождения.

4. В настоящем издании учтена значительно возросшая рунологическая литература, доведенная до 1964—1965 гг.

5. В издании 1937 г. фотоснимки рунических надписей давались в самом корпусе книг, сразу после приведения надписи; в настоящем издании они помещаются в особой, второй части книги (отпечатанной с особой пагинацией и на особой бумаге).

6. В издании 1937 г. давалась грамматическая инвентаризация рунических форм; в настоящем издании она была выпущена, поскольку автору представляется необходимым дать вместо этого углубленный анализ языка древнейших рунических надписей в отдельной книге⁷.

Таким наиболее существенным отличием данного издания от первого издания 1937 г. Следует, однако, подчеркнуть, что, несмотря на вышеуказанные преобразования, книга В. Краузе в самой существенной части, именно в отношении чтения и интерпретации рунических надписей, определения их хронологической соответственности, их магического значения и их палеографических особенностей, не означает фронтальной модификации концепции, лежавшей в основе первого издания 1937 г., и поэтому нет достаточных оснований для рассмотрения данной книги как совершенно нового труда по сравнению с изданием 1937 г. Настоящее издание книги В. Краузе отличается теми же достоинствами, что и первое издание. Сюда относятся прежде всего аутопсия подавляющего большинства рунических записей, многократно исследованных на месте В. и Агнес Краузе в 30—60-х годах. Это особенно плодотворно сказывается при анализе надписей, чтение которых является весьма спорным и требует особой осторожности при интерпретации как отдельных рунических знаков, так и надписи в целом⁸. Большая осторожность при чтении лю-

бой рунической надписи всегда уместна, ибо вплоть до настоящего времени сохраняет свою силу (хотя и не приходится разделять иррациональный скепсис автора) утверждение К. Марстрандера: «С известным основанием можно утверждать, что вплоть до настоящего времени не удалось истолковать ни одну руническую надпись. В ряде случаев мы в состоянии определить текст надписи, но одновременно мы должны, и как часто при этом, признать, что данный текст является лишь скорлупой, за которой скрывается неведомое нам ядро»⁹. Следует заметить, однако, что в книге В. Краузе осторожность в чтении и осторожность в интерпретации рунических надписей не всегда идут рука об руку. Особенно это относится к руническим надписям, в магическом характере которых В. Краузе не сомневается. То, что отдельные рунические знаки могли иметь дополнительное магическое значение, то, что отдельные рунические надписи могли иметь определенную магическую направленность или могли использоваться в магических целях — не подлежит сомнению, поскольку это неоднократно засвидетельствовано в древнескандинавской литературе. Однако вопрос заключается в том, в какой мере больше и в ст о рунических надписей и встречающихся в них слов и имен собственных позволяет говорить об их магических функциях, об их подчеркнуто магическом характере. Книга А. Бекстеда¹⁰ имела, бесспорно, отрезвляющее значение для данного вопроса, ибо в ней автору удалось показать, что рунические письма имели в Скандинавии и на континенте ряд чисто светских функций, весьма далеких от магии и культа. В рецензии на книгу В. Краузе 1937 г. Э. М о л т к е писал: «Из толкований В. Краузе вытекает, что он не рассматривает все, что было начертано в рунах, как магию и волшебство, но полагает, что руны, подобно латинскому литературному языку эпохи средневековья, могли использоваться как в целях коммуникации, так и в магических целях. В этой основной точке зрения, чрезвычайно важной для рунологии, авторы книги в рецензии едины»¹¹. В настоящем издании многие рунические надписи интерпретируются как магические, хотя, как мне представляется, исследователь не всегда располагает достаточно вескими аргументами. Так, авантюристу форму *sigadur* на медальоне из Свартеборга (стр. 107), В. Краузе, вслед за некоторыми рунологами, усматривает в данной форме имя собственное **Sigi-hafur*, полагая, что

⁷ В. Краузе указывает: «Ценной, основополагающей работой в этом отношении является книга Э. А. Маанава «Язык древнейших рунических надписей», М., 1965, хотя она и не дает систематического изложения материала» (W. Krause, указ. соч., стр. VI, примеч. 1).

⁸ Ряд важных и ценных наблюдений (также на основе аутопсии) по вопросу о соотношении методики чтения и методики интерпретации рунических надписей содержится в работе: L. Jacobsen, *Runelesning og Runetolkning*, *Acta philologica Scandinavica*, V, 1931, стр. 127—149.

⁹ K. Marstrand, *Barmenius-skriften*, NTS, X, 1938, стр. 361.

¹⁰ A. Bæksted, *Målruner og Troldruner*, København, 1952.

¹¹ E. Moltke, указ. соч., стр. 113.

начальное двойное написание /ss/ преследовало либо орнаментальное, либо магические цели. Однако, как справедливо указал Г. Андерсен¹², двойное написание руны — явление совершенно несомнительное и использование подобного написания в магических целях вообще не засвидетельствовано в рунических надписях. Что касается двойного написания для сохранения числа «8» (руны группировались в 24-значном руническом алфавите по «родам», каждый из которых состоял из 8 рун), то А. Бекстед¹³ убедительно показал, сколь произвольными и неважными являются выкладки рунологов, основанные на манипуляциях с числовой символикой и количеством рун в рунических надписях. К развитию $\beta > \delta$ и объяснению, даваемому В. Краузе, мы еще вернемся в связи с поисками о языковых особенностях рунических надписей.

Анализируя форму *widuhudaR* на пряжке из Химлингёйе (стр. 32—33), В. Краузе, вслед за другими исследователями¹⁴, полагает, что данную форму следует вычитывать как *widuhundaR* и что это означало дословно «лесная собака», являясь, вероятно, кеннингом для обозначения волка. Скорее всего, полагает В. Краузе, так называл себя самого мастер рунического письма — маг (*Runeþagiker*), желая тем самым указать на свои опасные, магические силы (стр. 33). Данная интерпретация повисает в воздухе, ибо, прежде всего, ясным является чтение надписи. Как указывает сам В. Краузе, часть серебряной пластины, где могло находиться несколько рун, была оломана. От руны /w/ сохранилась лишь одна верхняя часть. В. Краузе пишет: «По языковым данным здесь возможно усматривать руну /w/» (стр. 32). Следовательно, приблизительная интерпретация данной формы основана на проблематичном чтении надписи. Кроме того, в том случае, если данная форма действительно являлась кеннингом для «волка», остается непонятным, почему этот столь широко распространенный в древнегерманской поэзии кеннинг, являвшийся в рунической надписи именем собственным, должен был указывать на магические силы рунического мастера — Мага?

Рассматривая руническую надпись на пряжке из Братсберга (стр. 43) и анали-

зируя форму *ek eritaR*¹⁵, В. Краузе пишет: «Словами „Я, эриль“ рунический мастер называет самого себя и в этом самообозначении, не нуждавшимся ни в каком синтаксическом дополнении, скрывается чувство его силы в вычерчивании руны, имевших магическое действие». Остается непонятным, почему столь типичная для рунических надписей формула *ek eritaR*, например в надписи из Россолана (стр. 154) *ek wagigaR irilaR agilamidon* «Я, Вагигаз, эриль Агиландунды (?)», в надписи из Братсберга должна иметь магическое действие? Интерпретируя надписи из Россолана (стр. 154—155) и рассматривая формулу *wagigaR* как имя собственное¹⁶, В. Краузе полагает, что этимологически данное слово могло означать: «бурно стремившийся (или летящий) вперед». Это прозвище должно было характеризовать магическую силу рунического мастера (стр. 155). Однако К. Марстрандер¹⁷ справедливо указывает на то, что, согласно правилам рунической палеографии, *wagigaR* могла быть прочтена как *wagilgaR* (в сочетании «носовой + гоморфный согласный» в рунических надписях носовой, как правило, не выплывалась¹⁸) и в таком случае имя могло быть истолковано как «родом из Вага». Данное имя могло быть также прочтено (на основе вышеуказанного правила) как *wanglagaR* и в таком случае К. Марстрандер предлагал сопоставить его с засвидетельствованным у Тацита именем собственным *Fangio*. Все эти конъектуры говорят о том, что интерпретация В. Краузе имени *wagigaR* вряд ли может рассматриваться как вполне убедительная. Еще более явно интерпретация рунических надписей как своего рода фрагментов магических формул проступает у В. Краузе при анализе рунических надписей на пряжке из Гордлёйс (стр. 36): *ekimwoðir* (следует заметить, что последние две руны — *ir* являются лишь предположением В. Краузе). В. Краузе полагает, что *imwoðir* является сложным словом по типу бахуварий и означает «не существующий», подчеркивая: «Очевидно, самообозначение рунического мага, который в данном случае проявляет себя не в диалогической, а выступает с добрыми пожеланиями» (стр. 35). Подобную же интерпретацию В. Краузе дает и слову *galja* на

¹² H. A. n d e r s e n. Svarteborg-medaljonens indskrift, «Arkiv for nordisk filologi», 78, 1961, стр. 51—60.

¹³ A. B a e k s t e d, указ. соч., стр. 118—173.

¹⁴ E. M o l t k e, Er runeskriften opstået i Danmark? «Fra Nationalmuseets Arbejdsmark», 1951, стр. 47—56; G. S c h r a m m, Namenschatz und Dichtersprache, Göttingen, 1957, стр. 82—83.

¹⁵ См. об этой формуле в кн.: Э. А. Макаев, Язык древнейших рунических надписей, стр. 40 и 122.

¹⁶ Интерпретация *wagigaR* была дана впервые в работе: К. M a r s t r a n d e r, Rosslandssteinen («Universitetet i Bergen Arbok. 1951», стр. 15).

¹⁷ К. M a r s t r a n d e r, указ. соч., стр. 15.

¹⁸ См.: Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 58—59.

копье из Дамсдорфа, возможно, со значением «нападающий»: «Слово *ganja* (имя действующего лица в **ganjal*) является магически-поэтическим обозначением самого оружия» (стр. 77). Ср. также толкование *aulfþvǫttarR* (стр. 53), *woðuride* (стр. 165) и пр. Подобная магически-экстатическая интерпретация рунических слов (имен собственных) была бы беспорочной в том случае, если бы удалось доказать магически-культовое происхождение рунического письма, что, особенно после исследований А. Бекстеда и Э. Мольтке¹⁹, более чем сомнительно, тем более, что речь идет о единичных словах, чтение и этимология которых допускает самые различные толкования; к тому же более поздние рунические надписи, допускающие более или менее убедительную интерпретацию, носят явно выраженный светский и, не магический характер, например: *hagiradaR lauide*. «X. изготовил шкатулку» (шкатулка из Гарбёлле; стр. 73); *ek hlevagastiR holtiþaR horna. lauido* «Я, X. из рода Хольта, этот рог сделал» (золотой рог из Галлехуса; стр. 100), *hadulaikaR ek haustadaR Maaiwidogutino* «X. я X. похоронил (здесь) своего сына» (камень из Кьёвельки; стр. 173); *þago: wraetruna*: (начало надписи на пряжке из Фрайлауберсхайма) «B. написал руны...» (стр. 283); *hnabudashlatna* «могильный холм X.» (стр. 181); *frawaradaR anahahaislaginaR* «Ф убит на коне» (интерпретация В. Краузе надписи на камне из Мейбру; стр. 223) и т. д.

Для окончательного решения вопроса о магической принадлежности рунических надписей понадобятся углубленные изыскания в области древнегерманской лексики (особенно ономастики), рунологии (это отзовется, прежде всего, и на вопрос о происхождении рунического письма и его функционального назначения в различных германских племенах) и культуры. При современном состоянии изучения всего комплекса относящихся сюда проблем магически-культовая интерпретация рунических слов (имен собственных) является недостаточно обоснованной.

К сходным выводам приходит Л. Мюссе²⁰, который подчеркивает: «Наша точка зрения, сразу оговорив это, весьма близка к точке зрения А. Бекстеда. Так же, как и он, мы полагаем, что магомания (l'obsession magique) многих рунологов объясняется скорее психологией ученых, чем непосредственным содержанием [рунических слов — Э. М.] надписей... Для некоторых рунологов, профессиональных языковедов, обращение к ма-

гической гипотезе [в интерпретации рунических надписей. — Э. М.] служило, несомненно, подсознательно, средством спасти свою научную честь пред лицом текста, который они совершенно не понимали... В данном вопросе наиболее важно остаться хладнокровным и принимать за истинное лишь то, что бесспорно доказано или, во всяком случае, весьма правдоподобно...». Не менее важное значение имеют замечания В. Краузе о языковой принадлежности рунических надписей. Как уже отмечалось выше, данный вопрос В. Краузе намерен осветить в отдельной монографии, отсылка пока читателя к книге Э. А. Макаева; однако в рецензируемой работе содержится много утверждений относительно языкового статуса рунических надписей. В этой связи обращает на себя внимание частое обращение В. Краузе к формам обиходного или разговорного языка (Alltagsprache); так, объясняя форму *inja* (фибула из Везелье), В. Краузе пишет: *inja* следует скорее всего рассматривать как форму им., вин. пад. ед. числа жен. рода слова *injala* (так в др.-сакс.), др.-в.-нем. *inilla* «усяда». Выпадение /w/ объясняется или цетовым написанием, или как передача формы обиходного языка» (стр. 309); при анализе надписи на пряжке из Несбьорга (стр. 37), дошедшей в весьма несовершенном состоянии, В. Краузе, взвешивая возможные ее толкования, пишет: «Языковая принадлежность [данной надписи. — Э. М.], вследствие неясности ее чтения и толкования, точно не определена, но кажется, что в данном случае, как и в рунических надписях на пряжках, о которых речь была выше, данная надпись относится к средневековому эрульскому обиходному языку (einer nivellierten erulischen Umgangssprache)». Выше уже указывалось на интерпретацию В. Краузе формы *sigadiR* на медаллоне из Свартеборга. Объясняя развитие древнегерманской формы **Sigi-habuz* > *sigadiR* и не соглашаясь с Г. Андерсеном и Э. Макаевым²¹ в том, что данная надпись представляет бессмысленный набор рун, В. Краузе предлагает свое объяснение несоответствия фонетических изменений в данной форме. Г. Андерсен, настаивая на том, что *sigadiR* является бессмысленным набором рун (эта точка зрения разделяется и Э. А. Макаевым²²), указывал на то, что двойное написание руны /s/ противоречит принципам рунической палеографии. С точки зрения относительной хронологии окончание *-uR* предполагает языковое состояние рунического койне (в терминологии Э. А. Макаева), т. е. может относиться к входе не позже VII в.; ср. *waruR* (Тумстад), по *sunR*

²¹ См. рецензию В. Краузе на книгу Э. А. Макаева (ВЯ, 1967, 2, стр. 127).

²² Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 61.

¹⁹ L. Jacobson, E. Moltke, Danmarks runeindskrifter. Text, København, 1942, стр. 848.

²⁰ L. Mousse, Introduction à la runologie. En partie d'après les notes de F. Mosé, Paris, 1965, стр. 142—143.

(Спардеса). Но в таком случае сочетание *igi-* должно было сохраниться; ср. *sigimarkar* (Элестат). Кроме того, фонема /h/ в руническом койне обозначала глухой спирант (с аллофоном в виде звонкого спиранта)²³ и сохранялась в интервокальной позиции, ср. *swabharjaR*, *fahido* (F8), *harisna* (Зееландский брактат), *fahido* (Эйланг). Следовательно, могла произойти контракция *-igi-* в сочетании **SigihafuR* > *Siga-*, но в таком случае окончание *-iR* должно было измениться в *-R*.

В. Краузе пишет: «В *ssigaduR* мы находим, вероятно, отражение реального произношения в обиходной речи (eine Wiedergabe der wirklichen Alltagsausprache): интервокальное *-h-* уже исчезло, а срединное *-i-* подверглось синкопе. Затем, *ß* в слабоударном втором члене (сложного слова. — Э. М.) подверглось озвончению по закону Вернера» (стр. 107). Анализируя форму *hafu* (надпись на оседке из Стрэма), В. Краузе указывает на то, что по сообразностям синтаксического порядка *hafu* вряд ли сопоставимо с древнегерманским словом *hafu* «борьба», но, скорее всего, *hafu*, вслед за Т. Гринбергом²⁴, следует вычитать как *hafu* с синкопой среднего гласного <**hawifu* «покое». Синкопа среднего *-wi-* несомненно уже могла наступить в эпоху возникновения данной надписи. Именно в столь обиходном термине могли получить отражение нормы разговорного языка с наличием ранней синкопы, в то время как *hino*, *hali*, *harna*, *hafa* с их сохранением конечных гласных полного образования являлись, возможно, архаизирующими формами (стр. 112). В этих положениях обращают на себя внимание два обстоятельства:

1. В настоящее время мы не располагаем никакими данными об обиходной или разговорной форме древнегерманских литературных языков. Все без исключения дошедшие до нас памятники на древнегерманских языках в жанровом отношении довольно замкнуты и ограничены (поэтические и религиозные памятники с подчеркнуто архаизирующими стилистическими особенностями, переводные памятники лишь определенных жанров, памятники исторического и юридического характера и т. п.). Тем более это относится и еще более древним свидетельствам, особенно к первому литературному варианту германского языкового мира — к руническому койне.

2. Для языка рунических надписей, уже по своему назначению имевшего известней надмалективный оттенок, в высокой степени был показателем архаизирующий, подчеркнуто традиционный характер. Это находило свое выражение в значительной стилизованности надписей и обязательном присутствии в них трафаретных формул и фразеологизмов, в наличии особой сакральной лексики, в особых приемах германской поэтической техники. Все это вместе взятое обусловило попростому унифицированный, единообразный наддиалектный характер языка старших рунических надписей²⁵. Отдельные локальные языковые особенности могли находить отражение в рунических надписях, но подчеркнуто разговорные, обиходные формы или обороты речи, не находившие себе отражения в значительно более поздних литературных памятниках, вряд ли могли быть зафиксированы в рунических надписях лирического стиля. Я убежден в том, что в рунологии в дальнейшем придется отказываться при объяснении этимологически неясных, фонетически и морфологически неудовлетворительно не объяснимых форм и слов от обращения к разговорным или обиходным формам, по непонятным причинам пропавшим в столь трафаретный и единообразный язык рунических надписей. Это тем более неубедительно, что, как полагает В. Краузе, в одной и той же рунической надписи едвались разговорные и торжественно архаизирующие формы: *watshahinahorna hafu skafihafuili* (надпись на оседке из Стрэма; стр. 112). Насколько далеко может зайти подобная интерпретация непонятных (или незакономерных с точки зрения действия определенных германских фонетических законов) форм и слов, показывает анализ, даваемый В. Краузе надписи на пряжке из Несбергера (стр. 36—37); в данной надписи различимы лишь 4 руны: $\begin{matrix} x & a & g & x & x & s \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{matrix}$

на неясна: Э. Мольтке и В. Краузе полагают, что речь может идти о руны /w/, от руны на пятом месте сохранился лишь стержень; это может быть вычитано как руны /f/. На шестом месте К. Марстрандер (а затем и Э. Мольтке) принимал две руны /in/, Э. Мольтке раньше принимал сочетание /au/, а В. Краузе хрипитает две руны /ul/. Остается указать на то, что Э. Мольтке давал следующее чтение надписи: *watshafusa*, а К. Марстрандер вычитывал данную надпись так: *sinwagan*. В. Краузе склоняется к чтению *watshafusa* и дает соответственно чтение сле-

²³ S. Einarsson, The value of initial /h/ in Primitive Norse Runic inscriptions, «Arkiv för nordisk filologie», 50, 1934, стр. 134 и сл.

²⁴ Th. von Grienerberger, Zwei Runenschriften aus Norwegen und Friesland, ZfdPh, 42, 1910, стр. 385 и сл.

²⁵ Более подробно см.: Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 49—51.

²⁶ K. Marstrand, De nordiske runeskrifter i eldre alfabet, «Viking», 1952, стр. 96.

дующую интерпретацию: «Не пробалтывающийся (der sich vorsieht vor Schwatzen)». В Краузе пишет: *swarafusa* могло бы быть самообозначением мастера рунического письма, который, возможно, тем самым хотел выразить, что он не боится необходимости, но осторожно выбирает свои слова, имея в виду магическое действие (стр. 37). Нужно со всей определенностью указать на то, что в интересах строгости анализа рунических надписей можно было бы выставить положение: к интерпретации рунической надписи можно приступить лишь тогда, когда достигнуто ее точное, однозначное чтение. В противном случае, когда надпись сохранилась в безнадежно плохом состоянии и более или менее ясно вычитываются лишь отдельные руны, при этом остается не выясненным, какое количество рун содержало первоначально надпись и сколько рун стерлось и более не различимо, — не представляется возможным давать интерпретацию надписи. Интерпретация сводится к интуитивным предположениям и догадкам, не вытекающим из чтения плохо сохранившейся надписи, а, по сути дела, навязываемым чтением надписи. Поскольку чтение примерно $\frac{1}{2}$ всех древнейших рунических надписей неясно²⁷, то различным конъектурам открывается широкий простор и становится ущербной строгость и деловая трезвость рунологического анализа.

Из более частых замечаний оставалось на следующих вопросах:

1. Давая анализ надписи на Зеландском брактате, В. Краузе следующим образом интерпретирует форму *hariuha*: имя собственное (я-основа, им. пад. ед. числа). Первая часть данного имени *hari* — свидетельствовала в древнейших рунических надписях, ср. *Harawol⁴ir* на камне из Стентофена (стр. 210). Вторая часть данного имени точно не истолковывается; *-uha* возможно < **(j)unha*, с часто формальной точкой зрения находится в грамматическом чередовании с **jungaR* (др.-исл. *ungr*) «молодой» (стр. 262). В рецензии на книгу Э. А. Макаева²⁸ В. Краузе подчеркивает: «Этимологически Э. А. Макаев считает возможным... соотносить имя *Uha* (с учетом грамматического чередования) с общегерманской основой *ugga* «бояться, наводить страх» и т. д., усматривая в *-gg* экспрессивное удлинение. Это мало вероятно. Лично я не могу признать наличие простого имени *Uha*, которое нигде не встречал. Что касается второго компонента имени *hariuha*, то в нем можно разве что усмотреть слово *u(n)ha*, „молодой“. Тот же эпитет в грамматичес-

ким чередованием встречается в гот. *juggs* (сравнительная ступень) *jūhiz*, а также в ст.-исл. *ungr*: *ori*. В полном имени *hariuha* основное ударение могло падать на второй компонент, в связи с чем сохранилась форма с *-h*-з. Отсылая в отношении моего объяснения имени *hariuha* к соответствующим разделам моей книги, я должен сказать, что вышеприведенное объяснение В. Краузе не является удовлетворительным. По правилам германской акцентологии в том случае, если сложное слово состояло из двух лексически самостоятельных основ, главное ударение падало на первый компонент (определяющее слово), а второстепенное ударение — на второй компонент²⁹. Остается совершенно непонятным, почему в слове *hariuha* оказалась нарушенной германская акцентивная модель, так как главное ударение падало на второй компонент, благодаря чему в *-uha* сохранился глухой вариант, а в слове *siggaR*, как подчеркивал В. Краузе (см. об этом выше), второй компонент сложного слова **Sigi-habuR* получал второстепенное ударение, что было вполне закономерным и что являлось привычной озвонченной *þ > d* по закону Вернера. Почему в случае со сложным словом *hariuha* сохраняется глухой спирант (стр. 262), а в случае со сложным словом *siggaR* в той же позиции происходит озвончение глухого спиранта (стр. 107)? Имя мы должны принять для рунического коинне действие других акцентивных факторов, что было бы просто неверно. Вследствие этого я продолжаю настаивать на своем объяснении³⁰ рунического имени собственного *hariuha*.

²⁷ См. об этом: F. Kluge, *Urgermanisch*, Strassburg, 1913, стр. 88 и сл. Именно с этим акцентивным фактором Ф. Клуге связывает весьма характерный для германских языков переход лексически самостоятельных слов второго компонента словосложения в полусуффиксальные образования и, наконец, в суффиксы. Ср. также следующие замечания Ч. Карра (C. H. Carr, *Nominal compounds in German*, London, 1939, стр. XVII—XVIII): «В германском принципе акцентуации исключительно на корневом слоге привел к фонетическому отмиранию суффиксов и к потере их семантической значимости». Г. Хирт указывает на то, что второй компонент сложного слова мог получать главное ударение в том случае, когда сложное слово состояло из лексически самостоятельной основы (глагола) и дериивационной морфемы (префикса); остальные случаи, приводимые Г. Хиртом весьма сомнительны (H. Hirt, *Handbuch des Ugermanischen*, I, Heidelberg, 1931, стр. 153).

²⁸ Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 80—81

²⁷ См. список, приводимый в кн.: Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 100—110.

²⁸ В. Краузе, рец. на кн. Э. А. Макаева, стр. 134.

2. Анализируя надпись на камне из Бьёрнестерпа, В. Краузе пишет: *sutiAR* следует истолковывать скорее всего вместе с Бугге и фон Фрисеном как *all aeiR* „находится на чужбине“... Формы *aR* (или *aer*) засвидетельствована в надписях лишь значительно более позднего времени. Еще надпись на камне из Эггви (стр. 229—232) и на пряжке из Странда (стр. 49) и, прежде всего, надпись на камне из Стентоттена (стр. 211) обнаруживают форму (*i*); однако, несмотря на это, форма с позднее повсюду проведенным грамматическим чередованием могла существовать уже в VII в. (стр. 216). Вытеснение формы *isler* формой *er* (рун. *all*) не является следствием грамматического чередования. В своем «Очерке древнескандинавской грамматики»³¹ В. Краузе справедливо указывал на то, что межа */s/* на */t/* произошла под влиянием парадигмы мн. числа. Между *sir* можно также объяснить слабоударной позицией данного глагола, на что указывает Э. Прокш³². Грамматическое чередование к этой меже никакого отношения не имеет.

3. Несмотря на исключительно тяжелый набор, книга В. Краузе отпечатана превосходно, однако в ней имеются досадные опечатки. Указываю на основные опечатки: стр. 66 напечатано: *feuar*, следует: *feuarR* (правильно дается на 123 стр. и в Указателе слов, стр. 323); стр. 24 напечатано: Н. Kühn, следует: Н. Kuhn; стр. XIX: Johannesson. Указан

³¹ W. Krause, *Abriß der altwestnordischen Grammatik*, Halle (Saale), 1948, стр. 100.

³² Э. Прокш, *Сравнительная грамматика германских языков*, М., 1954, стр. 234. Полное и корректное объяснение парадигмы *verbum substantivum* в древнескандинавском см. в кн.: А. Ноггел, *Geschichte der nordischen Sprachen*, Strassburg, 1913, стр. 212—213.

год издания 1928, следует 1923; стр. 91 напечатано К. G. Ljunggren, AnF 9, следует: AnF 53.

В заключение можно без всякого преувеличения утверждать, что книга В. Краузе была и остается наиболее авторитетным, полным и удобным изданием всех рунических надписей, выполненных 24-личным футурком. Классический труд В. Краузе в течение трех десятилетий служил и продолжает служить настоящим руководством и незаменимым справочником по всем вопросам рунологии. Настоящее издание книги В. Краузе имеет ряд бесспорных преимуществ перед первым изданием 1937 г. и здесь мы хотим отметить те ее особенности, которые делают ее исключительным и неповторимым явлением во всей рунологической литературе: будучи учебным чрезвычайно широким профилем, сочетая в себе профессиональную подготовку и талант компаративиста-индоевропеиста, общего языковеда, германиста, скандинависта, литературоведа, историка языка и рунолога, В. Краузе в рецензируемой книге с большим тактом и исключительным умением при интерпретации рунических надписей всегда отбирает из всех вышеозначенных дисциплин лишь то необходимое, что помогает уяснить языковые, мифологические, ритмические, историко-литературные особенности рунических надписей и ввести их в общую историческую картину германского языкового мира. Это исключительное умение синтетически интерпретации рунических надписей в настоящее время свойственно одному лишь В. Краузе. Остается выразить пожелание увидеть в скором времени выход в свет задуманного В. Краузе труда, посвященного анализу языка древнейших рунических надписей.

Э. А. Макаев

Г. Б. Джаурия, *Очерки по истории дописьменного периода армянского языка*. Ереван, изд-во АН АрмССР, 1967. 382 стр.

История системы согласных армянского языка, как глараба, так и ашхарабара, и ее отношение к общевноевропейской системе согласных является одним из труднейших и наименее разработанных вопросов армянского и индоевропейского сравнительного языкознания. Работы Х. Хюбшмана, А. Мейе, Х. Педерсена, Э. Лидена, Р. Азаряна, В. Цизани, Дж. Болонбиззи, А. Гарибяна, Э. Агаяна² и других исследователей по-

водили установить ряд закономерностей в области армянского консонантизма, однако, как показала дискуссия по вопросам армянского консонантизма на страницах журнала «Вопросы языкознания», проходившая в 1960—1962 гг., как раз древнейший период развития системы

mentische Grammatik, Leipzig, 1896; A. Meillet, *Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique*, Vienne, 1936²; H. Pedersen, *Armenisch und die Nachbarsprachen*, KZ, XXXIX, 1906; E. Lidén, *Armenische Studien*, Götte-

¹ H. Hübschmann, *Armenische Studien*, Leipzig, 1883; его же. *Ar-*

согласных армянского языка остается вплоть до настоящего времени очень мало изученным. Рецензируемая книга Г. Б. Джаукяна является продолжением и обобщением исследований автора, посвященных давнему кругу проблем².

Можно без преувеличения утверждать, что книга Г. Б. Джаукяна является основополагающим трудом по истории армянского консонантизма, первым опытом фронтального анализа системы согласных древнеармянского языка на широкой сравнительной основе, и нет сомнения в том, что все дальнейшие исследования в этой области будут в той или иной степени опираться на эту книгу. Следует в то же время со всей определенностью подчеркнуть, что многие положения и постулаты работы Г. Б. Джаукяна приглашают к дискуссии, являются весьма спорными и вызывают многочисленные возражения. Подобное положение вещей представляется совершенно естественным в любом исследовании по сравнительной грамматике индоевропейских языков, и оно тем более оправдано в данной работе, ибо вплоть до настоящего времени не создана историческая грамматика армянского языка, многие диалекты армянского языка не получили должного описания, остаются неисясненными многие вопросы филологической системы габара³, и в этих условиях нельзя не прийти к выводу о том, что материал, находящийся в распоряжении как армянистов, так и индоевропеистов, в настоящее время не позволяет прийти к более

определенным выводам в отношении генезиса армянского консонантизма. Для подобных, если и не окончательных, то во всяком случае более решительных и более обоснованных выводов, свободных от бездоказательности и бесцеленной фантастики, необходимо иметь экспериментальные исследования фонетического строя (как с точки зрения органо-тектоники, так и акустики) современных армянских диалектов, описание фонологического строя армянских диалектов (особенно тех, где представлены звонкие придыхательные), описание фонологического строя габара и описание развития армянского языка в терминах диахронической фонологии, структурно-типологическое описание класса звонких придыхательных в новонидийских языках и в некоторых современных армянских диалектах. Однако, при всей спорности и дискуссионности основных положений книги Г. Б. Джаукяна, необходимо прежде всего указать на ее несомненные достоинства: автор собрал огромный материал (в основном из габара, частично из некоторых современных диалектов⁴), экспериментировал весь относящийся сюда материал из «Корневого словаря армянского языка» Р. Ачаряна⁵, дал значительное количество новых этимологий, учел всю литературу по этимологии габара. Исследование выполнено на уровне современных данных не только в области арменистики, но и в области индоевропейского сравнительного языкознания и в области общего языкознания. Автор часто указывает на шаткость или гипотетичность выдвигаемой этимологии и предлагает различные объяснения при решении этимологических проблем. Он говорит о вариативности корня или детерминативов в общиндоевропейском, о субстратном воздействии, о возможном заимствованном характере соответствующей локсемы, об омонимическом характере ряда образований, об экспрессивном образовании. В этом смысле методика исследования Г. Б. Джаукяна можно обозначить как «неуникальность этимологического решения» (non-uniqueness of etymological solution). Несомненным достоинством работы являются многочисленные таблицы индоевропейско-армянских корреспонденций; особенно instructивной и важной является таблица на стр. 298—299, дающая двоякую картину развития: от общиндоевропейского состояния > армянской системы согласных и от армянской

borg, 1906; Р. Ачарян, История армянского языка, I—II, Ереван, 1940—1951 (на арм. яз.). Список работ Р. Ачаряна приводится в кн.: Г. Ачарян, Из моих воспоминаний, Ереван, 1967, стр. 442—445 (на арм. яз.); V. Pisanì, Lezioni di Armeno, Milano, 1946; егo же, Studi sulla fonetica dell'armeno «Ricerche linguistiche», I—1950, II—1951; C. Bolgnesi, Ricerche sulla fonetica armena, «Ricerche linguistiche», III, 1954; А. С. Гарибян, Об армянском консонантизме, ВЯ, 1959; 5; егo же, Еще раз об армянском консонантизме, ВЯ, 1962, 2; Э. Б. Агаян, О генезисе армянского консонантизма, ВЯ, 1960, 4.

² Г. Б. Джаукян, К вопросу о происхождении консонантизма армянских диалектов, ВЯ, 1960, 6; егo же, Урартский и индоевропейские языки, Ереван, 1963 (необходимо иметь в виду замечания И. М. Дьяконова об этой книге: см.: И. М. Дьяконов, Языки древней Передней Азии, М., 1967, стр. 165); егo же, Хайасский язык и его отношение к индоевропейским языкам, Ереван, 1964.

³ Первым опытом фонологического описания габара является «Грамматика древнеармянского языка» Э. В. Агаяна (Ереван, 1964; на арм. яз.), т. I—Синхрония, кн. I—Фонетика.

⁴ К сожалению, автор не указывает, из какого диалекта приводится материал, например *k'ont'* (диалект.) (стр. 189), *matel* (диалект.) (стр. 195), *cul* (диалект.) (стр. 199), *denb* (диалект.) «жир» (стр. 206), *cul* (диалект.) (стр. 258) и т. д.

⁵ Р. Ачарян, Корневой словарь армянского языка, I—VIII, Ереван, 1926—1935 (на арм. яз.).

системы согласных > индоевропейского состояния.

Композиционно книга Г. Б. Джаукяна распадается на следующие части: в вводной главе (стр. 9—31) сообщаются сведения о работах армянских исследователей, а также об арменистике в Европе, дается классификация индоевропейских языков, обрисовывается облик общиндоевропейского языка и анализируется соотношение индоевропейского и древнеармянского консонатизма; в первой главе (стр. 32—152) рассматривается передвижение согласных в армянском языке и так называемые отклонения от закономерностей передвижения согласных (об «отклонениях» в данной и в последующих главах см. ниже); во второй главе (стр. 153—210) — первая и вторая палатализация заднеязычных в армянском языке; в третьей главе (стр. 211—273) — фрикативные и неслогообразующие сонанты; в заключительной главе (стр. 273—332) дается общая характеристика армянского консонатизма и рассматривается относительная и абсолютная хронология процессов передвижения и палатализации согласных в армянском языке. К работе прилагается подробный список литературы и указатель слов (стр. 333—379). Перейдем к рассмотрению основных положений книги.

Центральным в книге Г. Б. Джаукяна является вопрос об относительной хронологии процессов передвижения и палатализации согласных. Автор предлагает следующую последовательность: I — первая палатализация; II — передвижение согласных; III — вторая палатализация (стр. 328). Рассмотрим прежде всего понятие передвижения и палатализации. Г. Б. Джаукян указывает на то, что «армянское передвижение согласных, в отличие от германского, совершается не в чистом виде: ни в одной из рассмотренных позиций не происходит последовательного перемещения индоевропейских рядов смычных фонем в одном и том же направлении» (стр. 274—275). Индоевропейские звонкие придыхательные и звонкие простые в начальной позиции как будто перемещаются как в германском, однако, как было указано, в последнее время некоторые языковеды стали говорить либо о сохранении ряда звонких придыхательных (Фугт, Бевенигот), либо о диалектом их отражении (как звонких простых и звонких придыхательных) в разновидности древнеармянского языка, без фонологического разиятия (Джаукян); если в первоначальном состоянии армянского языка существовали глухие придыхательные, то, по-видимому, их отличие от глухих простых не было фонологически четко выраженным, поэтому их название не совпало в теоретически ожидаемых направлениях (сканнем, *p, *t, *k > p', t', k' и *ph, *th, *kh > f, s, z); и. -в. *p, в отличие от

*t, *k (*k^h), переходит в фрикативное (h, y) или выпадает; *ph, *th, в отличие от *kh (*k^h), не переходит в фрикативные; таким образом, если в теоретически восстанавливаемом первоначальном состоянии все члены противопоставлены (ph; p, th; t, kh; k), то в древнеармянском состоянии так или иначе наличествует противопоставление лишь в двух случаях (h: p', k': z), тогда как в третьем случае оно нейтрализовано (t': t'). В связи с этим можно предположить, что мы имеем дело не с фонологическими причинами отклонения. Возможно предположить влияние субстрата (при p > h) и действие фонетических причин (при kh > x) (стр. 274—275). В другом месте, говоря об отклонениях от передвижения согласных в армянском (стр. 101 и сл.), автор подчеркивает, что в армянском и. -в. p может соответствовать p' (вместо h); и. -е. k (k^h) — арм. h или ō (вместо k'); и. -е. bh, dh, gh могут соответствовать арм. p', t', k' (вместо b, d, g) и т. д. Оставившись на причинах отклонений от передвижения согласных, Г. Б. Джаукян указывает на наличие побочного индоевропейского слоя без передвижения согласных в армянском языке (стр. 290). Автор полагает также, что этот слой без передвижения включает в себя также хайкаские слова» (стр. 290). Что касается перехода *k (*k^h) > z, то по мнению автора, его следует отнести частично к хеттскому влиянию (стр. 291). Наконец, «в некоторых случаях отклонения от основных закономерностей следует объяснить проникновением из семитских, kavказских и других неиндоевропейских языков слов, имеющих индоевропейские параллели, т. е. являющихся общим достоянием для индоевропейской и указанных семей» (стр. 292). Так как передвижение согласных теснейшим образом связано с палатализацией согласных в армянском языке, то представляется необходимым прежде всего рассмотреть явление автора о палатализации, и лишь после этого можно будет сделать ряд замечаний и привести соответствующий материал. Г. Б. Джаукян разграничивает первую и вторую палатализацию. Автор подчеркивает: «В результате первой палатализации в армянском языке появляются свистящие фрикативы и фрикативные, в результате второй — шипящие» (стр. 280).

В примечаниях к данному положению Г. Б. Джаукян указывает на то, что данный закон установлен автором (стр. 280). Подчеркивается также, что первая палатализация заднеязычных охватывает все позиции, т. е. происходит не только перед гласными переднего ряда и перед i, но и в остальных случаях. Причины второй палатализации выражены яснее; она происходит в позиции перед гласными переднего ряда и перед i.

Палатализация перед ξ происходит во всех случаях, между тем как палатализация перед e, i не всегда имеет место в словах, по-видимому, исконно армянских (стр. 278—279). Автор подчеркивает, что первая палатализация произошла еще в период индоевропейской общности и была характерна для некоторых индоевропейских диалектов. Вторая палатализация характеризует только армянский язык. Таким образом, причины первой палатализации начали действовать еще до обособления армянского языка (стр. 155). Так же, как и при передвижении согласных, указываются отклонения от закономерностей первой и второй палатализации (стр. 177—210). В заключение следует указать на то, что ряд явлений, которые не представляется возможным объяснить при помощи передвижения согласных и палатализации, а также при помощи отклонений от них, объясняются Г. Б. Джаукианом с помощью ларингальной теории, например *hand* (диалект.) ~ *and* «нива, поле», *haicet* «продвигать, вести»; *aldanet* «проходить», *hask* «носок» ~ *aseth* «игла», *havan* «согласный»; «добрыше» ~ *avta* «опрыск, вдохновение», *hap'* ~ *ap'el* «похитить» (ар. «ладонь») ~ *unim* «мать». Положения автора о фрикативных и сонантах будут рассмотрены отдельно.

Переходя к критическим замечаниям, остановимся прежде всего на понятии передвижения согласных и палатализации и на отклонениях от закономерностей этих процессов.

1. Не приходится согласиться с автором в том, что передвижение согласных в армянском языке отличается от германского передвижения согласных, ибо оно совершается «не в чистом виде», не говоря уже о том, что «в чистом виде», т. е. без одного исключения, в виде идеальной модели, вообще не совершается никакого фонетического изменения. Автор приводит ряд примеров на отклонение от действия передвижения согласных в армянском языке, причем некоторые являются безусловно правильными, в то время как многие другие примеры или спорны, или ошибочны (см. об этом ниже). Но все дело в том, что подобные же отклонения от общегерманского передвижения согласных отмечаются и для германских языков. Поучительно сопоставление отклонений в двух языках: в германском и и.-е. *bb, dh, gh* закономерно отражаются в начале слова и после сонантов как *b, d, g*, а в интервокальной позиции — как соответствующие фримативные *b, d, g*. С этим следует сопоставить спирантизацию аффрикат в интервокальной позиции в армянском (стр. 230); и.-е. *p, t, k* переходят в герм. *f, β, z*, а и.-е. *sp, st, sk* отражаются как *sp, st, sk*⁹.

⁹ «Сравнительная грамматика германских языков», II, М., 1962, стр. 19 и сл.

По наблюдениям Р. Хирше⁷ и.-е. *sp, st, sk* отражаются в армянском различно в зависимости от *s-mobile*. Р. Хирше устанавливает следующее правило: если в и.-е. сочетании *st* первый элемент постоянный, то в армянском — *st*; если в и.-е. в *st* представлено *s-mobile*, то в армянском — *t'* (ср. арм. *stla* «железная груда», др.-инд. *stana* «груда», но арм. *t'ik'* «слон», лат. *sprio*, греч. πτόν «плывать» и т. д.) Следует также указать на то, что отражение в армянском и.-е. *p* как *h* (а не как *p'*) с точки зрения фонологической системы не является аномалией и в данном случае нет необходимости принимать действие субстрата, как подлагает автор (стр. 274—275); ср. сходное развитие в коньских языках, где и.-е. *t > th* (например, в е. *riht* «отец», др.-ирл. *athair*), но и.-е. *p > β*. Ср. также в германском: и.-е. *p, t > f, β*, но и.-е. *k > h* (предположительно $< x$). Следовательно, если основания утверждать, что три ряда смычных согласных в германском, их конфигурация и принцип дистантности между всеми тремя рядами продолжали сохраняться, и в этом смысле вполне оправданно сопоставление германского и армянского передвижения согласных, ибо в армянском принцип дистантности между тремя рядами смычных был сохранен⁸.

2. По вопросу о законе Джаукиана (в результате первой палатализации в армянском появляются свистящие, в результате второй палатализации — шипящие) следует указать на то, что уже Х. Педерсен определил относительную хронологию передвижения согласных и палатализации в армянском: «палатализация (в своих зачатках) древнее периода, когда и.-е. глухие смычные в армянском подверглись спирантизации, а это — весьма древний процесс, более древний, чем закон Кюппа слова... Палатализация древнее, чем развитие $g < i.-e. v, k' < i.-e. sv$ и $iv, k < i.-e. dv, -rk < i.-e. -gr$, ибо эти вторичные g, k', rk никогда не палатализируются»⁹. В. Пизани, полемицируя с А. Мейе по поводу наличия в армянском языке палатализации шипящих, пытался установить относительную хронологию этой палатализации: I sk', sq^{22} , II $sk', k's > \xi$ (3 перед согласным); III $\xi > \xi$; III $qu' > \xi$ ¹⁰. Следовательно, в том случае, если бы данное правило отражало истинное положение вещей, то его следовало бы назвать правилом Педерсена — Пизани — Джаукиана. Одна-

⁷ R. Hiersche, Untersuchungen zur Frage der Teuques aspirate im Indogermanischen, Wiesbaden, 1964, стр. 239 и сл.

⁸ Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 24.

⁹ H. Pedersen, Armenisch und die Nachbarsprachen, KZ, 39, 1906, стр. 394.

¹⁰ V. Pisani, Studi sulla fonetica di armeno, стр. 172.

ко, если явление палатализация согласных в армянском языке, описанное Г. Хюбшамом, А. Мейе, Х. Педерсеном и другими исследователями, представляются в основном довольно ясную картину, то так называемая вторая палатализация (в терминологии Г. Б. Джаукяна) продолжает оставаться и после исследований В. Пизани весьма проблематичной. Как известно, А. Мейе вообще отрицал палатализацию шипящих в армянском языке «Аффриката ξ никогда не представляет заднеязычный, измененный перед гласными переднего ряда, ибо в армянском перед e и i изменился лишь звонкий придыхательный; так, k^h закономерно выступает перед e , например, $k^h e r e m$ „я скоблю“, ср. греч. $\chi \epsilon \rho \sigma$, др.-в.-нем. $s c e r a n$ „резать“¹¹. Объяснение таких образований, как арм. $a \dot{c} h^h < *o q^h$ „глаза“; $c o r k^h < *q^h c i q o r e s$ „четыре“, $o \dot{c} < *o q^h$ „свет“¹² не является единственно приемлемым. А. Мейе исходил из других архетипов (например, $c o r k^h < *k t w o r e s$)¹³.

Не менее важное значение имеет дистрибуция свистящих и шипящих в первой и второй палатализации. Так, следуя Г. Б. Джаукяну, по первой палатализации и.-е. $g^h, g^h, k^h >$ арм. j, c , (например, $*g^h e r s$ — арм. $j e r n$, греч. $\chi \epsilon \rho \sigma$, хет. $ke \dot{s} s a r$ „руна“; $*k^h e r d i$ — арм. $s i r i$, греч. $\kappa \alpha \rho \delta \dot{i} a$ „сердце“ и т. д.); по второй палатализации и.-е. gh ($g^h h$), g (g^h), k (k^h) $>$ арм. f, \dot{c}, \dot{c} (например, $*g^h e r o s >$ арм. $f e r$, - $o y$ „степодар“, $*g^h e r m o$ — арм. $f e r m$ „теплый“; $*g^h e n e \dot{c} >$ арм. $f i n$ „палка, розги“ и т. д.). Однако тут же оказывается, что первая палатализация имеет весьма значительное количество отклонений и вместо ожидаемых свистящих появляются шипящие аффрикаты и фрикативные (стр. 178); оказывается, что вторая палатализация также имеет большое количество отклонений и вместо шипящих аффрикат и фрикативных появляются свистящие (стр. 196). Наконец, остается непонятным утверждение автора о том, что первая палатализация характерна для некоторых индоевропейских диалектов, а вторая палатализация характеризует только армянский язык (стр. 155). Невольно возникает вопрос: чем отличается в отношении ареальной дистрибуции арм. $j e i n < *g^h e r s$ от арм. $f e r m < *g^h e r m o$ — ср. др.-инд. $h a r a s$ „жара“, греч. $\theta \epsilon \rho \sigma$ „жара; урожай“, или арм. $i n f e m$ „чистить, истреблять“ $< *g^h e n i o$ — ср. др.-инд. $h \dot{a} n t i$, авест. $j a i n - t i$, греч. $\theta \alpha \dot{i} \nu o$ „бить, убивать“? Для того чтобы привести в известную систему эти гетерогенные процессы и определить их относительную хронологию, Г. Б. Джаукяну обращается к откд-

венным от действующих закономерностей; в книге поражает объем и количество отклонений. Достаточно привести некоторые статистические данные: описание процессов передвижения согласных занимает 15 стр., описание отклонений — 57 стр., описание первой и второй палатализация занимает 21 стр., описание отклонений — 34 стр. Более внимательный анализ отклонений убеждает в том, что большинство предлагаемых объяснений или крайне спорно или просто фантастично; со всей определенностью подчеркнем, что данный материал в значительной мере лишает доказательной силы основные постулаты книги. Приведем ряд примеров¹⁴: арм. $p \dot{e} t u r$ „сперо“ ~ арм. $p \dot{e} t i m$ „летать“. Скорее всего эти образования вовсе не связаны друг с другом¹⁵; арм. $s a d r e l$ „подстрадать“ ~ арм. $a f$ „правый“; арм. $s i t^h e k^h$ „дорога“ ~ арм. $s i t^h a c k$ „пестовые“; арм. $s o z k$ „одинокий, простой“ ~ арм. $i n k^h$ „само, fur свой“; (стр. 309); арм. $g a l a r$ „изъявлина“ ~ арм. $b o l o r$ „круглый, весь“ (стр. 300); арм. $b a n$ „зреть, разум“ ~ арм. $p a s t$ „факт, доказательство“ (стр. 300); арм. $k a y$ „кромой“ ~ арм. $k^h a y$ „шаг“ (стр. 302); арм. $a n i a t^h$ „лес“ ~ арм. $s a t^h$ „сперо“ (стр. 303); арм. $x u m b$ „группа, толпа“ ~ арм. $a k i m b$ „собрание“ (стр. 119) арм. $p a t$ „стена“ ~ арм. $p a t^h a t e m$ „есвертывать“ (стр. 129); арм. $k a l$ „гумно“ ~ арм. $h o^h$ „волчок, вилы“ (стр. 137); арм. $k a y c$ „искра“ ~ арм. $z a y t$ „белое пятно“ (стр. 138); арм. $b o k^h$ „средька“ ~ арм. $p a l e r$ „сопухоль; клубень“ (стр. 151); арм. $c o y l^h$ „слепяный“ ~ арм. $i^h o y l^h$ „слабый“, $i^h o t u m$ „оставлять“ (стр. 209); арм. $z o t a n$ „негодный“ ~ арм. $a t e i^h$ „неизвестный“ (стр. 272); арм. $g a y l$ „волк“ ~ арм. $v a y$ „ой, горе“ (стр. 305); арм. $k^h a n$ „чем“ ~ арм. $h i m$ „шюему“ (стр. 307); арм. $s o t i n$ „стебель“ ~ арм. $s a l a r t^h$ „листва“ (стр. 308). Данные примеры, число которых можно увеличить во много раз, бесспорно свидетельствует о том, что историческая фонетика и, шире, историческая грамматика армянского языка еще весьма недостаточно разработана, еще далеко не полностью описан механизм фонетических процессов в литературном языке и в диалектах и задачей перво-степенной важности является в настоящее время создание исторической грамматики армянского языка, детальное изучение контанциан, парных и рифмованных образований [ср., например, арм. $k a y i a t$ „бойкий, резвый“ ~ арм. $z a y t a m$ „резвиться“ (стр. 138) или ср. арм. $x u m b$ ~ арм. $h a m b$ „группа“ (стр. 119)], изучение вариаан корня

¹⁴ Следует иметь в виду, что автор далеко не всегда указывает, откуда взято данное соположение.

¹⁵ См. подробнее об этом: Р. Н. Иерсче, указ. соч., стр. 236.

¹¹ А. Meillet, Esquisse..., стр. 30.

¹² V. Pisanì, Studi sulla fonetica di armeno, стр. 166.

¹³ А. Meillet, Esquisse..., стр. 54.

и детерминативов; не менее важным является создание словообразования армянского языка в его историческом развитии. На этом основании можно утверждать, что вполне далеко идущие выводы в отношении генезиса армянского консонантизма являются преждевременными и в значительной степени недоказанными. Именно такой недоказанностью отличаются и построения Г. Б. Джаукяна о палатализации в армянском языке; не увеличивает доказательную силу и обращение автора к ларингальной теории и к глоттохронологии.

3. Малоудовлетворительным является раздел книги, посвященный рефлексам ларингальных в армянском языке (стр. 238—248). Автор реферирует различные точки зрения о ларингальной теории и о количестве ларингальных (стр. 72), однако точка зрения Г. Б. Джаукяна остается неясной. Автор как будто оперирует тремя ларингальными, но по ходу анализа появляются добавочные ларингальные: ларингализованный [арм. *capani* «эзакский» при арм. *capašet* «узнавать» < *capašet* (стр. 246—247)] и йотизированный ларингальный [арм. *day/dał* «молозиво» при *diet* «сосать» (стр. 247)]. Наиболее уязвимым является рассмотрение начального *h* в армянском как рефлекса ларингального¹⁶. Автор приводит ряд соположений, огораживая, что большинство этимологий принадлежит ему; например, арм. *hašar* (при диалекте *ašar/šar*) «шолба», арм. *hagag* «дыхание», арм. *hagacit* «разгуливаться», арм. *hagnet* «спринуть» и т. д. (стр. 240—243). Весь материал и его объяснения представляются более, чем сомнительными, ибо в армянском языке и в современных диалектах наблюдается флукутация *h* в начале слова; вследствие этого, как это хорошо известно из истории многих языков, *h* может «восстанавливаться» там, где этимологически данная фонема не могла быть и исчезать там, где она этимологически должна была быть. Особенно часто в армянском языке, именно в современных диалектах, флукутация *h* наблюдается перед гласными заднего ряда, но могут наблюдаться случаи «восстановления» или исчезновения *h* и перед другими гласными. Так, мной отмечены в рассказе Мурацана «Ворон Ноя»¹⁷ случаи: «*oš hagust* и *Husašadakaš piti hrapar...*» «Ня богатый, ни образованный не должны гордиться тем...» (стр. 253); «*duk'hor ek'*» «Вы — кто?» (стр. 268). Ср. также материал на работе О. Мура-

дяна¹⁸: *u!* — *hō!* «ковленок»; *uri-hayē* «дорога»; *uš* — *hūš* «изодный»; *ur* — *hoš* «шва»; *ur* — *hor* «куда, где»; *urag* — *hōrēg* «тепак». Ср. подобную же картину в марчеванском диалекте¹⁹. Именно в этом свете следует расценивать дублеты в армянском: *and* (диалекты *hand*) «шва; поле» и чередование в пределах литературного языка: *ayē* «просеять; обследовать» ~ *hayē* «иск. просьба, рассмотрение» (ср. этимологически к формально тождественные образования в немецком языке, нем. *heischen* «требовать», д.-в.-нем. *siachen*, *heissen*, др.-англ. *besian* «спросить, требовать»). Ларингальные и их рефлекс не имеют к этому никакого отношения. С подобной дистрибуцией *h/š* в армянском языке следует типологически и сопоставить сходное явление в средне- и в новонидийских языках, где также отмечается появление в начальной позиции неэтимологического [h]: ср. в панджаби *hor*, хинди *am* (союз «и»); в панджаби (диалекты) *hekh* (< *eka*) «одна», в маратхи *hethā* (в пракритике *ethā*) «здесь», *hakulī* (< *akulī*) «судьящийся»²⁰. Появление неэтимологического [h] отмечено уже в надписях эпохи Ашоки: ср. *hida* (< *h-ida*) «здесь»; *hedisa* (санскр. *etadṛśa*) «таким». К этому вопросу рецензент намерен вернуться в особой работе.

4. Несомненным достоинством данной книги, как уже было отмечено выше, является рассмотрение системы согласных армянского языка с точки зрения относительной хронологии процессов; Г. Б. Джаукян, наряду с относительной хронологией рассматривает и абсолютную хронологию процессов, опираясь на выкладки глоттохронологии, на метод обратного счисления и на метод внешних фактов (стр. 319). Не говоря уже о том, что метод внешних фактов не является методом в собственном смысле этого термина, глоттохронологические выкладки автора и с точки зрения самого метода, и с точки зрения данных армянского языка являются весьма уязвимыми. Автор указывает на то, что «индоевропейность» (стр. 322) устанавливается по «Корневому словарю армянского языка» Р. Ачаряна. Вряд ли это может служить критерием «индоевропейности» армянского языка, ибо ко времени составления указанного словаря многие данные, новые этимологии, материалы новооткрытых индоевропейских языков или были еще малоизвестны, или учитывались явно недостаточно. В настоящее время индо-

¹⁶ О. Д. Мурадяна, Какабердский диалект, Ереван, 1967, стр. 182 и сл. (на арм. яз.)

¹⁹ О. Д. Мурадяна, Карачеванский диалект, Ереван, 1960, стр. 202—203 (на арм. яз.)

²⁰ J. Bloch, L'indo-aryen du Veda aux temps modernes, Paris, 1934, стр. 67.

¹⁶ См.: W. Winter, Armenian evidence, сб. «Evidence for laryngeals», The Hague, 1965, стр. 160 и сл.

¹⁷ Г. Мурацан, Собрание сочинений, 5, Ворон Ноя, Ереван, 1963 (на арм. яз.)

европейский корнеслов в армянском языке увеличился почти вдвое, о чем свидетельствует и рецензируемая книга. Кроме того, методика глоттохронологии именно на армянском материале была подвергнута строгой критике (на основе списка в 215 и в 100 лексических единиц по списку М. Свадсена, составленного Абуладзе) в статье К. Бергсланда и Г. Фогта²¹. Неудивительно, что выводы этой заключительной части книги представляются наименее убедительными. К этому следует добавить, что вообще может возникнуть вопрос о том, в какой мере периодизация истории армянского языка может строиться на данных системы согласных, тем более, что именно армянские согласные, в силу ряда причин, представляют ряды гетерогенных образований с зачастую неясными этимологическими соответствиями. Думается, что опора на такие явления, как законы конца слова, просодические особенности и структура слова являются более эффективными при построении периодизации предистории армянского языка, чем данные системы согласных.

5. Из более мелких недостатков отметим следующие: в книге, посвященной анализу и реконструкции системы согласных армянского языка, в известной мере вводящим тоном выглядит вводная глава (стр. 9—81), где даются, с одной стороны, общеизвестные положения (первые попытки применения сравнительного метода в армянском языкознании, классификация индоевропейских языков), с другой стороны, рассматриваются проблемы, не получающие освещения в книге, например проблема «прародины индоевропейцев и ареальные связи индоевропейских диалектов». Не входя в колежку с автором о данном круге проблем, поскольку в другом месте я изложил свою точку зрения²², укажу лишь на то, что было бы более целесообразно значительно сократить данную главу, но зато некоторые разделы книги следовало бы дать более подробно; так, было бы желательно более систематически дать анализ сочетаний согласных фонем (группы *ky, gy, ky, gy* и др.), которые получают в книге слишком суммарное освещение, в то время как именно они являются ключевыми для решения многих фонологических и морфологических проблем армянского языка. В работе не получили никакого освещения вопросы, связанные со структурой морфемы и слова в армянском, по сути дела выпали из поля зрения

явления конца слова; следствием этого явилась недифференцированность вариантов корня и детерминативов и поэтому остается неясным, идет ли речь о чередовании фонем в корне [откуда такие дублеты в общендоевропейском, как *kel* : *neik* «влажный», *gel* : *g^hel* «глотать» (стр. 70)] или речь идет о чередовании разных морфем, например *atam* «широкий, умолять»: *atam* «просить, умолять». В книге данный случай расценивается как чередование *ie* (стр. 303). Остается также неясным, в какой мере возможно рассматривать все случаи, приведенные на стр. 300—313, как этимологические дублеты; например, приводятся арм. *kay^het* : *say^het* «исело прыгать» и арм. *akn* : *ak^h* «глаза» (стр. 303). Абсолютно ясно, что мы имеем дело с совершенно разными явлениями: в первом случае — чередование (парниция) начала корня, что вдобаву возможно рассматривать как этимологический дублет или, как нам представляется более точным, рифмованное образование (*Reimwortbildung*); во втором случае — явно позиционное чередование, вызванное гласным переднего ряда, в следствии исчезнувшим (закон падения конечных гласных). Глава о фрикативных и сонантах неполна и в том отношении, что вовсе не рассматриваются слогообразующие сонанты. В ней встречаются ничем не подкреплённые и поэтому повисшие в воздухе положения, например: «Причины всех этих изменений частично фонетические и фонологические, частично объясняются влиянием субстрата. К влиянию последнего, по-видимому, относятся: появление протетических гласных, переходы *rs > rs̄, *s > k' и т. д.» (стр. 287). Это замечание тем более странно и бездоказательно, что представляется возможным объяснить данный переход чисто фонетически, без обращения к субстрату, именно: *s* > *h* в армянском; в конце слова *h* или должно выпасть или усилиться. Усиление дает *s* (как в германских языках) или *k'*. Следует заметить, что несколько выше, говоря об аффрикатах, автор справедливо подчеркивает: «В связи со сказанным гипотеза возникновения аффрикат в результате влияния кавказского субстрата отпадает. Первая и, по-видимому, вторая палатализация согласных, с последующей их аффрикатизацией, были завершены еще до того, как армянские племена пришли в соприкосновение с кавказскими» (стр. 282).

Не менее спорным является соположение на стр. 133 арм. *tanim* «шюш, переносу» (аорист *tanay* «а улес, отнес») с др.-инд. *tanōti* «тянет, растягивает», др.-инд. *tanati* «переносит». В отношении чередования *-n/-r* автор упоминает две возможности: 1) супплетивное употребление разных корней; 2) гетеролити-

²¹ К. Bergsland, H. Vogt, On the validity of glottochronology, «Current Anthropology», III, 2, 1962, стр. 114 и сл.

²² Э. А. Макаев, Проблемы и методы современного индоевропейского сравнительного языкознания, ВЯ, 1965, 4.

ческая основа на -л/-г. При этом остается без объяснения отсутствие передвижения согласных в армянском языке. Маловероятно это соположение, даваемое также Р. Ачаряном, к семагитической стороне. Неправдоподобно также приятие гетероклитической основы в системе глагольной парадигмы²².

Отметим также, что возведение арм. *ēs* «осел» к и.е. *ek'yo-* «осаждать» (стр. 238) является весьма сомнительным. Автор, следуя за Р. Ачаряном, объясняет долгое /š/ в армянском < š в позиции перед /š/. Следует заметить, что правило Р. Ачаряна относится лишь к удлинению гласного перед /š/ в конечной позиции. А. Вальде и И. Гофман в своем словаре справедливо отвергают данное соположение и, сопоставляя арм. *ēs* с лат. *asilis* «осел», возводят эти образования к заимствованию из анатолийских язы-

ков²⁴. Можно также взвесить возможность объяснения арм. *ēs* вследствие неправильного членения сложного слова *gomēs* «буйвол» < авест. **gaō-maeša-* «корова-баран», где /m/ отошло к первой части сложного слова: *gomēs* > *gom-ēs*, откуда и арм. *ēs*²⁵.

В заключение следует подчеркнуть, что книга Г. Б. Джауяна, при всей дискуссионности и гипотетичности, при спорности и шаткости в решении ряда проблем, является важным и ценным вкладом в армянское и индоевропейское языковедение. В течение долгого времени она будет удобным справочным пособием по всем вопросам, относящимся к системе согласных армянского языка и их отношению к общиндоевропейскому консонатизму.

²⁴ A. Walde, J. Hofmann, *Latteinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1938, стр. 72 и 412.

²⁵ О *gomēs* в армянском языке см.: Н. Нүбсчманн, *Armenische Grammatik*, Leipzig, 1897, стр. 428.

Э. А. Макаев

²³ Более подробно этот вопрос рассматривается в подготовленной нами работе о происхождении глагольного типа *tanim* — *taray* в армянском языке.

M. H. Folsom. The syntax of substantive and non-finite satellites to the finite verb in German. — The Hague — Paris, Mouton and Co, 1966, 96 стр. (Janua Linguarum, series practica, XXX)

Рецензируемая работа посвящена описанию структуры группы личного глагола в немецком языке на основе дистрибутивного и трансформационного методов. Книга начинается с рассмотрения аналитических глагольных форм (анализируются терминология Глодеда¹, называя их вспомогательными модификациями — auxiliary modifications, но мы предпочитаем здесь и далее термины, более принятые в нашей литературе). Следующие два критерия отличают в концепции автора аналитические формы от сложных глагольных конструкций (complex verb phrases), т. е. от всех других конструкций с личной формой глагола в качестве центра (стр. 14 и сл.): а) в аналитической форме должна быть универсальная дистрибуция, т. е. возможность употребления любого глагола (например, в конструкции *können* + инфинитив) в отличие от конструкции *kommen* + причастие II, где употребляются причастные формы лишь от некоторых глаголов); б) в конструкции не должно быть двух глагольных ядер (verb nuclei), например, аналитическими формами не я-

вляются следующие: *Ich lasse meinen Sohn der armen Frau Kress helfen* «Я заставляю моего сына помогать бедной госпоже Кресс» или *Ich höre sie den Hund rufen* «Я слышу, как она зовет собаку».

Первый критерий является, как мы видим, чисто дистрибутивным, а второй, в сущности, есть критерий трансформационный, хотя автор этого в данном случае не оговаривает (в других случаях трансформационная установка автора выражена более явно). «Двойственность глагольного ядра» в приведенных примерах он объясняет лишь тем, что дополнительное являющееся подлежащим одновременно является субъектом для инфинитива. Но такое объяснение имеет смысл лишь в рамках трансформационной грамматики, а именно там, где особый операторкаузативности применяется к фразам типа *Mein Sohn hilft der armen Frau Kress* «Мой сын помогает бедной госпоже Кресс» или *Sie ruft den Hund* «Она зовет собаку». Впрочем в качестве подлежащего автор использует тут же и явно трансформационный критерий: во фразах с «личными глагольными ядрами» невозможна пассивная трансформация, например, невозможны: **ste wird den Hund rufen gehört*; **der Hund wird rufen gehört* (о фразах под звездоч-

¹ W. F. Twaddell, *The English verb auxiliaries*, Providence, 1960.

кой и их месте в системе автора см. ниже).

Сразу же видно, что эти два критерия довольно сильно расширяют сферу аналитических глагольных форм. Так, сюда относятся не только конструкции с *sein*, *haben*, *werden*, но также и конструкции с *soilen*, *wollen*, *dürfen*, *können*, *mögen*, *müssen*. Однако конструкции с *lassen*, а также *sehen*, *hören* сюда не относятся — в силу второго критерия, хотя они разделяют с указанными глаголами важную, с точки зрения автора, дистрибутивную характеристику, а именно употребление «двойного инфинитива» в прошедших временах: *er hat gehen müssen*, *man hat ihn gehen lassen*. Есть еще один очень важный критерий, примененный автором в другой связи (стр. 32) и дающий одинаковые результаты для всех названных глаголов (хотя автор и не проверил его для *lassen*): на первом месте в повествовательном предложении вспомогательный глагол стоять не может. Ср. возможность конструкции типа *Sprechen muß ich mit Ihnen*; *Gebet haben wir schon* и невозможность конструкций типа: **dürfen hätte sie das nicht tun* (пример автора); **lassen hat sie ihn der Frau nicht helfen*.

Таким образом, критерий «единичности ядра», кажется, более частным, чем другие.

Гораздо более плодотворным представляется критерий универсальности дистрибуции. Так, автор относит к аналитическим формам не только конструкции с *sein*, но и конструкции с *brauchen*, включающие отрицательные (*nur* и т. п.) и отрицательные (*nicht* и т. п.) частицы. Автор считает последнюю конструкцию эквивалентом отрицательной с *müssen*², ср. *Ich brauche nur sagen — und...*, «Стоит мне сказать — и...»; *Ich brauche nicht kommen* «Мне не надо приходить». Но в какой мере можно считать указанные частицы компонентом глагольной конструкции? Если они в нее не входят, то критерий универсальности нарушается. В какой-то мере спорно, с точки зрения данного критерия, отнести к аналитическим формам, а именно эквивалентам пассива с *werden*, конструкции с *gehören*, *bekommen*, *erhalten*, *kriegen*. Относительно последних сам автор выдвигает ограничение, что они употребительны лишь с причастиями от глаголов, имеющих дополнение как в дательном, так и в винительном падеже. Автор приводит следующее интересное сопоставление конструкций с *werden* и с *bekommen* (стр. 19): *Die Aufsicht stellt ihr alles zur Verfügung* «Наблюдательный совет представит в ее распоряжение все» — *Alles wird ihr von der Aufsicht zur Ver-*

fügung gestellt — Sie bekommt alles von der Aufsicht zur Verfügung gestellt.

Здесь можно было бы заметить следующее. Автор нигде в книге не оценивает свой материал со стилистической точки зрения. Однако, говоря об универсальности дистрибуции, необходимо учитывать не только грамматические, но и стилистические ограничения (иногда между ними вообще трудно провести границу). Любопытно будет просматривать приводимый автором список примеров (он начинается так: *als er eine verpasst kriegte* «когда ему заелили (попечиву)»), неминуемо придет к выводу, что почти все они принадлежат к разговорно-просторечному типу, постепенно получающему права гражданства в литературе.

Наблюдения автора можно истолковать и следующим образом. Известно, что указанный тип речи избегает пассивных конструкций с *werden*, носящих очень книжный характер³, а также часто смешивает дательный и винительный падежи. Поэтому весьма возможно, что образовавшийся вакуум (ср. полая ячейка в фонологии) начинает заполняться новыми конструкциями. Если бы удалось доказать, что данным конструкциям и конструкциям с *werden* приходится в дополнительном распределении, то, пожалуй, точку зрения автора можно было бы считать оправданной. Во всяком случае здесь выдвигается (правда, незнаю) некоторая гипотеза, которая, как и всякая гипотеза, подлежит проверке.

Мы не будем специально останавливаться здесь на «сложных глагольных конструкциях», не являющихся аналитическими формами, так как в этом разделе с нашей точки зрения нет ничего принципиально нового, а перейдем сразу к главе IV, в которой рассматриваются существительные, относящиеся непосредственно к глаголу (т. е. без посредства предлога). Особый интерес для наших германистов, привыкших производить синтаксический анализ с помощью понятий членов предложения, является попытка автора возродить понятия «дополнения и обстоятельства (вернее «недополнения», распадающегося на предикативные определения и обстоятельства), отброшенные в структурной лингвистике, но дать им при этом строго структурное определение, расклассифицировав их с помощью дистрибутивных и трансформационных признаков. Автор дает следующее определение дополнения (object): «дополнение определяется как имя (существительное) или именная группа, вместо которых можно подставить личное местоимение того же числа и падежа» (стр. 66).

² Подобная точка зрения уже высказывалась, но обычно обосновывалась структурно-семантическими соображениями.

³ Ср. соображения, выдвинутые рецензентом в статье «Грамматика и устная речь» («Иж. яз. в гл.», 1957, 3).

Великие имя или именная группа, не являющиеся дополнениями, рассматриваются как недополнения (*predicate modifiers*). Автор различает три типа дополнения: а) полудополнения (*semi-objects*); б) полные дополнения (*substitute objects*); в) трансформируемые дополнения (*transform objects*). Полудополнением является личное местоимение, вместо которого нельзя подставить имя или именную группу того же падежа и числа. Полным дополнением является имя или именная фраза, вместо которой можно подставить личное местоимение того же падежа и числа, или личное местоимение, вместо которого можно подставить имя того же падежа и падежа⁴. Трансформируемым дополнением называется полное дополнение, которое переходит при пассивной трансформации в подлежащее (стр. 68).

Недополнения развиваются в соответствии с очевидным трансформационным критерием на предикативные определения и все остальные и эта последняя группа получает название обстоятельства (*verb modifiers*).

Принцип, положенный в основу выделения дополнений, представляется достаточно плодотворным, хотя, как мы увидим, смысл его не осознан автором. При помощи этого критерия естественно выделяются как недополнения такие употребленные впитательного падежа, как *er geht den Weg* «он идет дорогой» или *er geht eine Stunde* «он идет час» (невозможно **er geht sie, ihn*). Что касается классификации дополнений, то она кажется менее интересной; так, полудополнения представляют довольно тривиальный случай, например *mich* в *ich schäme mich*.

Полные дополнения иногда не могут быть трансформируемыми по принципиальным соображениям, например в *mich friert*, а иногда зависят лишь от того, что глагол (более или менее случайно) не имеет пассивной формы, например в *wir haben zwei Hunde* «мы имеем двух собак» (невозможно **zwei Hunde werden von uns geholt*), ср. *wir kaufen zwei Hunde* «мы покупаем двух собак» с возможностью пассива: *zwei Hunde werden von uns gekauft*.

В сущности, естественным это разделение становится, когда при одном глаголе появляется два разных дополнения, одно из которых является трансформируемым, а другое нетрансформируемым (это разделение не целиком совпадает с разделением «прямого» и «косвенного» дополнения).

Итак, автор пытается возродить — на новых основаниях — традиционную классификацию по членам предложения, авторитет которой столь сильно расшатан критикой в XX в. (у нас в особенности

фортуноватовской школой). Какое же понимание членов предложения автор кладет в основу своей концепции? Да никакого: он просто выбирает — как принято при дескриптивистском подходе — удобный формальный критерий (подстановка личного местоимения), не задаваясь вопросом, какими глубинными свойствами этот критерий обуславливается.

Рецензент считает своим долгом сделать это вместо автора (а в некоторых пунктах и вопреки автору). Дело в том, что традиционное учение о членах предложения выделено в последних классы объектов — в соответствии с той логикой, на которой оно покоится и которая всегда была логикой классов. Поэтому и были, например, оправданы упреки ученых фортуноватовской школы (Ушакова, Дурново, Петерсона, частично Пешковского), видевших в членах предложения лишь удвоение объекта исследования (в самом деле, уже части речи являются классами лингвистических объектов, причем таковыми, при определении которых используются синтаксические свойства). Но критики учения о членах предложения выбросили вместе с водой и ребенка, а именно, они, как правило, не замечали, что наряду с классами при анализе предложения присутствуют определенные отношения, что обстоятельство, дополнение и т. п. суть не классы, а названия определенных отношений (или заменяющего его словосочетания) к связуемому⁵ (если речь идет о всем предложении), или к основному члену синтаксической группы⁶.

⁵ Заметим, что основанный на современной логике отношений синтаксический анализ и состоит в установлении отношения каждого слова (прямо или опосредствовано) к личной форме глагола и в выяснении типа его отношения.

⁶ В сущности эта точка зрения уже подготовлена в германистике в таких замечательных работах, как работа В. Г. А. Д. о и и «Введение в синтаксис немецкого языка» (М., 1955), где, например, говорится, что «очень большое значение для классификации второстепенных членов предложения всегда должно иметь прямым зависимости от других членов предложения (или определенных частей речи)» (стр. 69). Еще более четко этот принцип проведен в кн.: W. A. D. o n i, Der deutsche Sprachbau (M.—L., 1966), где в качестве первичных обсуждаются не члены предложения, а определенные отношения (атрибутивное, объектное, адвербиальное). Этот подход представляется гораздо более продуктивным, чем тот, когда сначала выделяются члены предложения, а потом типы связей (см.: А. И. Смирницкий, Синтаксис английского языка, М., 1957).

⁴ Определенное несколько сокращено, так как в форме, приводимой автором, оно содержит логическую ошибку.

Если четко осознавать, что члены предложения суть названия отношений к сказуемому (которое есть не член предложения, а просто минимальное предложение, или, если угодно, репрезентант всего предложения), то становится ясной их связь с валентностью глагола, т. е. глагольным управлением и другими сочетательными свойствами глагола (или другого слова, являющегося центром предложения): одни слова весьма факультативны и соответствующие места могут быть не заняты (к таким легко опускаемым словам относятся обстоятельства). Другие места обязательно или как правило должны быть заняты (сюда и относятся в первую очередь дополнения⁷), которые более или менее существенно необходимы для сбавления валентностей глагола, т. е. входят в структурный костяк предложения). Именно это и оправдывает выбор личных местоимений в качестве показателей «дополнительности». В самом деле, в языке типа немецкого высказывания *er ergreift, *er hilft невозможны, и если мы хотим выделить костяк предложения er ergreift den Täter «он хватает преступника» или er hilft der Mutter «он помогает матери», отвлекаясь от лексического значения объектов действия, то мы должны привести их к виду er ergreift ihn, er hilft ihr, где личное местоимение просто выполняет структурную роль. Однако, к сожалению, автор не осознает этого, он просто игнорирует то, что

в данном случае в основе лежат именно необходимость заполнения некоторого места, а заполнение его личным местоимением есть лишь следствие лексической пустоты местоимения при сохранении им всех грамматических категорий соответствующего слова. Личное местоимение не всегда выступает таким обязательным пустым заполнителем, ср. фразы *Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten «Матч длится 90 минут» (нельзя *Ein Fussballspiel dauert), Er wohnt in Berlin «Он живет в Берлине» (нельзя *Er wohnt), Die junge Frau sieht gut aus «Молодая женщина хорошо выглядит» (нельзя *Die junge Frau sieht aus; ср. невозможность в русском Молодая женщина выглядит).

Выделенные слова, которые автор однозначно отнес бы к обстоятельствам (по критерию замены личными местоимениями), роднит со словами, вступающими в дополнительное отношение со сказуемым, не только их обязательность, но и селективность соответствующего отношения, т. е. выбор лишь весьма ограниченного разряда слов, могущих занимать данное место.

В сущности все три критерия, вытекающие из понимания членов предложения как названий отношения к сказуемому (или ведущему члену группы), независимы и поэтому следовало бы рассмотреть такие типы отношений:

⁷ W. A d m o n i, Der deutsche Sprachbau, стр. 220—221.

⁸ Примеры взяты из работы: W. H a r t u n g, Die zusammengesetzten Satze des Deutschen, «Studia grammatica», IV, 2, Aufl., Berlin, 1966, стр. 28.

Обязательность		Обязательные члены		Необязательные члены	
		Заменимость			
Заменимые (личными местоимениями)	неселективные	I подлежащие любого типа, дополнения типа <i>ich bemerkte den Knaben</i>	II дополнения типа <i>ich näherte mich dem Knaben; das Haus wird von ihm gebaut</i>		
	селективные	III дополнения типа <i>ich schreibe einen Brief, entging der Gefahr, gedanke der Toten</i>	IV дополнения типа <i>wie herrlich leuchtet mir die Natur, la'le mir nicht</i>		
Незаменимые (личными местоимениями)	неселективные	V предикативы любого типа	VI обычные обстоятельства <i>er arbeitet gut</i>		
	селективные	VII дополнения-обстоятельства типа <i>das Spiel dauert 90 Minuten; die Frau sieht gut aus</i>	VIII обстоятельства типа <i>ich ging den Weg, wartete eine Stunde</i>		

Конечно, эта схема (гораздо более богатая, чем схема автора) не исчерпывает всех возможных формальных типов отношений к скадуемому. Во-первых, можно ввести разные степени селективности (в соответствии с силой управления); во-вторых, важно заоблачение пустых мест не только личными местоимениями, но и некоторыми другими. Возможно, специальный тип (близкий к типу, условно названному нами, «дополнениями-обстоятельствами») представляют собой слова, заменяемые не личными местоимениями, а местоимениями типа *etwas*, которое выполняет такую же структурную роль, как и личные местоимения во фразах типа I, когда они употребляются для заполнения обязательной валентности во фразе типа *Das Stück hat mich eine Mark gekostet* «Эта вещь стоила мне одну марку»; *Das Stück hat mich etwas gekostet* при невозможности **das Stück hat mich gekostet*. Пожалуй, еще естественнее было бы вообще исключить *etwas* в число слов, указывающих на дополнительное отношение.

Заметим, что автор во всех случаях так называемого двойного внешнего, например, после глаголов *kennen*, *finden*, *fragen*, *kosten* безоговорочно относит слова типа *eine Mark* в приведенном примере к обстоятельствам, поскольку невозможна замена на личное местоимение: **das Stück hat mich sie gekostet*.

Правда, если исключить *etwas* в число индикаторов дополнения, то придется выделить тип дополнений, для которых существенно сохранение лишь падежа, в то время как число и в особенности род при подстановке могут меняться. Автор же делает этого, чтобы иметь возможность (ср. стр. 67) различать дополнения и предикативные определения (или просто предикатив, не делая, впрочем, различия между этими категориями). В самом деле, в случаях типа (пример автора) *Er hatte den Entschluss gefasst, Millionär zu werden*, würde es auch нельзя заменить *Millionär* на *er* (тем более на *ihn*). Но отделить дополнение от предикатива чрезвычайно просто при помощи праведной схемы или какого-нибудь другого критерия (например, дополнение не может быть амбивальным падежом), в то время как выделение разных типов дополнений (вернее дополнительных отношений) в зависимости от характера замещающего местоимения представляло бы большой интерес.

Сделаем теперь несколько замечаний, относящихся к общей методике автора. Как мы уже говорили, автор почти нигде не учитывает стилистической сферы употребления той или иной конструкции⁹

⁹ Характерно, что никакими стилистическими комментариями не снабжены такие просторечные в настоящее время, но вполне литературные в более старом языке) конструкции, как *Helen war mit*

за исключением случайного упоминания, что конструкция с *mit* в качестве вспомогательного глагола повсеместно рассматриваются как нелитературные (substandard) или просторечные (стр. 17).

Между тем описание стилистического употребления не только не противоречит принципу строго синхронного подхода, но, наоборот, предполагается им, когда речь идет о современных языках с богатой литературой и разветвленной системой стилей и типов речи. С другой стороны, автор говорит о распространении *mit*, наоборот, сужении сферы какого-либо грамматического явления, причем, если понимать автора буквально, некоторые его высказывания такого рода просто неверны, например, в связи с сочетаниями типа *einen schönen Gang gehen*, *falsche Wege gehen* автор пишет: «этой наблюдая как будто показывают, что имеется растущая тенденция употреблять многие переходные глаголы в качестве переходных» (стр. 72). Известно, что употребление невинительного в подобных сочетаниях, наоборот, очень древнее явление¹⁰. Автор, разумеется, фиксирует не общую тенденцию, а явление, ограниченное довольно узкими стилистическими рамками.

Чрезвычайно важным для методики автора, пожалуй, самым интересным в книге, является последовательно проводимое им сопоставление возможных (в первую очередь, встречаемых автором в текстах) и невозможных, гипотетических конструкций, даваемых под звездочкой. Рецензенту уже приходилось писать о важности таких запрещенных фраз для общего построения теории грамматики¹¹ и поэтому здесь можно остановиться на другой стороне вопроса, а именно на природе таких запретов. Автор, как кажется, смешивает а) фразы, невозможные в силу невозможности описываемых ситуаций, б) фразы неупотребительные (и, может быть, поэтому показавшиеся автору странными), т. е., ограниченные лишь отдельными типами и стилями речи, и в) фразы, невозможные в силу законов грамматики данного языка, например из-за столкновения категорий, присутствующих отдельным словам.

Так, в числе запрещенных приводится фраза **eine Bratpfanne erschlug ihn* «сковородка удбила его». Верно, что эта фраза не является ядерной по отношению к фразе *Er wurde mit einer Bratpfanne erschlagen* «Его удбила сковородка» в той мере, в какой *Das Kind wird von dem Vater beobachtet* «Ребенок находится под

Charis an den See spazieren, ich war heute früh bei Schlumberger liefern.

¹⁰ Н. Паули, *Deutsche Grammatik*, 3. Halle (Saale), 1957, стр. 218.

¹¹ См.: И. Ю. Р е в а н и. Отмеченные фразы, алгебра фрагментов, стилистика, «Исследования по общей и славянской типологии», М., 1966, стр. 17.

наблюдением отца» является трансформацией фразы *Der Vater beobachtet das Kind* «Отец наблюдает за ребенком». Однако, если и можно считать данную фразу запрещенной, то запрещение выказано отнюдь не грамматикой, а устройством внешнего мира.

Рядом с фразами *spazieren geht sie, spazieren ist sie gegangen* со смысловым глаголом на первом месте приводятся в качестве одинаково запрещенных (или одинаково «обычно не встречающихся») фразы под звездочкой **auf stand er, *auf ist er gestanden* (стр. 54), в то время как первая вполне возможна (она столь же emphatisch¹², как и приведенная фраза без звездочки с *spazieren* на первом месте),

¹² Ср. анализ подобных конструкций в книге: E. Riese, *Abriß der deutschen Stilistik*, М., 1954, стр. 277—278.

а вторая противоречит законам немецкой грамматики.

Уже неоднократно было замечено, что когда в отличие от бесписьменного диалекта анализируется богатый литературный язык, весь исходный материал, т. е. как найденные в текстах «реальные» фразы, так и все запрещения, должен пройти специальную стилистическую проверку, а затем все отклонения от нормы должны быть снабжены пометами (или же вообще быть исключены из исходного корпуса).

Приведенные замечания относятся не столько к данной книге, сколько связаны с трудностями объективного характера, которые, однако, как мы пытались показать, можно преодолеть. Книга интересна как своим фактическим материалом, так и тем, что она вымывает активное отношение читателя. И это ее несомненное достоинство.

И. И. Реванин

В журнале «Вопросы языкознания» (№ 5, 1967) напечатан обзор В. П. Жукова «Изучение русской фразеологии в отечественном языкознании последних лет». Разбирая различные методы — «приемы идентификации», В. П. Жуков ссылается в этой связи на статью И. А. Мельчука «О терминах устойчивости и идиоматичности» (ВЯ, 1960, 4) в свою докторскую диссертацию.

В. П. Жуков составил представление о предложенном им методе фразеологической идентификации неточно, лишь по его названию. Это привело к смешению метода фразеологической идентификации с методом идентификации фразеологического оборота словом, предложенным Ш. Балли.

Критику метода идентификации, предложенного Ш. Балли, можно найти в своей диссертации (стр. 11—12) и в статье «Теория фразеологии Шарля Балли» («Ин. яз. в шк.», 1966, 3, стр. 21).

Предложенный нами метод не имеет также точек соприкосновения с методом, предложенным И. А. Мельчуком.

А. В. Куних

В № 5 за 1967 г. помещена информация о состоявшемся в апреле 1967 г. в г. Минске республиканском славистическом симпозиуме. В этой информации говорится, будто мною в связи с докладом А. И. Журавского («О белорусском варианте церковнославянского языка») было выражено сомнение в том, что в XVI в. существовал белорусский вариант церковнославянского языка. На самом же деле я, так же как и другие мои коллеги, оспаривал термин «церковнославянский язык» и говорил о том, что в Белоруссии, как и в других славянских странах, был распространен единый литературный язык славян, который лучше называть не церковнославянским, а древнеславянским.

Воздействие живых народных говоров привело к образованию различных вариантов этого языка, один из которых был распространен в Белоруссии в XVI в. (см. об этом также: М. М. Копыленко. Как следует называть язык древнейших памятников славянской письменности? «Советское славяноведение», 1966, 1).

М. М. Копыленко

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

«Язык как знаковая система особого рода» — этой теме была посвящена конференция, проходившая в Институте языкознания АН СССР (Москва) с 26 по 29 сентября 1967 г. На дискуссии выступали лингвисты, психологи, логики, философы и математики. Отдельно работала психолингвистическая секция. Всего было прослушано 26 докладов, вызвавших оживленные прения. На особом заседании обсуждалась анкета, заранее разосланная участникам конференции. Сокращенные тексты докладов и ответы на анкету были предварительно опубликованы¹, что способствовало более целенаправленной работе конференции. Основная задача конференции, по замыслу ее организаторов, состояла в выяснении тех свойств языка, которые не характерны для прочих коммуникативных систем и вызваны специфической ролью языка в человеческом обществе, особенностями его зарождения, развития и функционирования. Поскольку недостаток места не позволяет полностью осветить ход конференции, остановимся на тех докладах и выступлениях, которые непосредственно связаны с ее темой.

Конференцию открыл директор Института языкознания член-корр. АН СССР Ф. П. Филипп. В большом вступительном слове член-корр. АН СССР Б. А. Серебряников (Москва) отметил наступление нового этапа в разработке лингвосомиотических проблем, характеризуемого более вдумчивым и всесторонним подходом к языковому знаку, стремлением познать его специфику.

¹ «Материалы к конференции „Язык как знаковая система особого рода“», М., 1967; «Материалы конференции „Язык как знаковая система особого рода“ (ответы на анкету)», М., 1967. Анкета состояла из следующих вопросов: 1) Какую единицу (единицы) языка Вы считаете знаком? 2) В чем состоит специфика языкового знака, сравнительно со знаками, входящими в другие семиотические системы? 3) В чем состоит специфика системной организация языковых знаков сравнительно с организацией прочих семиотических систем? 4) Как отражается своеобразие языковых знаков и их системной организации на методике лингвистических исследований?

Во многих докладах ставились проблемы отношения языкознания и общей теории семиотики. Ю. С. Степанов (Москва) остановился на вопросе взаимодействия конкретных семиотики (био-, этно- и лингвосомиотики) и абстрактной семиологии. Языку как объекту и предмету семиологии был посвящен доклад Л. З. Сова (Ленинград). А. П. Еводошенко (Кишинев) предложил формулировку ряда законов моделирования абстрактных семиотических систем. Специально дискутировался вопрос о роли математики в построении семиотической теории. В. М. Розин (Москва) подчеркнул, что семиотика не должна быть математической, дедуктивно разворачиваемой наукой. Г. И. Климовская (Томск) отметила, что математический подход к лингвистическим объектам не заменяет их семиотической интерпретации. В. В. Мартынов (Минск) говорил о невозможности охвата языковой действительности методами современной математики. Иная точка зрения была высказана Г. П. Мельниковым (Москва), который считает, что семиотика базируется на современном математическом аппарате, который, однако, может быть расширен, чтобы удовлетворять потребностям лингвистики.

Часть докладчиков сосредоточила свое внимание на выявлении особенностей системной организации языка. Оригинальная концепция языковой системы развивалась в докладе Г. П. Мельникова, определявшего язык как адаптивную неоднородную знаковую систему, приводящую в соответствие сознания говорящих, то есть их структурные, когнитивные модели реальной действительности. Т. П. Ломтев (Москва), сравнивая систему естественного языка с системой языков математики, показал, что построения из математических символов вытекают из свойств, приспаянных этим символам, а языковые конструкции определяются отношениями элементов семиотического уровня. А. М. Мухин (Ленинград) заметил, что в отличие от других семиотических систем, язык не представляет собой системы знаков, так как в нем присутствуют элементы, не служащие обозначению объектов внеязыковой действительности. Ю. А. Петров (Москва), однако, полагает, что и в искусственных языках некоторые исходные символы (связи, операторы)

становятся знаками лишь внутри определенной системы.

Н. Н. Коротков (Москва) специально остановился на проблеме соотношения понятий знака и системы в языке, подчеркивая зависимость решения этого вопроса от онтологического представления языка. Онтологическая задача, отметил Б. М. Павлов (Ленинград), должна решаться путем синтеза знаков, накопленных лингвистикой, учетом о высшей нервной деятельности и психологией. Г. С. Щур (Москва) говорил о двух принципах группировки элементов языковых систем — инвариантом и функциональном, которые соответствуют понятиям поля и системы. Характеризуя специфику языковых систем, участники конференции выдвигали на первый план такие свойства языкового кода и его внутренней организации, как стихийность возникновения и нерегулярность развития, а следовательно, и нерегулярность системы (Г. В. Кошанский, Москва; Н. А. Слюсарев, Москва), присутствие в ней большого количества промежуточных, переходных образований (Н. Д. Арутюнова, Москва), избыточность языкового кода (А. Г. Волков, Москва), наличие в языке более чем одного типа знаков (Т. В. Будыгина, Москва), наличие промежуточных (так называемых «вертикальных») уровней, опосредующих связь между языковыми планами (Н. Д. Арутюнова), нестабильность синтаксиса, богатство прагматики (Б. В. Бирюков, Москва).

Другие участники конференции сосредоточили свое внимание на понятии языкового знака. Как показала конференция, на первый план выдвинулся вопрос о том, какие единицы языка следует считать языковыми знаками: номинативные элементы (морфему, слово, устойчивое сочетание) или элементы актуализованное, коммуникативные (высказывание).

Ряд участников конференции настаивал на том, что лишь номинативные единицы могут рассматриваться в качестве языкового знака. Эта точка зрения аргументировалась, в частности, тем, что набор знаков каждой семиотической системы должен быть конечным, количество же комбинаций, образуемых знаками, беспредельно (Н. Н. Коротков, В. В. Мартынов, А. В. Суперакская, Н. Ф. Пелевина, Р. Г. Пиотровский, Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарев, Н. А. Сыромятников и др.). Подчеркивая различие понятий знака и сигнала, Б. В. Мартынов отметил, что знаки соотносятся с повторяющимися элементами представляемой, а сигналы с представлениями в целом. При таком различии этих понятий сообщения должны рассматриваться как сигналы, а термин «знак» может быть отнесен только

к номинативным единицам языка. Большинство сторонников номинативной концепции знака считает базисной семиотической единицей языка слово (А. А. Леонтьев, А. А. Уфимцев, Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарев).

Номинативная теория знака основывается, в частности, на противопоставлении знаков и структур, цепочек знаков, которое определяет разграничение языка и речи, понятие языковой системы и пр.

В последние годы, однако, оформилась иная концепция языкового знака. Она сложилась под влиянием исследований неязыковых знаковых систем, а также нового онтологического представления языка (Н. Н. Коротков). Согласно этой теории, наиболее полно представленной в цикле работ Л. Прието, подлинным знаком языка является высказывание, а все более мелкие, субзнаковые элементы относятся к механизму экономики. Близкая к этой точке зрения была представлена и аргументирована на конференции в докладах А. С. Мельничука (Киев), В. Г. Гака (Москва), Г. И. Климовской и других лингвистов, считающих основным знаком языка предложение (соответственно высказывание, сообще-ние). Слова и морфемы представляют собой с этой точки зрения несамостоятельные компоненты знаковых единиц, субзнаки или частичные знаки разных рангов (В. Г. Гак, А. С. Мельничук). В рамках этой теории понятие системы выступает по отношению к знаку-предложению как принцип его внутренней организации (В. Г. Гак). О необходимости изучения структуры текста, хотя и в несколько иной связи, говорилось в докладе В. Т. Ковальчука (Ом).

Т. В. Булыгина отметила, что обе концепции знака могут быть приведены в соответствие путем их соотношения с единой системой точно определенных понятий. Представляется, впрочем, что признание высказывания основным знаком языка должно повести к пересмотру ряда понятий лингвистической теории, таких, например, как противопоставление языка и речи, произвольность знака, его смысловая структура и др.

Следует отметить еще одну тенденцию, выявившуюся весьма отчетливо на конференции. Если раньше специфику языкового знака искали по преимуществу в его форме, означающей, языковой материи (эта идея развивалась на конференции В. М. Павловым), то теперь внимание лингвистов в большей степени направлено на своеобразие содержательной стороны знака. Эта идея разрабатывалась в ряде докладов, посвященных семантике. На конференции подчеркивалось, что специфика языка заключается в безграничности языкового «восточного» поля (Т. В. Будыгина),

в его способности выражать нестандартное содержание (Б. В. Бирюков, В. Г. Гак), в наличии у языкового знака гносеологической функции и способности обобщения (А. А. Уфимцева, Москва), в способности создавать смысл и формировать мысль (В. А. Звегинцев, Москва), в непосредственной связи языковых знаков с мышлением и деятельностью сознания (Н. Ф. Педелина, Черновцы) и т. д. Во многих докладах обращалось внимание на максимальную семантическую сложность языковых знаков, значение которых рассматривалось многими как модель денотата (Н. Ф. Педелина, Г. П. Мельников, В. М. Розин), а варианты значения выделялись лишь при сохранении единства денотата (Н. Ф. Педелина).

Близкая точка зрения была высказана Н. А. Слюсаревой, подчеркнувшей, что в словесном знаке ценность является вторичной по отношению к значению, формируемому в процессе номинации. В. М. Солдцев (Москва) подчеркнул, что в последние годы лингвистика слишком много внимания уделяла структурным отношениям, и теперь языковедам предстоит вернуться к структурно-субстанциональной точке зрения. Семантическая линия на конференции была представлена докладом А. А. Уфимцевой, говорившей о многоаспектном характере означаемого, докладом Н. А. Мельчука (Москва), посвященным лексико-семантическим структурам языка, системе лексических функций слова, докладом И. Ф. Вардуля (Москва), отметившего важность изучения связи между языковым знаком и его сигнификатом (а не денотатом), докладом А. В. Суперавской, развивавшей теорию имени собственного. Вместе с тем раздвинулись голоса, призывающие сосредоточить все усилия на изучении означаемых знака (Р. Г. Пиотровский). Структуре означаемого слова был посвящен доклад В. А. Москвича (Москва), обследовавшего соотношение между глубиной слова (количеством морфем) и его длиной (количеством слогов) в языках разных типов. Наконец, некоторые участники конференции усматривают специфику языкового знака в характере связи между означаемым и означаемым, ее потенциальной мобильности (Р. Г. Пиотровский), непосредственности и стихийности (Г. В. Колцаевский).

Изучение семиотической природы языка получило в некоторых выступлениях развитие в сторону типологии языков и лингвистических универсалий. В. А. Звегинцев поставил задачу сравнительного рассмотрения семиотических и типологических универсалий. В. В. Мартынов подчеркнул, что универсальная типология должна начинаться

с построения семиотической аксиоматики. Т. В. Булыгина отметила универсальность тех свойств языка, которые определяются его функцией в человеческом обществе (например, наличие знаков-наименований и знаков-высказываний).

На психолингвистической секции рассматривалась проблема языкового знака и знаковой системы с точки зрения теории деятельности. А. А. Леонтьев (Москва) считает, что любое другое, в том числе и часто лингвистическое, рассмотрение этих понятий, не перспективно. Знаки являются элементами деятельности, знаковые системы — элементами социальных организмов, которые в свою очередь составляют устойчивые системы деятельностей, отметил в своем докладе В. М. Розин. Ни знак, ни знаковые системы не могут быть поняты вне анализа социальной человеческой деятельности и механизмов ее воспроизводства. Чтобы понять язык, нужно рассматривать его не в отношении к объектам, а в отношении к деятельности, указал Г. П. Щедровицкий (Москва). Развивая эту идею, Г. И. Климовская предположила, что обращение к языковому значению вынуждает лингвистов рассматривать язык как элементную функционально-структурную часть деятельности. Большое внимание было уделено на психолингвистической секции проблеме взаимодействия языкования и смежных наук в исследовании проблемы языкового знака (В. М. Павлов), а также отношению символического и естественного языков в научной деятельности человека (А. С. Москаева, Москва; В. М. Розин).

Интересные соображения развивались в выступлениях на конференции К. А. Алледорф (Москва), Р. В. Бахтуриной (Москва), И. Ф. Вардуля, А. Г. Волкова, Н. И. Жигкина (Москва), Л. П. Калакуцкой (Москва), А. А. Леонтьева, Т. П. Ломтева, Ю. А. Петрова, Б. А. Серебряникова, М. В. Мачаварики (Тбилиси), М. Д. Степановой (Москва), Н. А. Скрытницкова (Москва), А. И. Уемова (Одесса), Д. Н. Шмелева (Москва), Г. П. Щедровицкого и др. В этих выступлениях полно и равносильно была раскрыта тема конференции, а также затронуты многие смежные вопросы. Некоторые на участников конференции говорили о том, что невнимание к специфическим свойствам языка, обеспечивающим ему семиотическую индивидуальность, повело к переоценке возможностей машинного перевода, а также перспектив формализации и автоматизации анализа текста (Б. В. Бирюков, Г. В. Колцаевский).

Н. Д. Арутюнова (Москва)



П. С. КУЗНЕЦОВ

(1899 -- 1958)

Не стало Петра Саввича Кузнецова: года не дожид он до своего семидесятилетия. Петр Саввич был не только выдающимся ученым, но едва ли и не центральной фигурой в лингвистической жизни Москвы (разумеется, de facto, а не de jure) и во всяком случае одним из самых любимых и популярных ее представителей. Его личность, может быть, не меньше, чем его труды, оказывала влияние на развитие отечественного языкознания.

Петр Саввич был лингвистом исключительной разносторонности и широты интересов, много и плодотворно работавшим в самых разных областях языкознания. Он внес большой вклад в русистику, прежде всего в области истории русского языка (упомянем только его несколько раз переиздававшуюся и перерабатывавшуюся «Историческую грамматику русского языка»; в последнем издании, написанном совместно с В. И. Борнковским, Петру Саввичу принадлежат все разделы, кроме синтаксиса) и его диалектологии (см. его «Русскую диалектологию», также многократно переизданную, а также целый ряд статей, посвященных как конкретному описанию говоров, так в их сопоставительному исследованию). Петр Саввич плодотворно занимался (особенно после 1930 г.) славистикой и, шире, индоевропейским языкознанием (см., в частности, его «Очерки по морфологии праславянского языка», а также серию работ о сравнительно-историческом методе). Но, кажется, основное место в научном творчестве Петра Саввича занимали проблемы общего языкознания, в первую очередь фонологии

и грамматики. П. С. Кузнецов вместе с В. И. Сидоровым вошел в историю нашей науки как один из основателей и вдохновителей так называемой Московской фонологической школы. Ему принадлежит целый ряд основополагающих работ, посвященных теоретическим вопросам фонологии (см. из последних работ: ВЯ, 1958, 1; 1959, 2) и в частности, такому сложному вопросу, как фонологическая трактовка просодических явлений (серия работ по фонологии ударения и тона), а также представляющий большой теоретический интерес статьи, посвященные фонологическому описанию конкретных языков (французского, сербскохорватского). Наконец, Петр Саввич известен как африканист (он занимался такими разными языками, как суахили и зви и опубликовал работы по грамматике этих языков; следует сказать, что в течение многих лет он был единственным представителем африканского языкознания в Москве) и как финноугровед (работы по коми-пермяцкому и саамскому языкам, заняты самодийскими; вместе с А. М. Споровой Петр Саввич является автором «Русско-коми-пермяцкого словаря»). Петр Саввич был хорошим знатком санскрита (на котором он даже писал стихи), он говорил на суахили, на пермяцком.

Этот диапазон языков определял интерес Петра Саввича к тилологической проблематике (см. его книги: «Морфологическая классификация языков», вышедшая в немецком переводе в Германии, и «О принципах изучения грамматики»). В творчестве Петра Саввича сочетался

ся интерес к синхронии и диахронии, к теоретической и полерой работе (в течение 20 лет, с 1926 по 1946 г., Петр Саввич регулярно выезжал в диалектологические экспедиции). Ему принадлежат выдающаяся роль в развитии и структуре и математической лингвистики и таких ее приложений, как машинный перевод.

И. С. Кузнецов родился 20 января (старого стиля) 1899 г. на руднике на Богородицкой балке Усть-Холерского округа Области Войска Донского. Мальчиком он был перевезен в Москву и с тех пор, если не считать относительно небольших перерывов, жизнь его была связана с этим городом. Как когда-то Илья Муромец, Петр Саввич начинал свой жизненный путь не сразу. Он с большим ономанием поступил в гимназию (в 1910 г.) и, соответственно, поздно (в 1918 г.) ее окончил (это была гимназия Е. А. Рендан). Записавшись по окончании гимназии в Университет, он был вскоре мобилизован в армию, где служил с 1919 по 1923 г., и только в 1927 г. имел возможность окончить его (за это время Петр Саввич учился в Брюсовском литературном институте, в Институте слова, во II, а затем I МГУ; одновременно он работал библиотекарем в библиотеке им. Герцена на Петровских линиях, а затем в библиотеке ЦСУ). Его первый печатный труд был опубликован в 1929 г. (материал о диалектологической экспедиции в Верхнюю Швейцарию в «Отчете» Московской диалектологической комиссии за 1928 г.). После окончания аспирантуры РАНИОН (1928—1930 гг.) следовала преподавательская и научно-исследовательская работа в ряде институтов (Смоленский педагогический институт, Научно-исследовательский ин-т языкознания, Центральный ин-т повышения квалификации кадров народного образования, Орехово-Зуевский педагогический институт, I МПНПИИ, МПН и др.). С 1939 г. Петр Саввич преподавал в МИФЛИ и вместе с этим институтом возвращается в МГУ. С тех пор и до конца жизни Петр Саввич преподавал в университете; по совместительству он работал с 1943 г. в МПНП, а с 1945 г. — в Институте русского языка, а затем в Институте языкознания АН СССР.

Докторскую диссертацию Петр Саввич защитил в 1947 г. (кандидатская степень была ему присвоена в 1938 г. без защиты) на тему «Из истории сказуемого употребления страдательных причастий в русском языке». Это была третья диссертационная тема, над которой он работал, и только уговоры друзей могли убедить его защищать эту работу, а не начать новую. Процесс занятий был для него гораздо более привле-

кательным, чем оформление их результатов.

Академическая карьера Петра Саввича была совсем неширокой для времени, когда административные успехи нередко отождествляются с научными достижениями. Петр Саввич не заведовал ни кафедрой, ни сектором (если не считать лет эвакуации). Неоднократно его выдвигали в Академию наук (причем приходилось уговаривать Петра Саввича не снимать свою кандидатуру). Его так и не выбрали в Академию, но потерял от этого, конечно, не Петр Саввич.

Большая часть жизни Петра Саввича была связана с Московским университетом. Едва ли не более склонный по своим способностям к научно-исследовательской работе, он — подобно своим учителям — не мыслил себя вне Университета с его повседневными заботами, с регулярными консультациями, с рецензированием и оппонированием студенческих и аспирантских работ, с участием в Научном студенческом обществе, с многочисленными и часто благодарными обязанностями. На письменном столе Петра Саввича всегда лежало несколько работ, на которые ему предстояло дать отзыв. Многие из авторов журнала «Вопросы языкознания» знают, с каким вниманием и дружелюбием он рецензировал статьи, обсуждал их, помогал и начинающим и своим коллегам-сверстникам. Он обычно был членом двух (а то и трех!) кафедр, входил одновременно в несколько ученых советов и регулярно ходил на все заседания, совсем не всегда плодотворные и продуктивные. Его пунктуальность была общезвестна; он приходил в университет даже в канникулы, когда там не было никого кроме рабочих, ремонтировавших здание к новому семестру, — на тот случай, если кому-нибудь понадобится его консультация. И не случайно, что когда было отменено совместительство, Петр Саввич остался в университете, а не в Академии. Еще в феврале этого года, примерно за месяц до кончины, он обдумывал курс лекций, которые предполагал читать в текущем семестре. Одним из последних документов, написанных рукой Петра Саввича, было заявление с просьбой не увольнять его на пенсию (как это предлагал лечащий врач); это заявление было написано за несколько дней до смерти.

Труды Петра Саввича останутся на пользу языковедам. Но только в памяти тех, кому посчастливилось с ним общаться и у него учиться, сохранится облик этого замечательного человека и уникального лингвиста.

Б. А. Успенский

CONTENTS

Articles: G. V. Cereteli (Tbilisi). On language affinity and language unions (Sprachbünde); **Discussions:** N. Z. Gadjeva (Moscow). On the methods of comparative and historical analysis of syntax; K. E. Maitinskaja (Moscow). On the typology of genetic relations between personal and demonstrative pronouns in languages of different systems; A. G. Martirosov (Tbilisi). The genesis of personal and demonstrative pronouns in the Kartvelian languages; M. I. Steblin-Kamenskij (Leningrad). Is planning of language-development possible?; R. V. Pazukhin (Leningrad). On the place of language in the semiological classification; **Materials and notes:** S. M. Tolstaja (Moscow). Phonological distance and combinability of consonants in the Slavonic languages; M. Mollova (Sofia). An experiment of phonetic (consonantal) classification of the Turkic languages and dialects of the Oguz group; **From the foreign periodicals:** E. M. Uhlenbeck (Leiden). Some further remarks on transformational grammar; **Consultations:** E. S. Kubriakova (Moscow). On the notions of synchrony and diachrony; **Applied and mathematical linguistics:** R. R. Mdivani (Moscow). The model of general evaluation of phoneme-distribution; **Critics and bibliography;** Scientific life. P. S. Kuznetsov in memoriam.

SOMMAIRE

Articles: G. V. Cereteli (Tbilisi). Sur l'affinité linguistique et les unions linguistiques (Sprachbünde); **Discussions:** N. Z. Gadjeva (Moscou). Méthodes de l'analyse comparative et historique de syntaxe; K. E. Maitinskaja (Moscou). Typologie des relations génétiques entre les pronoms personnels et démonstratifs dans les langues des différents systèmes; A. G. Martirosov (Tbilisi). Genèse des pronoms personnels et démonstratifs dans les langues kartvéliennes; M. I. Steblin-Kamenskij (Leningrad). La planification de développement linguistique, est-elle possible?; R. V. Pazukhine (Leningrad). La place de la langue dans la classification sémiologique; **Matériaux et notices:** S. M. Tolstaja (Moscou). Distance phonologique et combinabilité des consonnes dans les langues slaves; M. Mollova (Sofia). Essai de classification phonétique (consonantique) des langues et dialectes turcs appartenant au groupe oguz; **Extraits des périodiques étrangers:** E. M. Uhlenbeck (Leiden). Quelques remarques ultérieures sur la grammaire transformationnelle; **Consultations:** E. S. Kubriakova (Moscou). Sur les notions de synchronie et diachronie; **Linguistique appliquée et mathématique:** R. R. Mdivani (Moscou). Modèle pour l'évaluation générale de distribution phonémique; **Critique et bibliographie;** Vie scientifique.

Технический редактор *К. И. Игнаткова*

Сдано в набор 4/III—1968 г. Т.—07543 Печисано к печати 16/V—68 г. Тираж 6450 экз.
Зак. 218 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл.-печ. л. 14,0 Вум. л. 5 Уч.-изд. л. 16,3

2-я типография издательства «Наука» Москва, Шубинский пер., 10



П. С. КУЗНЕЦОВ

(1899 — 1968)

Не стало Петра Саввича Кузнецова: года не дожил он до своего семидесятилетия. Петр Саввич был не только выдающимся ученым, но едва ли и не центральной фигурой в лингвистической жизни Москвы (разумеется, *de facto*, а не *de jure*) и во всяком случае одним из самых любимых и популярных ее представителей. Его личность, может быть, не меньше, чем его труды, оказывала влияние на развитие отечественного языкознания.

Петр Саввич был лингвистом исключительной разносторонности и широты интересов, много и плодотворно работавшим в самых разных областях языкознания. Он внес большой вклад в русистику, прежде всего в области истории русского языка (упомянем только его несколько раз переиздававшуюся и перерабатывавшуюся «Историческую грамматику русского языка»; в последнем издании, написанном совместно с В. И. Боровским, Петру Саввичу принадлежат все разделы, кроме синтаксиса) и его диалектологии (см. его «Русскую диалектологию», также многократно переизданную, а также целый ряд статей, посвященных как конкретному описанию говоров, так и их сопоставительному исследованию). Петр Саввич плодотворно занимался (особенно после 1950 г.) славистикой и, шире, индоевропейским языкознанием (см., в частности, его «Очерки по морфологии праславянского языка», а также серию работ о сравнительно-историческом методе). Но, кажется, основное место в научном творчестве Петра Саввича занимали проблемы общего языкознания, в первую очередь фонологии

и грамматики. П. С. Кузнецов вместе с В. И. Сидоровым вошел в историю нашей науки как один из основателей и вдохновителей так называемой Московской фонологической школы. Ему принадлежит целый ряд основополагающих работ, посвященных теоретическим вопросам фонологии (см. из последних работ: ВЯ, 1958, 1; 1959, 2) и в частности, такому сложному вопросу, как фонологическая трактовка просодических явлений (серия работ по фонологии ударения и тона), а также представляющий большой теоретический интерес статьи, посвященные фонологическому описанию конкретных языков (французского, сербскохорватского). Наконец, Петр Саввич известен как африканист (он занимался такими разными языками, как суахили и ван и опубликовал работы по грамматике этих языков; следует сказать, что в течение многих лет он был единственным представителем африканского языкознания в Москве) и как финноугровед (работы по коми-пермяцкому и саамскому языкам, занятие самодийскими; вместе с А. М. Споровой Петр Саввич является автором «Русско-коми-пермяцкого словаря»). Петр Саввич был хорошим знатоком санскрита (на котором он даже писал стихи), он говорил на суахили, на пермячком.

Этот диапазон языков определил интерес Петра Саввича к типологической проблематике (см. его книги: «Морфологическая классификация языков», вышедшая в немецком переводе в Германии, и «О принципах изучения грамматики»). В творчестве Петра Саввича сочетался

ся интерес к синхронии и диахронии, к теоретической и полевой работе (в течение 20 лет, с 1926 по 1946 г., Петр Саввич регулярно выезжал в диалектологические экспедиции). Ему принадлежит выдающаяся роль в развитии и на структурной и математической лингвистики и таких ее приложений, как машинный перевод.

П. С. Кузнецов родился 20 января (старого стиля) 1899 г. на руднике на Богодуховской балке Усть-Хоперского округа Области Войска Донского. Мальчиком он был перевезен в Москву и с тех пор, если не считать относительно небольших перерывов, жизнь его была связана с этим городом. Как когда-то Илья Муромец, Петр Саввич начинал свой жизненный путь не сразу. Он с большим опозданием поступил в гимназию (в 1910 г.) и, соответственно, поздно (в 1918 г.) ее окончил (это была гимназия Е. А. Репман). Записавшись по окончании гимназии в Университет, он был вскоре мобилизован в армию, где служил с 1919 по 1923 г., и только в 1927 г. имел возможность окончить его (за это время Петр Саввич учился в Брюсовском литературном институте, в Институте слова, во II, а затем I МГУ; одновременно он работал библиотекарем в библиотеке им. Герцена на Петровских линиях, а затем в библиотеке ЦСУ). Его первый печатный труд был опубликован в 1929 г. (материал о диалектологической экспедиции в Верхнюю Пинегу в «Отчете» Московской диалектологической комиссии за 1928 г.). После окончания аспирантуры РАНИОН (1928—1930 гг.) следовала преподавательская и научно-исследовательская работа в ряде институтов (Смоленский пединститут Научно-исследовательский ин-т языкознания, Центральный ин-т повышения квалификации кадров народного образования, Орехово-Зуевский пединститут, I МГПИИЯ, МГПИ и др.). С 1939 г. Петр Саввич преподавал в МИФЛИ и вместе с этим институтом возвращается в МГУ. С тех пор и до конца жизни Петр Саввич преподавал в университете; по совместительству он работал с 1943 г. в МГПИ, а с 1945 г. — в Институте русского языка, а затем в Институте языкознания АН СССР.

Докторскую диссертацию Петр Саввич защитил в 1947 г. (кандидатская степень была ему присвоена в 1938 г. без защиты) на тему «Из истории сказуемого употребления страдательных причастий в русском языке». Это была третья диссертационная тема, над которой он работал, и только уговоры друзей могли убедить его защищать эту работу, а не начать новую. Процесс занятий был для него гораздо более привле-

кательным, чем оформление их результатов.

Академическая карьера Петра Саввича была совсем нетипичной для времени, когда административные успехи нередко отождествляются с научными достижениями. Петр Саввич не заведовал ни кафедрой, ни сектором (если не считать лет эвакуации). Неоднократно его выдвигали в Академию наук (причем приходилось уговаривать Петра Саввича не снимать свою кандидатуру). Его так и не выбрали в Академию, но потерял от этого, конечно, не Петр Саввич.

Большая часть жизни Петра Саввича была связана с Московским университетом. Едва ли не более склонный по своим способностям к научно-исследовательской работе, он — подобно своим учителям — не мыслил себя вне Университета с его повседневными заботами, с регулярными консультациями, с рецензированием и оппонированием студенческих и аспирантских работ, с участием в Научном студенческом обществе, с многочисленными и часто неблагодарными обязанностями. На письменном столе Петра Саввича всегда лежало несколько работ, на которые ему предстояло дать отзыв. Многие из авторов журнала «Вопросы языкознания» знают, с каким вниманием и дружелюбием он рецензировал статьи, обсуждал их, помогал и начинающим и своим коллегам-сверстникам. Он обычно был членом двух (а то и трех!) кафедр, входил одновременно в несколько ученых советов и регулярно ходил на все заседания, совсем не всегда плодотворные и продуктивные. Его пунктуальность была общезвестна; он приходил в университет даже в канikuлы, когда там не было ничего кроме рабочих, ремонтировавших здание к новому семестру, — на тот случай, если кому-нибудь понадобится его консультация. И не случайно, что когда было отменено совместительство, Петр Саввич остался в университете, а не в Академии. Еще в феврале этого года, примерно за месяц до кончины, он обдумывал курс лекций, которые предполагал читать в текущем семестре. Одним из последних документов, написанных рукой Петра Саввича, было заявление с просьбой не увольнять его на пенсию (как это предлагал лечащий врач); это заявление было написано за несколько дней до смерти.

Труды Петра Саввича останутся на пользу языковедам. Но только в памяти тех, кому посчастливилось с ним общаться и у него учиться, сохранится облик этого замечательного человека и уникального лингвиста.

Б. А. Успенский